
ВЛАДИМИР
МАЯКОВСКИЙ


В. МАЯКОВСКИЙ
1

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ТРИНАДЦАТИ ТОМАХ

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1955

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им А. М. ГОРЬКОГО

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

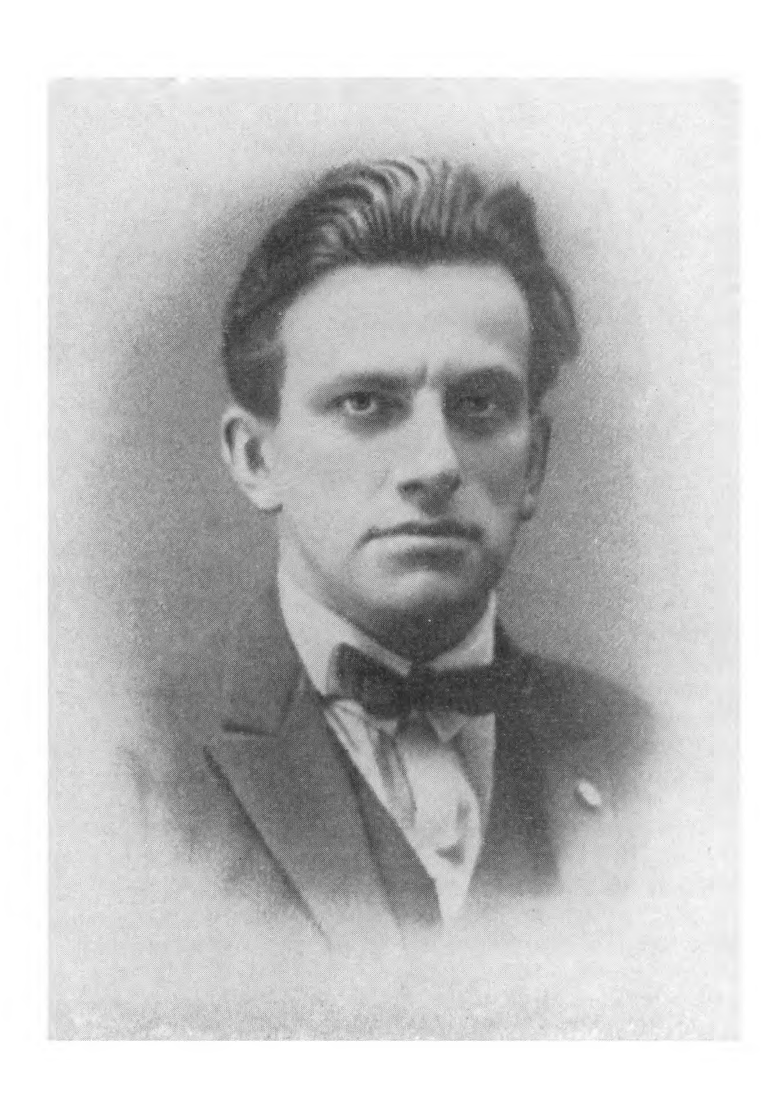
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЕРВЫЙ

1912—1917

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1955

Подготовка текста и примечания
В. А. КАТАНЯНА



Настоящее издание является полным собранием сочинений Владимира Владимировича Маяковского.

В десятитомное собрание сочинений, начатое в 1927 году и законченное после смерти поэта в 1933 году, не вошли многие его произведения. Первое полное собрание сочинений Маяковского в двенадцати томах (с дополнительным тринадцатым) было выпущено Гослитиздатом под общей редакцией Л. Брик в 1934—1938 годах. В 1939—1949 годы вышло в свет новое полное собрание сочинений в двенадцати томах под общей редакцией Н. Н. Асеева, Л. В. Маяковской, В. О. Перцова и М. И. Серебрянского.

Цель настоящего третьего по счету полного собрания сочинений — дать научно выверенный текст произведений Маяковского. В основу издания положено десятитомное прижизненное собрание (восемь томов были подготовлены к печати самим поэтом). В отношении остальных произведений принимается за основу последняя прижизненная публикация. Существенные исправления, вносимые в основной прижизненный текст, оговариваются в примечаниях (исправление опечаток не оговаривается).

В издание включается ряд произведений, не публиковавшихся в предшествующих собраниях сочинений.

Произведения, входящие в состав издания, располагаются по хронологически-жанровому принципу. При этом составители исходят из даты написания произведения или — если она не установлена — из даты первой публикации. Под каждым стихотворением в квадратных скобках указывается год; даты, принадлежащие самому поэту, приводятся без скобок.

Издание открывается автобиографией Маяковского «Я сам» — в соответствии с тем, как поэт открывал свое десятитомное собрание сочинений и другие сборники.

Издание рассчитано на 13 томов:

т. 1. — Стихотворения, трагедия, поэмы и статьи 1912—1917 годов (до Великой Октябрьской социалистической революции).

т. 2. — Стихотворения, поэма и пьесы 1917—1921 годов.

т. 3. — Окна РОСТА и Главполитпросвета 1919—1922 годов.

т. 4. — Стихотворения 1922 года, поэмы, агитлубки и очерки 1922—1923 годов.

т. 5. — Стихотворения 1923 года.

т. 6. — Стихотворения 1924 года — первой половины 1925 года, поэмы «Владимир Ильич Ленин», «Летающий пролетарий».

т. 7. — Стихотворения второй половины 1925 года—1926 года и очерки об Америке.

т. 8. — Стихотворения 1927 года, поэма «Хорошо!» и очерки.

т. 9. — Стихотворения 1928 года.

т. 10. — Стихотворения 1929—1930 годов, вступление в поэму «Во весь голос»; стихи детям.

т. 11. — Пьесы 1926—1930 годов и киносценарии.

тт. 12 и 13. — Статьи, заметки, стенограммы выступлений, письма и другие материалы.

В особом разделе каждого тома публикуется свод вариантов и разночтений. Рукописные варианты даются в их последовательности; при этом слова, зачеркнутые автором и замененные другими, не отмечаются (замена одного слова другим видна из сопоставления вариантов). В остальных случаях зачеркнутые слова заключаются в квадратные скобки; в ломаные скобки ставятся окончания слов, недописанных поэтом. В случае, когда рукопись представляет особую сложность, вариантам предпосылается краткое введение, объясняющее форму подачи материала.

В примечаниях даются текстологические сведения: а) перечень рукописных и печатных источников текста в хронологической последовательности, б) указание на выбранный текст (если это не прижизненное собрание сочинений поэта) и на существенные исправления, внесенные в этот текст, в) дата написания произведения.

В примечаниях даются также краткие сведения историко-литературного характера.

Институт Мировой Литературы имени А. М. Горького Академии Наук СССР.

Я САМ

ТЕМА

Я — поэт. Этим и интересен. Об этом и пишу. Об остальном — только если это отстоялось словом.

ПАМЯТЬ

Бурлюк говорил: у Маяковского память, что дорога в Полтаве, — каждый галошу оставит. Но лица и даты не запоминаю. Помню только, что в 1100 году куда-то переселялись какие-то «доряне». Подробностей этого дела не помню, но, должно быть, дело серьезное. Запоминать же — «Сие написано 2 мая. Павловск Фонтаны» — дело вовсе мелкое. Поэтому свободно плаваю по своей хронологии.

ГЛАВНОЕ

Родился 7 июля 1894 года (или 93 — мнения мамы и послужного списка отца расходятся. Во всяком случае не раньше). Родина — село Багдады, Кутаисская губерния, Грузия.

СОСТАВ СЕМЬИ

Отец: Владимир Константинович (багдадский лесничий), умер в 1906 году.

Мама: Александра Алексеевна.

Сестры:

а) Люда.

б) Оля.

Других Маяковских, повидимому, не имеется.

1-е ВОСПОМИНАНИЕ

Понятия живописные. Место неизвестно. Зима. Отец выписал журнал «Родина». У «Родины» «юмористическое» приложение. О смешных говорят и ждут. Отец ходит и поет свое всегдашнее «алон занфан де ля по четыре». «Родина» пришла. Раскрываю и сразу (картинка) ору: «Как смешно! Дядя с тетей целуются». Смеялись. Позднее, когда пришло приложение и надо было действительно смеяться, выяснилось — раньше смеялись только надо мной. Так разошлись наши понятия о картинках и о юморе.

2-е ВОСПОМИНАНИЕ

Понятия поэтические. Лето. Приезжает масса. Красивый длинный студент — Б. П. Глушковский. Рисует. Кожаная тетрадища. Блестящая бумага. На бумаге длинный человек без штанов (а может, в обтяжку) перед зеркалом. Человека зовут «Евгенионегиным». И Боря был длинный, и нарисованный был длинный. Ясно. Борю я и считал этим самым «Евгенионегиным». Мнение держалось года три.

3-е ВОСПОМИНАНИЕ

Практические понятия. Ночь. За стеной бесконечный шепот папы и мамы. О рояли. Всю ночь не спал. Свербила одна и та же фраза. Утром бросился бежать бегом: «Папа, что такое рассрочка платежа?» Объяснение очень понравилось.

ДУРНЫЕ ПРИВЫЧКИ

Лето. Потрясающие количества гостей. Накапливаются именины. Отец хвастается моей памятью. Ко всем именинам меня заставляют заучивать стихи. Помню — специально для папиных именин:

Как-то раз перед толпою
Соплеменных гор...

«Соплеменные» и «скалы́» меня раздражали. Кто они такие, я не знал, а в жизни они не желали мне попадаться. Позднее я узнал, что это поэтичность, и стал тихо ее ненавидеть.

КОРНИ РОМАНТИЗМА

Первый дом, воспоминаемый отчетливо. Два этажа. Верхний — наш. Нижний — винный заводик. Раз в году — арбы винограда. Давили. Я ел. Они пили. Все это территория стариннейшей грузинской крепости под Багдадами. Крепость очетыреугольнивается крепостным валом. В углах валов — накаты для пушек. В валах бойницы. За валами рвы. За рвами леса и шакалы. Над лесами горы. Подрос. Бегал на самую высокую. Снижаются горы к северу. На севере разрыв. Мечталось — это Россия. Тянуло туда невероятнейше.

НЕОБЫЧАЙНОЕ

Лет семь. Отец стал брать меня в верховые объезды лесничества. Перевал. Ночь. Обстигло туманом. Даже отца не видно. Тропка узейшая. Отец, очевидно, отдернул рукавом ветку шиповника. Ветка с размаху шипами в мои щеки. Чуть повизгивая, вытаскиваю колючки. Сразу пропали и туман и боль. В расступившемся тумане под ногами — ярче неба. Это электричество. Клепочный завод князя Накашидзе. После электричества совершенно бросил интересоваться природой. Неусовершенствованная вещь.

УЧЕНИЕ

Учила мама и всякоюродные сестры. Арифметика казалась неправдоподобной. Приходится рассчитывать яблоки и груши, раздаваемые мальчикам. Мне ж всегда давали, и я всегда давал без счета. На Кавказе фруктов сколько угодно. Читать выучился с удовольствием.

ПЕРВАЯ КНИГА

Какая-то «Птичница Агафья». Если б мне в то время попалось несколько таких книг — бросил бы читать совсем. К счастью, вторая — «Дон-Кихот». Вот это книга! Сделал деревянный меч и латы, разил окружающее.

ЭКЗАМЕН

Переехали. Из Багдад в Кутаис. Экзамен в гимназию. Выдержал. Спросили про якорь (на моем рукаве) — знал хорошо. Но священник спросил — что такое «око». Я ответил: «Три фунта» (так по-грузински). Мне объяснили любезные экзаминаторы, что «око» — это «глаз» по-древнему, церковнославянскому. Из-за этого чуть не провалился. Поэтому возненавидел сразу — все древнее, все церковное и все славянское. Возможно, что отсюда пошли и мой футуризм, и мой атеизм, и мой интернационализм.

ГИМНАЗИЯ

Приготовительный, 1-й и 2-й. Иду первым. Весь в пятерках. Читаю Жюля Верна. Вообще фантастическое. Какой-то бородач стал во мне обнаруживать способности художника. Учит даром.

ЯПОНСКАЯ ВОЙНА

Увеличилось количество газет и журналов дома. «Русские ведомости», «Русское слово», «Русское богатство» и прочее. Читаю все. Безотчетно взвинчен. Вос-

хищают открытки крейсеров. Увеличиваю и перерисовываю. Появилось слово «прокламация». Прокламации вешали грузины. Грузинов вешали казаки. Мои товарищи грузины. Я стал ненавидеть казаков.

НЕЛЕГАЛЬЩИНА

Приехала сестра из Москвы. Восторженная. Тайком дала мне длинные бумажки. Нравилось: очень рискованно. Помню и сейчас. Первая:

> Опомнись, товарищ, опомнись-ка, брат,
> скорей брось винтовку на землю.

И еще какое-то, с окончанием:

> ...а не то путь иной —
> к немцам с сыном, с женой и с мамашей...

(о царе).

Это была революция. Это было стихами. Стихи и революция как-то объединились в голове.

905-й год

Не до учения. Пошли двойки. Перешел в четвертый только потому, что мне расшибли голову камнем (на Рионе подрался), — на переэкзаменовках пожалели. Для меня революция началась так: мой товарищ, повар священника — Исидор, от радости босой вскочил на плиту — убили генерала Алиханова. Усмиритель Грузии. Пошли демонстрации и митинги. Я тоже пошел. Хорошо. Воспринимаю живописно: в черном анархисты, в красном эсеры, в синем эсдеки, в остальных цветах федералисты.

СОЦИАЛИЗМ

Речи, газеты. Из всего — незнакомые понятия и слова. Требую у себя объяснений. В окнах белые книжицы. «Буревестник». Про то же. Покупаю все. Вставал в шесть утра. Читал запоем. Первая: «Долой

социал-демократов». Вторая: «Экономические беседы». На всю жизнь поразила способность социалистов распутывать факты, систематизировать мир. «Что читать?» — кажется, Рубакина. Перечел советуемое. Многое не понимаю. Спрашиваю. Меня ввели в марксистский кружок. Попал на «Эрфуртскую». Середина. О «люмпенпролетариате». Стал считать себя социал-демократом: стащил отцовские берданки в эсдечий комитет.

Фигурой нравился Лассаль. Должно быть, оттого, что без бороды. Моложавей. Лассаль у меня перепутался с Демосфеном. Хожу на Рион. Говорю речи, набрав камни в рот.

РЕАКЦИЯ

По-моему, началось со следующего: при панике (может, разгоне) в демонстрацию памяти Баумана мне (упавшему) попало большущим барабанищем по голове. Я испугался, думал — сам треснул.

906-й ГОД

Умер отец. Уколол палец (сшивал бумаги). Заражение крови. С тех пор терпеть не могу булавок. Благополучие кончилось. После похорон отца — у нас 3 рубля. Инстинктивно, лихорадочно мы распродали столы и стулья. Двинулись в Москву. Зачем? Даже знакомых не было.

ДОРОГА

Лучше всего — Баку. Вышки, цистерны, лучшие духи — нефть, а дальше степь. Пустыня даже.

МОСКВА

Остановились в Разумовском. Знакомые сестры — Плотниковы. Утром паровиком в Москву. Сняли квартиренку на Бронной.

МОСКОВСКОЕ

С едами плохо. Пенсия — 10 рублей в месяц. Я и две сестры учимся. Маме пришлось давать комнаты и обеды. Комнаты дрянные. Студенты жили бедные. Социалисты. Помню — первый передо мной «большевик» Вася Канделаки.

ПРИЯТНОЕ

Послан за керосином. 5 рублей. В колониальной дали сдачи 14 рублей 50 копеек; 10 рублей — чистый заработок. Совестился. Обошел два раза магазин («Эрфуртская» заела). — Кто обсчитался, хозяин или служащий, — тихо расспрашиваю приказчика. — Хозяин! — Купил и съел четыре цукатных хлеба. На остальные гонял в лодке по Патриаршим прудам. Видеть с тех пор цукатных хлебов не могу.

РАБОТА

Денег в семье нет. Пришлось выжигать и рисовать. Особенно запомнились пасхальные яйца. Круглые, вертятся и скрипят, как двери. Яйца продавал в кустарный магазин на Неглинной. Штука 10—15 копеек. С тех пор бесконечно ненавижу Бемов, русский стиль и кустарщину.

ГИМНАЗИЯ

Перевелся в 4-й класс пятой гимназии. Единицы, слабо разноображиваемые двойками. Под партой «Анти-Дюринг».

ЧТЕНИЕ

Беллетристики не признавал совершенно. Философия. Гегель. Естествознание. Но главным образом марксизм. Нет произведения искусства, которым бы я увлекся более, чем «Предисловием» Маркса. Из комнат

студентов шла нелегальщина. «Тактика уличного боя» и т. д. Помню отчетливо синенькую ленинскую «Две тактики». Нравилось, что книга срезана до букв. Для нелегального просовывания. Эстетика максимальной экономии.

ПЕРВОЕ ПОЛУСТИХОТВОРЕНИЕ

Третья гимназия издавала нелегальный журнальчик «Порыв». Обиделся. Другие пишут, а я не могу?! Стал скрипеть. Получилось невероятно революционно и в такой же степени безобразно. Вроде теперешнего Кириллова. Не помню ни строки. Написал второе. Вышло лирично. Не считая таковое состояние сердца совместимым с моим «социалистическим достоинством», бросил вовсе.

ПАРТИЯ

1908 год. Вступил в партию РСДРП (большевиков). Держал экзамен в торгово-промышленном подрайоне. Выдержал. Пропагандист. Пошел к булочникам, потом к сапожникам и наконец к типографщикам. На общегородской конференции выбрали в МК. Были Ломов, Поволжец, Смидович и другие. Звался «товарищем Константином». Здесь работать не пришлось — взяли.

АРЕСТ

29 марта 1908 г. нарвался на засаду в Грузинах. Наша нелегальная типография. Ел блокнот. С адресами и в переплете. Пресненская часть. Охранка. Сущевская часть. Следователь Вольтановский (очевидно, считал себя хитрым) заставил писать под диктовку: меня обвиняли в писании прокламации. Я безнадежно перевирал диктант. Писал: «социяльдимокритическая». Возможно, провел. Выпустили на поруки. В части с недоумением прочел «Санина». Он почему-то в каждой части имелся. Очевидно, душеспасителен.



СЕМЬЯ МАЯКОВСКИХ

Фото 1905 г.

Вышел. С год — партийная работа. И опять кратковременная сидка. Взяли револьвер. Махмудбеков, друг отца, тогда помощник начальника Крестов, арестованный случайно у меня в засаде, заявил, что револьвер его, и меня выпустили.

ТРЕТИЙ АРЕСТ

Живущие у нас (Коридзе (нелегальн. Морчадзе) Герулайтис и др.) ведут подкоп под Таганку. Освобождать женщин каторжан. Удалось устроить побег из Новинской тюрьмы. Меня забрали. Сидеть не хотел. Скандалил. Переводили из части в часть — Басманная, Мещанская, Мясницкая и т. д. — и наконец — Бутырки. Одиночка № 103.

11 БУТЫРСКИХ МЕСЯЦЕВ

Важнейшее для меня время. После трех лет теории и практики — бросился на беллетристику.

Перечел все новейшее. Символисты — Белый, Бальмонт. Разобрала формальная новизна. Но было чуждо. Темы, образы не моей жизни. Попробовал сам писать так же хорошо, но про другое. Оказалось *так же про другое* — нельзя. Вышло ходульно и ревплаксиво. Что-то вроде:

В золото, в пурпур леса одевались,
Солнце играло на главах церквей.
Ждал я: но в месяцах дни потерялись,
Сотни томительных дней.

Исписал таким целую тетрадку. Спасибо надзирателям — при выходе отобрали. А то б еще напечатал!

Отчитав современность, обрушился на классиков. Байрон, Шекспир, Толстой. Последняя книга — «Анна Каренина». Не дочитал. Ночью вызвали «с вещами по городу». Так и не знаю, чем у них там, у Карениных, история кончилась.

Меня выпустили. Должен был (охранка постановила) идти на три года в Туруханск. Махмудбеков отхлопотал меня у Курлова.

Во время сидки судили по первому делу — виновен, но летами не вышел. Отдать под надзор полиции и под родительскую ответственность.

ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ДИЛЕММА

Вышел взбудораженный. Те, кого я прочел, — так называемые великие. Но до чего же нетрудно писать лучше их. У меня уже и сейчас правильное отношение к миру. Только нужен опыт в искусстве. Где взять? Я неуч. Я должен пройти серьезную школу. А я вышиблен даже из гимназии, даже и из Строгановского. Если остаться в партии — надо стать нелегальным. Нелегальным, казалось мне, не научишься. Перспектива — всю жизнь писать летучки, выкладывать мысли, взятые из правильных, но не мной придуманных книг. Если из меня вытряхнуть прочитанное, что останется? Марксистский метод. Но не в детские ли руки попало это оружие? Легко орудовать им, если имеешь дело только с мыслью своих. А что при встрече с врагами? Ведь вот лучше Белого я все-таки не могу написать. Он про свое весело — «в небеса запустил ананасом», а я про свое ною — «сотни томительных дней». Хорошо другим партийцам. У них еще и университет. (А высшую школу — я еще не знал, что это такое — я тогда уважал!)

Что я могу противопоставить навалившейся на меня эстетике старья? Разве революция не потребует от меня серьезной школы? Я зашел к тогда еще товарищу по партии — Медведеву. Хочу делать социалистическое искусство. Сережа долго смеялся: кишка тонка.

Думаю все-таки, что он недооценил мои кишки.

Я прервал партийную работу. Я сел учиться.

НАЧАЛО МАСТЕРСТВА

Думалось — стихов писать не могу. Опыты плачевные. Взялся за живопись. Учился у Жуковского. Вместе с какими-то дамочками писал серебренькие сервизики.

Через год догадался — учусь рукоделию. Пошел к Келину. Реалист. Хороший рисовальщик. Лучший учитель. Твердый. Меняющийся.

Требование — мастерство, Гольбейн. Терпеть не могущий красивенькое.

Поэт почитаемый — Саша Черный. Радовал его антиэстетизм.

ПОСЛЕДНЕЕ УЧИЛИЩЕ

Сидел на «голове» год. Поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества: единственное место, куда приняли без свидетельства о благонадежности. Работал хорошо.

Удивило: подражателей лелеют — самостоятельных гонят. Ларионов, Машков. Ревинстинктом стал за выгоняемых.

ДАВИД БУРЛЮК

В училище появился Бурлюк. Вид наглый. Лорнетка. Сюртук. Ходит напевая. Я стал задирать. Почти задрались.

В КУРИЛКЕ

Благородное собрание. Концерт. Рахманинов. Остров мертвых. Бежал от невыносимой мелодизированной скуки. Через минуту и Бурлюк. Расхохотались друг в друга. Вышли шляться вместе.

ПАМЯТНЕЙШАЯ НОЧЬ

Разговор. От скуки рахманиновской перешли на училищную, от училищной — на всю классическую скуку. У Давида — гнев обогнавшего современников мастера, у меня — пафос социалиста, знающего неизбежность крушения старья. Родился российский футуризм.

СЛЕДУЮЩАЯ

Днем у меня вышло стихотворение. Вернее — куски. Плохие. Нигде не напечатаны. Ночь. Сретенский бульвар. Читаю строки Бурлюку. Прибавляю — это один мой знакомый. Давид остановился. Осмотрел меня. Рявкнул: «Да это же ж вы сами написали! Да вы же ж гениальный поэт!» Применение ко мне такого грандиозного и незаслуженного эпитета обрадовало меня. Я весь ушел в стихи. В этот вечер совершенно неожиданно я стал поэтом.

БУРЛЮЧЬЕ ЧУДАЧЕСТВО

Уже утром Бурлюк, знакомя меня с кем-то, басил: «Не знаете? Мой гениальный друг. Знаменитый поэт Маяковский». Толкаю. Но Бурлюк непреклонен. Еще и рычал на меня, отойдя: «Теперь пишите. А то вы меня ставите в глупейшее положение».

ТАК ЕЖЕДНЕВНО

Пришлось писать. Я и написал первое (первое профессиональное, печатаемое) — «Багровый и белый» и другие.

ПРЕКРАСНЫЙ БУРЛЮК

Всегдашней любовью думаю о Давиде. Прекрасный друг. Мой действительный учитель. Бурлюк сделал меня поэтом. Читал мне французов и немцев. Всовывал книги. Ходил и говорил без конца. Не отпускал ни на шаг. Выдавал ежедневно 50 копеек. Чтоб писать не голодая.

На Рождество завез к себе в Новую Маячку. Привез «Порт» и другое.

«ПОЩЕЧИНА»

Из Маячки вернулись. Если с неотчетливыми взглядами, то с отточенными темпераментами. В Москве Хлебников. Его тихая гениальность тогда была для меня совершенно затемнена бурлящим Давидом. Здесь же вился футуристический иезуит слова — Крученых.

После нескольких ночей лирики родили совместный манифест. Давид собирал, переписывал, вдвоем дали имя и выпустили «Пощечину общественному вкусу».

ПОШЕВЕЛИВАЮТСЯ

Выставки «Бубновый валет». Диспуты. Разъяренные речи мои и Давида. Газеты стали заполняться футуризмом. Тон был не очень вежливый. Так, например, меня просто называли «сукиным сыном».

ЖЕЛТАЯ КОФТА

Костюмов у меня не было никогда. Были две блузы — гнуснейшего вида. Испытанный способ — украшаться галстуком. Нет денег. Взял у сестры кусок желтой ленты. Обвязался. Фурор. Значит, самое заметное и красивое в человеке — галстук. Очевидно — увеличишь галстук, увеличится и фурор. А так как размеры галстуков ограничены, я пошел на хитрость: сделал галстуковую рубашку и рубашковый галстук.

Впечатление неотразимое.

РАЗУМЕЕТСЯ

Генералитет искусства ощерился. Князь Львов. Директор училища. Предложил прекратить критику и агитацию. Отказались.

Совет «художников» изгнал нас из училища.

ВЕСЕЛЫЙ ГОД

Ездили Россией. Вечера. Лекции. Губернаторство настораживалось. В Николаеве нам предложили не касаться ни начальства, ни Пушкина. Часто обрывались полицией на полуслове доклада. К ватаге присоединился Вася Каменский. Старейший футурист.

Для меня эти годы — формальная работа, овладение словом.

Издатели не брали нас. Капиталистический нос чуял в нас динамитчиков. У меня не покупали ни одной строчки.

Возвращаясь в Москву — чаще всего жил на бульварах.

Это время завершилось трагедией «Владимир Маяковский». Поставлена в Петербурге. Луна-Парк. Просвистели ее до дырок.

НАЧАЛО 14-го ГОДА

Чувствую мастерство. Могу овладеть темой. Вплотную. Ставлю вопрос о теме. О революционной. Думаю над «Облаком в штанах».

ВОЙНА

Принял взволнованно. Сначала только с декоративной, с шумовой стороны. Плакаты заказные и, конечно, вполне военные. Затем стих. «Война объявлена».

АВГУСТ

Первое сражение. Вплотную встал военный ужас. Война отвратительна. Тыл еще отвратительней. Чтобы сказать о войне — надо ее видеть. Пошел записываться добровольцем. Не позволили. Нет благонадежности.

И у полковника Модля оказалась одна хорошая идея.

ЗИМА

Отвращение и ненависть к войне. «Ах, закройте, закройте глаза газет» и другие.

Интерес к искусству пропал вовсе.

МАЙ

Выиграл 65 рублей. Уехал в Финляндию. Куоккала.

КУОККАЛА

Семизнакомая система (семипольная). Установил семь обедающих знакомств. В воскресенье «ем» Чуковского, понедельник — Евреинова и т. д. В четверг было хуже — ем репинские травки. Для футуриста ростом в сажень — это не дело.

Вечера шатаюсь пляжем. Пишу «Облако».

Выкрепло сознание близкой революции.

Поехал в Мустамяки. М. Горький. Читал ему части «Облака». Расчувствовавшийся Горький обплакал мне весь жилет. Расстроил стихами. Я чуть загордился. Скоро выяснилось, что Горький рыдает на каждом поэтическом жилете.

Все же жилет храню. Могу кому-нибудь уступить для провинциального музея.

«НОВЫЙ САТИРИКОН»

65 рублей прошли легко и без боли. «В рассуждении чего б покушать» стал писать в «Новом сатириконе».

РАДОСТНЕЙШАЯ ДАТА

Июль 915-го года. Знакомлюсь с Л. Ю. и О. М. Бриками.

ПРИЗЫВ

Забрили. Теперь идти на фронт не хочу. Притворился чертежником. Ночью учусь у какого-то инженера чертить авто. С печатанием еще хуже. Солдатам запрещают. Один Брик радует. Покупает все мои стихи по 50 копеек строку. Напечатал «Флейту позвоночника» и «Облако». Облако вышло перистое. Цензура в него дула. Страниц шесть сплошных точек.

С тех пор у меня ненависть к точкам. К запятым тоже.

СОЛДАТЧИНА

Паршивейшее время. Рисую (изворачиваюсь) начальниковы портреты. В голове разворачивается «Война и мир», в сердце — «Человек».

16-й ГОД

Окончена «Война и мир». Немного позднее — «Человек». Куски печатаю в «Летописи». На военщину нагло не показываюсь.

26 ФЕВРАЛЯ, 17-й ГОД

Пошел с автомобилями к Думе. Влез в кабинет Родзянки. Осмотрел Милюкова. Молчит. Но мне почему-то кажется, что он заикается. Через час надоели. Ушел. Принял на несколько дней команду Автошколой. Гучковеет. Старое офицерье по-старому расхаживает в Думе. Для меня ясно — за этим неизбежно сейчас же социалисты. Большевики. Пишу в первые же дни революции Поэтохронику «Революция». Читаю лекции — «Большевики искусства».

АВГУСТ

Россия понемногу откеренщивается. Потеряли уважение. Ухожу из «Новой жизни». Задумываю «Мистерию-Буфф».



Регистрационная карточка Московского охранного отделения на Маяковского

1908 г.

ОКТЯБРЬ

Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня (и для других москвичей-футуристов) не было. Моя революция. Пошел в Смольный. Работал. Все, что приходилось. Начинают заседать.

ЯНВАРЬ

Заехал в Москву. Выступаю. Ночью «Кафе поэтов» в Настасьинском. Революционная бабушка теперешних кафе-поэтных салончиков. Пишу киносценарии. Играю сам. Рисую для кино плакаты. Июнь. Опять Петербург.

18-й ГОД

РСФСР — не до искусства. А мне именно до него. Заходил в Пролеткульт к Кшесинской.

Отчего не в партии? Коммунисты работали на фронтах. В искусстве и просвещении пока соглашатели. Меня послали б ловить рыбу в Астрахань.

25 ОКТЯБРЯ, 18-й ГОД

Окончил мистерию. Читал. Говорят много. Поставил Мейерхольд с К. Малевичем. Ревели вокруг страшно. Особенно коммунистичествующая интеллигенция. Андреева чего-чего не делала. Чтоб мешать. Три раза поставили — потом расколотили. И пошли «Макбеты».

19-й ГОД

Езжу с мистерией и другими вещами моими и товарищей по заводам. Радостный прием. В Выборгском районе организуется комфут, издаем «Искусство коммуны». Академии трещат. Весной переезжаю в Москву.

Голову охватила «150 000 000». Пошел в агитацию Роста.

20-й ГОД

Кончил «Сто пятьдесят миллионов». Печатаю без фамилии. Хочу, чтоб каждый дописывал и лучшил. Этого не делали, зато фамилию знали все. Все равно. Печатаю здесь под фамилией.

Дни и ночи Роста. Наступают всяческие Деникины. Пишу и рисую. Сделал тысячи три плакатов и тысяч шесть подписей.

21-й ГОД

Пробиваясь сквозь все волокиты, ненависти, канцелярщины и тупости — ставлю второй вариант мистерии. Идет в I РСФСР — в режиссуре Мейерхольда с художниками Лавинским, Храковским, Киселевым и в цирке на немецком языке для III конгресса Коминтерна. Ставит Грановский с Альтманом и Равделем. Прошло около ста раз.

Стал писать в «Известиях».

22-й ГОД

Организую издательство МАФ. Собираю футуристов — коммуны. Приехали с Дальнего Востока Асеев, Третьяков и другие товарищи по дракам. Начал записывать работанный третий год «Пятый интернационал». Утопия. Будет показано искусство через 500 лет.

23-й ГОД

Организуем «Леф». «Леф» — это охват большой социальной темы всеми орудиями футуризма. Этим определением, конечно, вопрос не исчерпывается, — интересующихся отсылаю к №№. Сплотились тесно: Брик, Асеев, Кушнер, Арватов, Третьяков, Родченко, Лавинский.

Написал: «Про это». По личным мотивам об общем быте. Начал обдумывать поэму «Ленин». Один из ло-

зунгов, одно из больших завоеваний «Лефа» — деэстетизация производственных искусств, конструктивизм. Поэтическое приложение: агитка и агитка хозяйственная — реклама. Несмотря на поэтическое улюлюканье, считаю «Нигде кроме как в Моссельпроме» поэзией самой высокой квалификации.

24-й ГОД

«Памятник рабочим Курска». Многочисленные лекции по СССР о «Лефе». «Юбилейное» — Пушкину. И стихи этого типа — цикл. Путешествия: Тифлис, Ялта — Севастополь. «Тамара и Демон» и т. д. Закончил поэму «Ленин». Читал во многих рабочих собраниях. Я очень боялся этой поэмы, так как легко было снизиться до простого политического пересказа. Отношение рабочей аудитории обрадовало и утвердило в уверенности нужности поэмы. Много езжу за границу. Европейская техника, индустриализм, всякая попытка соединить их с еще непролазной бывшей Россией — всегдашняя идея футуриста-лефовца.

Несмотря на неутешительные тиражные данные о журнале, «Леф» ширится в работе.

Мы знаем эти «данные» — просто частая канцелярская незаинтересованность в отдельных журналах большого и хладнокровного механизма Гиза.

25-й ГОД

Написал агитпоэму «Летающий пролетарий» и сборник агитстихов «Сам пройдись по небесам».

Еду вокруг земли. Начало этой поездки — последняя поэма (из отдельных стихов) на тему «Париж». Хочу и перейду со стиха на прозу. В этот год должен закончить первый роман.

«Вокруг» не вышло. Во-первых, обокрали в Париже, во-вторых, после полугода езды пулей бросился в СССР. Даже в Сан-Франциско (звали с лекцией) не поехал. Изъездил Мексику, С.-А. С. Ш. и куски Франции и

Испании. Результат — книги: публицистика-проза — «Мое открытие Америки» и стихи — «Испания», «Атлантический океан», «Гаванна», «Мексика», «Америка».

Роман дописал в уме, а на бумагу не перевел, потому что: пока дописывалось, проникался ненавистью к выдуманному и стал от себя требовать, чтобы на фамилии, чтоб на факте. Впрочем, это и на 26-й — 27-й годы.

1926-й ГОД

В работе сознательно перевожу себя на газетчика. Фельетон, лозунг. Поэты улюлюкают — однако сами газетничать не могут, а больше печатаются в безответственных приложениях. А мне на их лирический вздор смешно смотреть, настолько этим заниматься легко и никому кроме супруги не интересно.

Пишу в «Известиях», «Труде», «Рабочей Москве», «Заре Востока», «Бакинском рабочем» и других.

Вторая работа — продолжаю прерванную традицию трубадуров и менестрелей. Езжу по городам и читаю. Новочеркасск, Винница, Харьков, Париж, Ростов, Тифлис, Берлин, Казань, Свердловск, Тула, Прага, Ленинград, Москва, Воронеж, Ялта, Евпатория, Вятка, Уфа и т. д., и т. д., и т. д.

1927-й ГОД

Восстанавливаю (была проба «сократить») «Леф», уже «Новый». Основная позиция: против выдумки, эстетизации и психоложества искусством — за агит, за квалифицированную публицистику и хронику. Основная работа в «Комсомольской правде», и сверхурочно работаю «Хорошо».

«Хорошо» считаю программной вещью, вроде «Облака в штанах» для того времени. Ограничение отвлеченных поэтических приемов (гиперболы, виньеточного самоценного образа) и изобретение приемов для обработки хроникального и агитационного материала.

Иронический пафос в описании мелочей, но могущих

быть и верным шагом в будущее («сыры не засижены — лампы сияют, цены снижены»), введение, для перебивки планов, фактов различного исторического калибра, законных только в порядке личных ассоциаций («Разговор с Блоком», «Мне рассказывал тихий еврей, Павел Ильич Лавут»).

Буду разрабатывать намеченное.

Еще: написаны — сценарии и детские книги.

Еще продолжал менестрелить. Собрал около 20 000 записок, думаю о книге «Универсальный ответ» (записочникам). Я знаю, о чем думает читающая масса.

1928-й ГОД

Пишу поэму «Плохо». Пьесу и мою литературную биографию. Многие говорили: «Ваша автобиография не очень серьезна». Правильно. Я еще не заакадемичился и не привык нянчиться со своей персоной, да и дело мое меня интересует, только если это весело. Подъем и опадание многих литератур, символисты, реалисты и т. д., наша борьба с ними — все это, шедшее на моих глазах: это часть нашей весьма серьезной истории. Это требует, чтобы об нем написать. И напишу.

[*1922. 1928*]

СТИХОТВОРЕНИЯ

(1912—1917)

НОЧЬ

Багровый и белый отброшен и скомкан,
в зеленый бросали горстями дукаты,
а черным ладоням сбежавшихся окон
раздали горящие желтые карты.

Бульварам и площади было не странно
увидеть на зданиях синие тоги.
И раньше бегущим, как желтые раны,
огни обручали браслетами ноги.

Толпа — пестрошерстая быстрая кошка —
плыла, изгибаясь, дверями влекома;
каждый хотел протащить хоть немножко
громаду из смеха отлитого кома.

Я, чувствуя платья зовущие лапы,
в глаза им улыбку протиснул; пугая
ударами в жесть, хохотали арапы,
над лбом расцветивши крыло попугая.

[*1912*]

УТРО

Угрюмый дождь скосил глаза.
А за
решеткой
четкой
железной мысли проводов —
перина.
И на
нее
встающих звезд
легко оперлись ноги.
Но ги-
бель фонарей,
царей
в короне газа,
для глаза
сделала больней
враждующий букет бульварных проституток.
И жуток
шуток
клюющий смех —
из желтых
ядовитых роз
возрос
зигзагом.
За гам
и жуть
взглянуть
отрадно глазу:

раба
крестов
страдающе-спокойно-безразличных,
гроба
домов
публичных
восток бросал в одну пылающую вазу.

[*1912*]

ПОРТ

Просты́ни вод под брюхом были.
Их рвал на волны белый зуб.
Был вой трубы — как будто лили
любовь и похоть медью труб.
Прижались лодки в люльках входов
к сосцам железных матерей.
В ушах оглохших пароходов
горели серьги якорей.

[*1912*]

УЛИЧНОЕ

В шатрах, истертых ликов цвель где,
из ран лотков сочилась клюква,
а сквозь меня на лунном сельде
скакала крашеная буква.

Вбиваю гулко шага сваи,
бросаю в бубны улиц дробь я.
Ходьбой усталые трамваи
скрестили блещущие копья.

Подняв рукой единый глаз,
кривая площадь кра́лась близко.
Смотрело небо в белый газ
лицом безглазым василиска.

[1913]

ИЗ УЛИЦЫ В УЛИЦУ

У-
лица.
Лица
у
догов
годов
рез-
че.
Че-
рез
железных коней
с окон бегущих домов
прыгнули первые кубы.
Лебеди шей колокольных,
гнитесь в силках проводов!
В небе жирафий рисунок готов
выпестрить ржавые чубы.
Пестр, как форель,
сын
безузорной пашни.
Фокусник
рельсы
тянет из пасти трамвая,
скрыт циферблатами башни.
Мы завоеваны!
Ванны.
Души.
Лифт.

Лиф души расстегнули.
Тело жгут руки.
Кричи, не кричи:
«Я не хотела!» —
резок
жгут
муки.
Ветер колючий
трубе
вырывает
дымчатой шерсти клок.
Лысый фонарь
сладострастно снимает
с улицы
черный чулок.

[1913]

А ВЫ МОГЛИ БЫ?

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

[1913]

ВЫВЕСКАМ

Читайте железные книги!
Под флейту золо́ченой буквы
полезут копченые сиги
и золотокудрые брюквы.

А если веселостью песьей
закружат созвездия «Магги» —
бюро похоронных процессий
свои проведут саркофаги.

Когда же, хмур и плачевен,
загасит фонарные знаки,
влюбляйтесь под небом харчевен
в фаянсовых чайников маки!

[*1913*]

ТЕАТРЫ

Рассказ о взлезших на подмосток
аршинной буквою графишь,
и зазывают в вечер с досок
зрачки малеванных афиш.

Автомобиль подкрасил губы
у блеклой женщины Карьера,
а с прилетавших рвали шубы
два огневые фокстерьера.

И лишь светящаяся груша
о тень сломала копья драки,
на ветке лож с цветами плюша
повисли тягостные фраки.

[*1913*]

КОЕ-ЧТО ПРО ПЕТЕРБУРГ

Слезают слезы с крыши в трубы,
к руке реки чертя полоски;
а в неба свисшиеся губы
воткнули каменные соски.

И небу — стихши — ясно стало:
туда, где моря блещет блюдо,
сырой погонщик гнал устало
Невы двугорбого верблюда.

[1913]

ЗА ЖЕНЩИНОЙ

Раздвинув локтем тумана дрожжи,
цедил белила из черной фляжки
и, бросив в небо косые вожжи,
качался в тучах, седой и тяжкий.

В расплаве меди домов полуда,
дрожанья улиц едва хранимы,
дразнимы красным покровом блуда,
рогами в небо вонзались дымы.

Вулканы-бедра за льдами платий,
колосья грудей для жатвы спелы.
От тротуаров с ужимкой татьей
ревниво взвились тупые стрелы.

Вспугнув копытом молитвы высей,
арканом в небе поймали бога
и, ощипавши с улыбкой крысьей,
глумясь, тащили сквозь щель порога.

Восток заметил их в переулке,
гримасу неба отбросил выше
и, выдрав солнце из черной сумки,
ударил с злобой по ребрам крыши.

[1913]

Я

1

По мостовой
моей души изъезженной
шаги помешанных
вьют жестких фраз пяты.
Где города
повешены
и в петле о́блака
застыли
башен
кривые выи —
иду
один рыдать,
что перекрестком
ра́спяты
городовые.

[*1913*]

2

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МОЕЙ ЖЕНЕ

Морей неведомых далеким пляжем
идет луна —
жена моя.
Моя любовница рыжеволосая.
За экипажем
крикливо тянется толпа созвездий пестрополосая.
Венчается автомобильным гаражем,
целуется газетными киосками,
а шлейфа млечный путь моргающим пажем
украшен мишурными блестками.
А я?
Несло же, палимому, бровей коромысло
из глаз колодцев студеные ведра.
В шелках озерных ты висла,
янтарной скрипкой пели бедра?
В края, где злоба крыш,
не кинешь блесткой лесни.
В бульварах я тону, тоской песков овеян:
ведь это ж дочь твоя —
моя песня
в чулке ажурном
у кофеен!

[*1913*]

3

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МОЕЙ МАМЕ

У меня есть мама на васильковых обоях.
А я гуляю в пестрых павах,
вихрастые ромашки, шагом меряя, мучу.
Заиграет вечер на гобоях ржавых,
подхожу к окошку,
веря,
что увижу опять
севшую
на дом
тучу.
А у мамы больной
пробегают народа шорохи
от кровати до угла пустого.
Мама знает —
это мысли сумасшедшей ворохи
вылезают из-за крыш завода Шустова.
И когда мой лоб, венчанный шляпой фетровой,
окровавит гаснущая рама,
я скажу,
раздвинув басом ветра вой:
«Мама.
Если станет жалко мне
вазы вашей муки,
сбитой каблуками облачного танца,—
кто же изласкает золотые руки,
вывеской заломленные у витрин Аванцо?..»

[*1913*]

4

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБО МНЕ САМОМ

Я люблю смотреть, как умирают дети.
Вы прибоя смеха мглистый вал заметили
за тоски хоботом?
А я —
в читальне улиц —
так часто перелистывал грòба том.
Полночь
промокшими пальцами щупала
меня
и забитый забор,
и с каплями ливня на лысине купола
скакал сумасшедший собор.
Я вижу, Христос из иконы бежал,
хитона оветренный край
целовала, плача, слякоть.
Кричу кирпичу,
слов исступленных вонзаю кинжал
в неба распухшего мякоть:
«Солнце!
Отец мой!
Сжалься хоть ты и не мучай!
Это тобою пролитая кровь моя льется дорогою
дольней.
Это душа моя
клочьями порванной тучи
в выжженном небе
на ржавом кресте колокольни!

Время!
Хоть ты, хромой богомаз,
лик намалюй мой
в божницу уродца века!
Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека!»

[1913]

ИСЧЕРПЫВАЮЩАЯ КАРТИНА ВЕСНЫ

Листочки.
После строчек лис —
точки.

[1913]

ОТ УСТАЛОСТИ

Земля!
Дай исцелую твою лысеющую голову
лохмотьями губ моих в пятнах чужих позолот.
Дымом волос над пожарами глаз из олова
дай обовью я впалые груди болот.
Ты! Нас — двое,
ораненных, загнанных ланями,
вздыбилось ржанье оседланных смертью коней.
Дым из-за дома догонит нас длинными дланями,
мутью озлобив глаза догнивающих в ливнях огней.
Сестра моя!
В богадельнях идущих веков,
может быть, мать мне сыщется;
бросил я ей окровавленный песнями рог.
Квакая, скачет по полю
канава, зеленая сыщица,
нас заневолить
веревками грязных дорог.

[*1913*]

ЛЮБОВЬ

Девушка пугливо куталась в болото,
ширились зловеще лягушечьи мотивы,
в рельсах колебался рыжеватый кто-то,
и укорно в буклях проходили локомотивы.

В облачные па́ры сквозь солнечный угар
врезалось бешенство ветряно́й мазурки,
и вот я — озноенный июльский тротуар,
а женщина поцелуи бросает — окурки!

Бросьте города, глупые люди!
Идите голые лить на солнцепеке
пьяные вина в меха-груди,
дождь-поцелуи в угли-щеки.

[*1913*]

МЫ

Лезем земле под ресницами вылезших пальм
выколоть бельма пустынь,
на ссохшихся губах каналов —
дредноутов улыбки поймать.
Стынь, злоба!
На костер разожженных созвездий
взвесть не позволю мою одичавшую дряхлую мать.
Дорога — рог ада — пьяни грузовозов храпы!
Дымящиеся ноздри вулканов хмелем расширь!
Перья линяющих ангелов бросим любимым на шляпы,
будем хвосты на боа обрубать у комет, ковыляющих в ширь.

[*1913*]

ШУМИКИ, ШУМЫ И ШУМИЩИ

По эхам города проносят шумы
на шепоте подошв и на громах колес,
а люди и лошади — это только грумы,
следящие линии убегающих кос.

Проносят девоньки крохотные шумики.
Ящики гула пронесет грузовоз.
Рысак прошуршит в сетчатой ту́нике.
Трамвай расплещет перекаты гроз.

Все на площадь сквозь туннели пассажей
плывут каналами перекрещенных дум,
где мордой перекошенный, размалеванный сажей
на царство базаров коронован шум.

[*1913*]

АДИЩЕ ГОРОДА

Адище города окна разбили
на крохотные, сосущие светами адки.
Рыжие дьяволы, вздымались автомобили,
над самым ухом взрывая гудки.

А там, под вывеской, где сельди из Керчи —
сбитый старикашка шарил очки
и заплакал, когда в вечереющем смерче
трамвай с разбега взметнул зрачки.

В дырах небоскребов, где горела руда
и железо поездов громоздило лаз —
крикнул аэроплан и упал туда,
где у раненого солнца вытекал глаз.

И тогда уже — скомкав фонарей одеяла —
ночь излюбилась, похабна и пьяна,
а за солнцами улиц где-то ковыляла
никому не нужная, дряблая луна.

[*1913*]

НАТЕ!

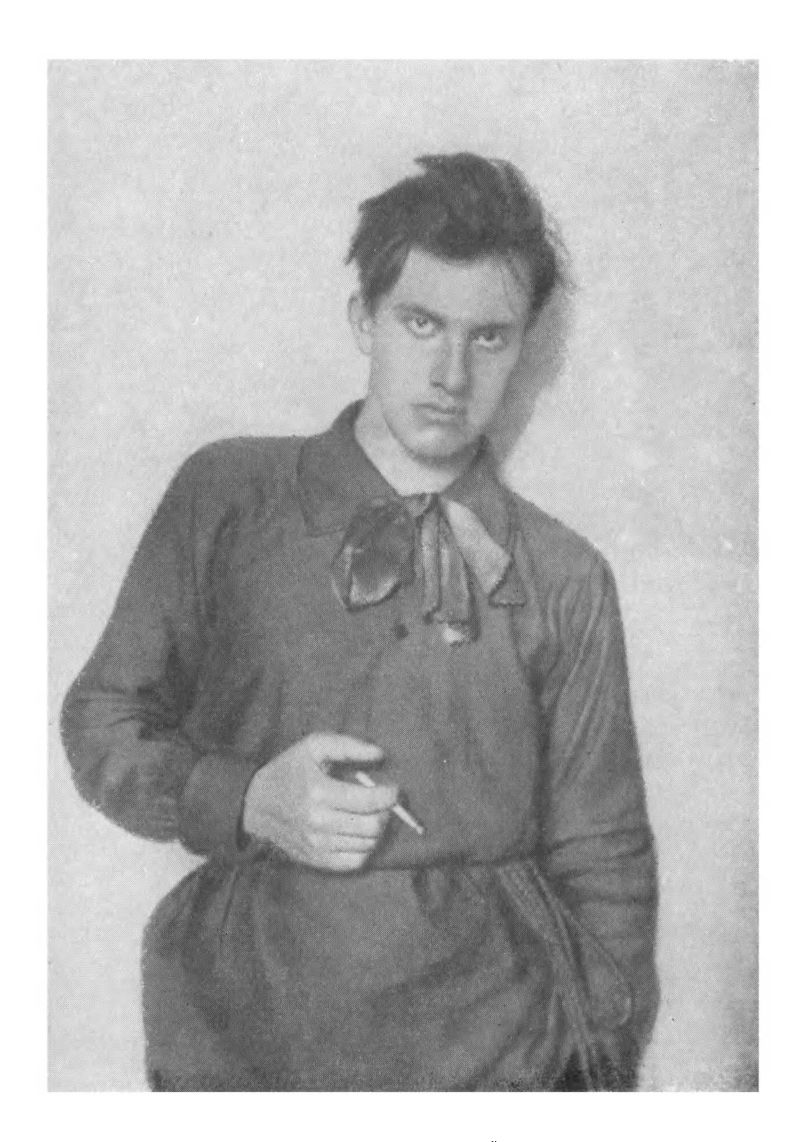
Через час отсюда в чистый переулок
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,
а я вам открыл столько стихов шкатулок,
я — бесценных слов мот и транжир.

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста
где-то недокушанных, недоеденных щей;
вот вы, женщина, на вас белила густо,
вы смотрите устрицей из раковин вещей.

Все вы на бабочку поэтиного сердца
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.
Толпа озвереет, будет тереться,
ощетинит ножки стоглавая вошь.

А если сегодня мне, грубому гунну,
кривляться перед вами не захочется — и вот
я захохочу и радостно плюну,
плюну в лицо вам
я — бесценных слов транжир и мот.

[*1913*]



В. МАЯКОВСКИЙ

Фото 1910 г.

НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ

Вошел к парикмахеру, сказал — спокойный:
«Будьте добры́, причешите мне уши».
Гладкий парикмахер сразу стал хвойный,
лицо вытянулось, как у груши.
«Сумасшедший!
Рыжий!» —
запрыгали слова.
Ругань металась от писка до писка,
и до-о-о-о-лго
хихикала чья-то голова,
выдергиваясь из толпы, как старая редиска.

[*1913*]

В АВТО

«Какая очаровательная ночь!»
«Эта,
(указывает на девушку),
что была вчера,
та?»
Выговорили на тротуаре
«поч-
перекинулось на шины
та».
Город вывернулся вдруг.
Пьяный на шляпы полез.
Вывески разинули испуг.
Выплевывали
то «О»,
то «S».
А на горе,
где плакало темно
и город
робкий прилез,
поверилось:
обрюзгло «О»
и гадко покорное «S».

[1913]

КОФТА ФАТА

Я сошью себе черные штаны
из бархата голоса моего.
Желтую кофту из трех аршин заката.
По Невскому мира, по лощеным полосам его,
профланирую шагом Дон-Жуана и фата.

Пусть земля кричит, в покое обабившись:
«Ты зеленые весны идешь насиловать!»
Я брошу солнцу, нагло осклабившись:
«На глади асфальта мне хорошо грассировать!»

Не потому ли, что небо голубо́,
а земля мне любовница в этой праздничной чистке,
я дарю вам стихи, веселые, как би-ба-бо,
и острые и нужные, как зубочистки!

Женщины, любящие мое мясо, и эта
девушка, смотрящая на меня, как на брата,
закидайте улыбками меня, поэта,—
я цветами нашью их мне на кофту фата!

[*1914*]

ПОСЛУШАЙТЕ!

Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
Значит — кто-то называет эти плевóчки
жемчужиной?
И, надрываясь
в метелях полу́денной пыли,
врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит —
чтоб обязательно была звезда! —
клянется —
не перенесет эту беззвездную му́ку!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»
Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?

Значит — это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

[*1914*]

А ВСЕ-ТАКИ

Улица провалилась, как нос сифилитика.
Река — сладострастье, растекшееся в слюни.
Отбросив белье до последнего листика,
сады похабно развалились в июне.

Я вышел на площадь,
выжженный квартал
надел на голову, как рыжий парик.
Людям страшно — у меня изо рта
шевелит ногами непрожеванный крик.

Но меня не осудят, но меня не облают,
как пророку, цветами устелят мне след.
Все эти, провалившиеся носами, знают:
я — ваш поэт.

Как трактир, мне страшен ваш страшный суд!
Меня одного сквозь горящие здания
проститутки, как святыню, на руках понесут
и покажут богу в свое оправдание.

И бог заплачет над моею книжкой!
Не слова — судороги, слипшиеся комом;
и побежит по небу с моими стихами подмышкой
и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым.

[1914]

ЕЩЕ ПЕТЕРБУРГ

В ушах обрывки теплого бала,
а с севера — снега седей —
туман, с кровожадным лицом каннибала,
жевал невкусных людей.

Часы нависали, как грубая брань,
за пятым навис шестой.
А с неба смотрела какая-то дрянь
величественно, как Лев Толстой.

[*1914*]

ВОЙНА ОБЪЯВЛЕНА

«Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю!
Италия! Германия! Австрия!»
И на площадь, мрачно очерченную черныю,
багровой крови пролилáсь струя!

Морду в кровь разбила кофейня,
зверьим криком багрима:
«Отравим кровью игры Рейна!
Громáми ядер на мрамор Рима!»

С неба, изодранного о штыков жала,
слёзы звезд просеивались, как мукá в сите,
и подошвами сжатая жалость визжала:
«Ах, пустите, пустите, пустите!»

Бронзовые генералы на граненом цоколе
молили: «Раскуйте, и мы поедем!»
Прощающейся конницы поцелуи цокали,
и пехоте хотелось к убийце — победе.

Громоздящемуся городу урóдился во сне
хохочущий голос пушечного баса,
а с запада падает красный снег
сочными клочьями человечьего мяса.

Вздувается у площади за ротой рота,
у злящейся на лбу вздуваются вены.
«Постойте, шашки о шелк кокоток
вытрем, вытрем в бульварах Вены!»

Газетчики надрывались: «Купите вечернюю!
Италия! Германия! Австрия!»
А из ночи, мрачно очерченной черныо,
багровой крови лила́сь и лила́сь струя.

20 июля 1914 г.

МАМА И УБИТЫЙ НЕМЦАМИ ВЕЧЕР

По черным улицам белые матери
судорожно простерлись, как по гробу глазет.
Вплакались в орущих о побитом неприятеле:
«Ах, закройте, закройте глаза газет!»

Письмо.

Мама, громче!
Дым.
Дым.
Дым еще!
Что вы мямлите, мама, мне?
Видите —
весь воздух вымощен
громыхающим под ядрами камнем!
Ма — а — а — ма!
Сейчас притащили израненный вечер.
Крепился долго,
кургузый,
шершавый,
и вдруг, —
надломивши тучные плечи,
расплакался, бедный, на шее Варшавы.
Звезды в платочках из синего ситца
визжали:
«Убит,
дорогой,
дорогой мой!»

И глаз новолуния страшно косится
на мертвый кулак с зажатой обоймой.
Сбежались смотреть литовские села,
как, поцелуем в обрубок вкована,
слезя золотые глаза костелов,
пальцы улиц ломала Ковна.
А вечер кричит,
безногий,
безрукий:
«Неправда,
я еще могу-с —
хе! —
выбряцав шпоры в горящей мазурке,
выкрутить русый ус!»

Звонок.

Что вы,
мама?
Белая, белая, как на гробе глазет.
«Оставьте!
О нем это,
об убитом, телеграмма.
Ах, закройте,
закройте глаза газет!»

[*1914*]

СКРИПКА И НЕМНОЖКО НЕРВНО

Скрипка издергалась, упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»
А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушел.
Оркестр чужо смотрел, как
выплакивалась скрипка
без слов,
без такта,
и только где-то
глупая тарелка
вылязгивала:
«Что это?»
«Как это?»
А когда геликон —
меднорожий,
потный,
крикнул:
«Дура,
плакса,
вытри!» —
я встал,
шатаясь полез через ноты,
сгибающиеся под ужасом пюпитры,

зачем-то крикнул:
«Боже!»,
Бросился на деревянную шею:
«Знаете что, скрипка?
Мы ужасно похожи:
я вот тоже
ору —
а доказать ничего не умею!»
Музыканты смеются:
«Влип как!
Пришел к деревянной невесте!
Голова!»
А мне — наплевать!
Я — хороший.
«Знаете что, скрипка?
Давайте —
будем жить вместе!
А?»

[*1914*]

МЫСЛИ В ПРИЗЫВ

Войне ли думать:
«Некрасиво в шраме»?
Ей ли жалеть
городов гиль?
Как хороший игрок,
раскидала шарами
смерть черепа
в лузы могил.

Горит материк.
Стра́ны — на нет.
Прилизанная
треплется мира челка.
Слышите?
Хорошо?
Почище кастаньет.
Это вам не на счетах щелкать.

А мне не жалко.
Лица не выгрущу.
Пусть
из нежного
делают казака́.
Посланный
на выучку новому игрищу,
вернется
облеченный в новый закал.

Была душа поэтами рыта.
Сияющий говорит о любом.
Сердце —
с длинноволосыми открыток
благороднейший альбом.

А теперь
попробуй.
Сунь ему «Анатэм».
В норах мистики вели ему мышиться.
Теперь
у него
душа канатом,
и хоть гвоздь вбивай ей —
каждая мышца.

Ему ли
ныть
в квартирной яме?
А такая
нравится манера вам:
нежность
из памяти
вырвать с корнями,
гòловы скрутить орущим нервам.

Туда!
В мировую кузню,
в ремонт.
Вернетесь.
О новой поведаю Спарте я.
А слабым
смерть,
маркер времен,
ори:
«Партия!»

[1914]

Я И НАПОЛЕОН

Я живу на Большой Пресне,
36, 24.
Место спокойненькое.
Тихонькое.
Ну?
Кажется — какое мне дело,
что где-то
в буре-мире
взяли и выдумали войну?

Ночь пришла.
Хорошая.
Вкрадчивая.
И чего это барышни некоторые
дрожат, пугливо поворачивая
глаза громадные, как прожекторы?
Уличные толпы к небесной влаге
припали горящими устами,
а город, вытрепав ручонки-флаги,
молится и молится красными крестами.
Простоволосая церковка бульварному
изголовью
припала, — набитый слезами куль,—
а у бульвара цветники истекают кровью,
как сердце, изодранное пальцами пуль.
Тревога жиреет и жиреет,
жрет зачерствевший разум.
Уже у Ноева оранжереи
покрылись смертельно-бледным газом!

Скажите Москве —
пускай удержится!
Не надо!
Пусть не трясется!
Через секунду
встречу я
неб самодержца, —
возьму и убью солнце!
Видите!
Флаги по небу полощет.
Вот он!
Жирен и рыж.
Красным копытом грохнув о площадь,
въезжает по трупам крыш!

Тебе,
орущему:
«Разрушу,
разрушу!»,
вырезавшему ночь из окровавленных карнизов,
я,
сохранивший бесстрашную душу,
бросаю вызов!

Идите, изъеденные бессонницей,
сложите в костер лица!
Все равно!
Это нам последнее солнце —
солнце Аустерлица!

Идите, сумасшедшие, из России, Польши.
Сегодня я — Наполеон!
Я полководец и больше.
Сравните:
я и — он!

Он раз чуме приблизился троном,
смелостью смерть поправ, —
я каждый день иду к зачумленным
по тысячам русских Яфф!

Он раз, не дрогнув, стал под пули
и славится столетий сто, —
а я прошел в одном лишь июле
тысячу Аркольских мостов!
Мой крик в граните времени выбит,
и будет греметь и гремит,
оттого, что
в сердце, выжженном, как Египет,
есть тысяча тысяч пирамид!

За мной, изъеденные бессонницей!
Выше!
В костер лица!
Здравствуй,
мое предсмертное солнце,
солнце Аустерлица!

Люди!
Будет!
На солнце!
Прямо!
Солнце съежится аж!
Громче из сжатого горла храма
хрипи, похоронный марш!
Люди!
Когда канонизируете имена
погибших,
меня известней, —
помните:
еще одного убила война —
поэта с Большой Пресни!

1915

ВАМ!

Вам, проживающим за оргией оргию,
имеющим ванную и теплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных к Георгию
вычитывать из столбцов газет?!

Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие, нажраться лучше как, —
может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова поручика?..

Если б он, приведенный на убой,
вдруг увидел, израненный,
как вы измазанной в котлете губой
похотливо напеваете Северянина!

Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре блядям буду
подавать ананасную воду!

[*1915*]

ГИМН СУДЬЕ

По Красному морю плывут каторжане,
трудом выгребая галеру,
рыком покрыв кандальное ржанье,
орут о родине Перу.

О рае Перу орут перуанцы,
где птицы, танцы, бабы
и где над венцами цветов померанца
были до небес баобабы.

Банан, ананасы! Радостей груда!
Вино в запечатанной посуде...
Но вот неизвестно зачем и откуда
на Перу наперли судьи!

И птиц, и танцы, и их перуанок
кругом обложили статьями.
Глаза у судьи — пара жестянок
мерцает в помойной яме.

Попал павлин оранжево-синий
под глаз его строгий, как пост, —
и вылинял моментально павлиний
великолепный хвост!

А возле Перу летали по прерии
птички такие — колибри;
судья поймал и пух и перья
бедной колибри выбрил.

И нет ни в одной долине ныне
гор, вулканом горящих.
Судья написал на каждой долине:
«Долина для некурящих».

В бедном Перу стихи мои даже
в запрете под страхом пыток.
Судья сказал: «Те, что в продаже,
тоже спиртной напиток».

Экватор дрожит от кандальных звонов.
А в Перу бесптичье, безлюдье...
Лишь, злобно забившись под своды законов,
живут унылые судьи.

А знаете, все-таки жаль перуанца.
Зря ему дали галеру.
Судьи мешают и птице, и танцу,
и мне, и вам, и Перу.

[*1915*]

ГИМН УЧЕНОМУ

Народонаселение всей империи —
люди, птицы, сороконожки,
ощетинив щетину, выперев перья,
с отчаянным любопытством висят на окошке.

И солнце интересуется, и апрель еще,
даже заинтересовало трубочиста черного
удивительное, необыкновенное зрелище —
фигура знаменитого ученого.

Смотрят: и ни одного человеческого качества.
Не человек, а двуногое бессилие,
с головой, откусанной начисто
трактатом «О бородавках в Бразилии».

Вгрызлись в букву едящие глаза, —
ах, как букву жалко!
Так, должно быть, жевал вымирающий ихтиозавр
случайно попавшую в челюсти фиалку.

Искривился позвоночник, как оглоблей ударенный,
но ученому ли думать о пустяковом изъяне?
Он знает отлично написанное у Дарвина,
что мы — лишь потомки обезьяньи.

Просочится солнце в крохотную щелку,
как маленькая гноящаяся ранка,
и спрячется на пыльную полку,
где громоздится на банке банка.

Сердце девушки, вываренное в иоде.
Окаменелый обломок позапрошлого лета.
И еще на булавке что-то вроде
засушенного хвоста небольшой кометы.

Сидит все ночи. Солнце из-за домишки
опять осклабилось на людские безобразия,
и внизу по тротуарам опять приготовишки
деятельно ходят в гимназии.

Проходят красноухие, а ему не нудно,
что растет человек глуп и покорен;
ведь зато он может ежесекундно
извлекать квадратный корень.

[*1915*]

ВОЕННО-МОРСКАЯ ЛЮБОВЬ

По морям, играя, носится
с миноносцем миноносица.

Льнет, как будто к меду осочка,
к миноносцу миноносочка.

И конца б не довелось ему,
благодушью миноносьему.

Вдруг прожектор, вздев на нос очки,
впился в спину миноносочки.

Как взревет медноголосина:
«Р-р-р-астакая миноносина!»

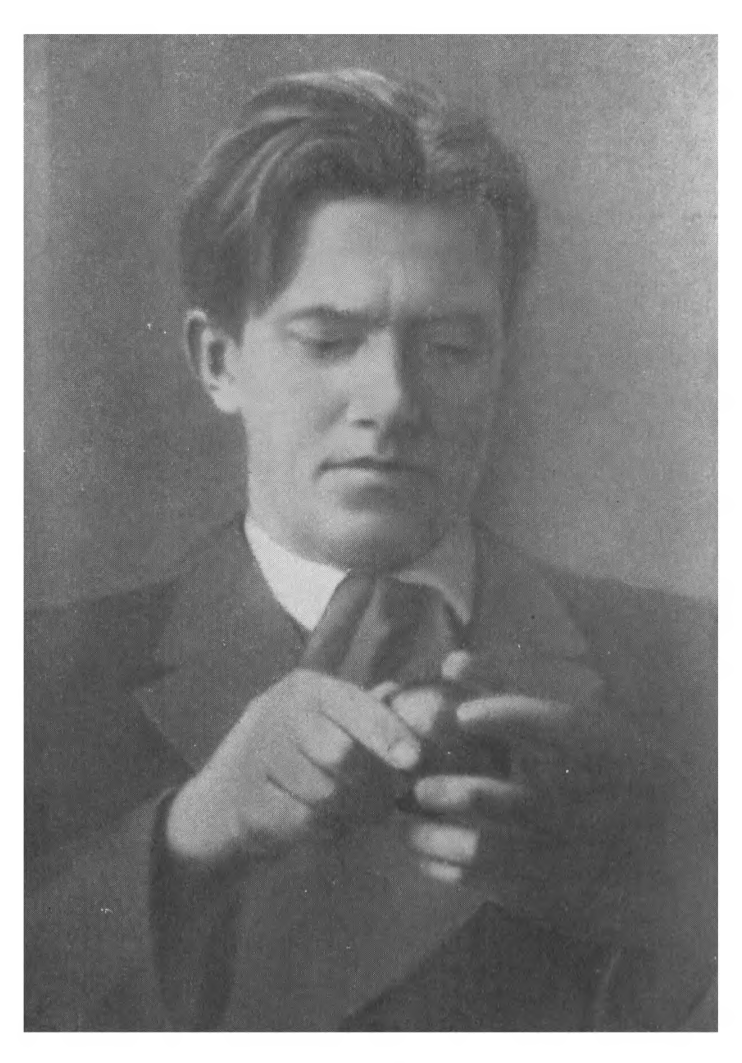
Прямо ль, влево ль, вправо ль бросится,
а сбежала миноносица.

Но ударить удалось ему
по ребру по миноносьему.

Плач и вой морями носится:
овдовела миноносица.

И чего это несносен нам
мир в семействе миноносином?

[1915]



В. МАЯКОВСКИЙ

Фото 1912 г.

ГИМН ЗДОРОВЬЮ

Среди тонконогих, жидких кровью,
трудом поворачивая шею бычью,
на сытый праздник тучному здоровью
людей из мяса я зычно кличу!

Чтоб бешеной пляской землю овить,
скучную, как банка консервов,
давайте весенних бабочек ловить
сетью ненужных нервов!

И по камням острым, как глаза ораторов,
красавцы-отцы здоровых томов,
потащим мордами умных психиатров
и бросим за решетки сумасшедших домов!

А сами сквозь город, иссохший как Онания,
с толпой фонарей желтолицых, как скопцы,
голодным самкам накормим желания,
поросшие шерстью красавцы-самцы!

[*1915*]

ГИМН КРИТИКУ

От страсти извозчика и разговорчивой прачки
невзрачный детеныш в результате вытек.
Мальчик — не мусор, не вывезешь на тачке.
Мать поплакала и назвала его: критик.

Отец, в разговорах вспоминая родословные,
любил поспорить о правах материнства.
Такое воспитание, светское и салонное,
оберегало мальчика от уклона в свинство.

Как роется дворником к кухарке сапа,
щебетала мамаша и кальсоны мыла;
от мамаши мальчик унаследовал запах
и способность вникать легко и без мыла.

Когда он вырос приблизительно с полено
и веснушки рассыпались, как рыжики на блюде,
его изящным ударом колена
провели на улицу, чтобы вышел в люди.

Много ль человеку нужно? — Клочок —
небольшие штаны и что-нибудь из хлеба.
Он носом, хорошеньким, как построчный пятачок,
обнюхал приятное газетное небо.

И какой-то обладатель какого-то имени
нежнейший в двери услыхал стук.
И скоро критик из имениного вымени
выдоил и брюки, и булку, и галстук.

Легко смотреть ему, обутому и одетому,
молодых искателей изысканные игры
и думать: хорошо — ну, хотя бы этому
потрогать зубенками шальные икры.

Но если просочится в газетной сети
о том, как велик был Пушкин или Дант,
кажется, будто разлагается в газете
громадный и жирный официант.

И когда вы, наконец, в столетний юбилей
продерете глазки в кадильной гари,
имя его первое, голубицы белей,
чисто засияет на поднесенном портсигаре.

Писатели, нас много. Собирайте миллион.
И богадельню критикам построим в Ницце.
Вы думаете — легко им наше белье
ежедневно прополаскивать в газетной странице!

[*1915*]

ГИМН ОБЕДУ

Слава вам, идущие обедать миллионы!
И уже успевшие наесться тысячи!
Выдумавшие каши, бифштексы, бульоны
и тысячи блюдищ всяческой пищи.

Если ударами ядр
тысячи Реймсов разбить удалось бы —
попрежнему будут ножки у пулярд,
и дышать попрежнему будет ростбиф!

Желудок в панаме! Тебя ль заразят
величием смерти для новой эры?!
Желудку ничем болеть нельзя,
кроме аппендицита и холеры!

Пусть в сале совсем потонут зрачки --
все равно их зря отец твой выделал;
на слепую кишку хоть наденъ очки,
кишка все равно ничего б не видела.

Ты так не хуже! Наоборот,
если б рот один, без глаз, без затылка —
сразу могла б поместиться в рот
целая фаршированная тыква.

Лежи спокойно, безглазый, безухий,
с куском пирога в руке,
а дети твои у тебя на брюхе
будут играть в крокет.

Спи, не тревожась картиной крови
и тем, что пожаром мир опоясан, —
молоком богаты силы коровьи,
и безмерно богатство бычьего мяса.

Если взрежется последняя шея бычья
и злак последний с камня серого,
ты, верный раб твоего обычая,
из звезд сфабрикуешь консервы.

А если умрешь от котлет и бульонов,
на памятнике прикажем высечь:
«Из стольких-то и стольких-то котлет миллионов —
твоих четыреста тысяч».

[*1915*]

ТЕПЛОЕ СЛОВО КОЕ-КАКИМ ПОРОКАМ

(ПОЧТИ ГИМН)

Ты, который трудишься, сапоги ли чистишь,
бухгалтер или бухгалтерова помощница,
ты, чье лицо от дел и тощищи
помятое и зеленое, как трешница.

Портной, например. Чего ты ради
эти брюки принес к примерке?
У тебя совершенно нету дядей,
а если есть, то небогатый, не мрет и не в Америке.

Говорю тебе я, начитанный и умный:
ни Пушкин, ни Щепкин, ни Врубель
ни строчке, ни позе, ни краске надуманной
не верили — а верили в рубль.

Живешь утюжить и ножницами раниться.
Уже сединою бороду пе́ревил,
а видел ты когда-нибудь, как померанец
растет себе и растет на дереве?

Потеете и трудитесь, трудитесь и потеете,
вытелятся и вытянутся какие-то дети,
мальчики — бухгалтеры, девочки — помощницы,
те и те
будут потеть, как потели эти.

А я вчера, не насилуемый никем,
просто,
снял в «железку» по шестой руке
три тысячи двести — со́ ста.

Ничего, если, приложивши палец ко рту,
зубоскалят, будто помог тем,
что у меня такой-то и такой-то туз
мягко помечен ногтем.

Игроческие очи из ночи
блестели, как два рубля,
я разгружал кого-то, как настойчивый рабочий
разгружает трюм корабля.

Слава тому, кто первый нашел,
как без труда и хитрости,
чистоплотно и хорошо
карманы ближнему вывернуть и вытрясти!

И когда говорят мне, что труд, и еще, и еще,
будто хрен натирают на заржавленной терке,
я ласково спрашиваю, взяв за плечо:
«А вы прикупаете к пятерке?»

[*1915*]

ВОТ ТАК Я СДЕЛАЛСЯ СОБАКОЙ

Ну, это совершенно невыносимо!
Весь как есть искусан злобой.
Злюсь не так, как могли бы вы:
как собака лицо луны гололобой —
взял бы
и все обвыл.

Нервы, должно быть...
Выйду,
погуляю.
И на улице не успокоился ни на ком я.
Какая-то прокричала про добрый вечер.
Надо ответить:
она — знакомая.
Хочу.
Чувствую —
не могу по-человечьи.

Что это за безобразие!
Сплю я, что ли?
Ощупал себя:
такой же, как был,
лицо такое же, к какому привык.
Тронул губу,
а у меня из-под губы —
клык.

Скорее закрыл лицо, как будто сморкаюсь.
Бросился к дому, шаги удвоив.

Бережно огибаю полицейский пост,
вдруг оглушительное:
«Городовой!
Хвост!»

Провел рукой и — остолбенел!
Этого-то,
всяких клыков почище,
я и не заметил в бешеном скаче:
у меня из-под пиджака
развеерился хвостище
и вьется сзади,
большой, собачий.

Что теперь?
Один заорал, толпу растя.
Второму прибавился третий, четвертый.
Смяли старушонку.
Она, крестясь, что-то кричала про черта.

И когда, ощетинив в лицо усища-веники,
толпа навалилась,
огромная,
злая,
я стал на четвереньки
и залаял:
Гав! гав! гав!

[*1915*]

КОЕ-ЧТО ПО ПОВОДУ ДИРИЖЕРА

В ресторане было от электричества рыжó.
Кресла облиты в дамскую мякоть.
Когда обиженный выбежал дирижер,
приказал музыкантам плакать.

И сразу тому, который в бороду
толстую семгу вкусно нес,
труба — изловчившись — в сытую морду
ударила горстью медных слез.

Еще не успел он, между икотами,
выпихнуть крик в золотую челюсть,
его избитые тромбонами и фаготами
смяли и скакали через.

Когда последний не дополз до двери,
умер щекою в соусе,
приказав музыкантам выть по-зверьи —
дирижер обезумел вовсе!

В самые зубы туше опóенной
втиснул трубу, как медный калач,
дул и слушал — раздутым удвоенный,
мечется в брюхе плач.

Когда наутро, от злобы не евший,
хозяин принес расчет,
дирижер на люстре уже посиневший
висел и синел еще.

[1915]

ПУСТЯК У ОКИ

Нежно говорил ей —
мы у реки
шли камышами:
«Слышите: шуршат камыши у Оки.
Будто наполнена Ока мышами.
А в небе, лучик сережкой вдев в ушко,
звезда, как вы, хорошая, — не звезда, а девушка...
А там, где кончается звездочки точка,
месяц улыбается и заверчен, как
будто на небе строчка
из Аверченко...
Вы прекрасно картавите.
Только жалко Италию...»
Она: «Ах, зачем вы давите
и локоть и талию.
Вы мне мешаете
у камыша идти...»

[*1915*]

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ НЕЛЕПОСТИ

Бросьте!
Конечно, это не смерть.
Чего ей ради ходить по крепости?
Как вам не стыдно верить
нелепости?!

Просто именинник устроил карнавал,
выдумал для шума стрельбу и тир,
а сам, по-жабьи присев на вал,
вымаргивается, как из мортир.
Ласков хозяина бас,
просто — похож на пушечный.
И не от газа маска,
а ради шутки игрушечной.
Смотрите!
Небо мерить
выбежала ракета.
Разве так красиво смерть
бежала б в небе паркета!
Ах, не говорите:
«Кровь из раны».
Это — дико!
Просто ѝзбранных из бранных
одаривали гвоздикой.
Как же иначе?
Мозг не хочет понять
и не может:
у пушечных шей

если не целоваться,
то — для чего же
обвиты руки траншей?
Никто не убит!
Просто — не выстоял.
Лег от Сены до Рейна.
Оттого что цветет,
одуряет желтолистая
на клумбах из убитых гангрена.
Не убиты,
нет же,
нет!
Все они встанут
просто —
вот так,
вернутся
и, улыбаясь, расскажут жене,
какой хозяин весельчак и чудак.
Скажут: не было ни ядр, ни фугасов
и, конечно же, не было крепости!
Просто именинник выдумал массу
каких-то великолепных нелепостей!

[*1915*]

ГИМН ВЗЯТКЕ

Пришли и славословим покорпенько
тебя, дорогая взятка,
все здесь, от младшего дворника
до того, кто в золото заткан.

Всех, кто за нашей десницей
посмеет с укором глаза̀ весть,
мы так, как им и не снится,
накажем мерзавцев за зависть.

Чтоб больше не смела вздыматься хула,
наденем мундиры и медали
и, выдвинув вперед убедительный кулак,
спросим: «А это видали?»

Если сверху смотреть — разинешь рот.
И взыграет от радости каждая мышца.
Россия — сверху — прямо огород,
вся наливается, цветет и пышится.

А разве видано где-нибудь, чтоб стояла коза
и лезть в огород козе лень?..
Было бы время, я б доказал,
которые — коза и зелень.

И нечего доказывать — идите и берите.
Умолкнет газетная нечисть ведь.
Как баранов, надо стричь и брить их.
Чего стесняться в своем отечестве?

[1915]

ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВЗЯТОЧНИКАМ

Неужели и о взятках писать поэтам!
Дорогие, нам некогда. Нельзя так.
Вы, которые взяточники,
хотя бы поэтому,
не надо, не берите взяток.
Я, выколачивающий из строчек штаны, —
конечно, как начинающий, не очень часто,
я — еще и российский гражданин,
беззаветно чтущий и чиновника и участок.
Прихожу и выплакиваю все мои просьбы,
приникши щекою к светлому кителю.
Думает чиновник: «Эх, удалось бы!
Этак на двести птичку вытелю».
Сколько раз под сень чинов ник,
приносил обиды им.
«Эх, удалось бы, — думает чиновник, —
этак на триста бабочку выдоим».
Я знаю, надо и двести и триста вам —
возьмут, все равно, не те, так эти;
и руганью ни одного не обижу пристава:
может быть, у пристава дети.
Но лишний труд — доить поодиночно,
вы и так ведете в работе года.
Вот что я выдумал для вас нарочно —
Господа!
Взломайте шкапы, сундуки и ларчики,
берите деньги и драгоценности мамашины,

чтоб последний мальчонка в потненьком кулачике
зажал сбереженный рубль бумажный.
Костюмы соберите. Чтоб не было рваных.
Мамаша! Вытряхивайтесь из шубы беличьей!
У старых брюк обшарьте карманы —
в карманах копеек на сорок мелочи.
Все это узлами уложим и свяжем,
а сами, без денег и платья,
придем, поклонимся и скажем:
Нате!
Что нам деньги, транжирам и мотам!
Мы даже не знаем, куда нам деть их.
Берите, милые, берите, чего там!
Вы наши отцы, а мы ваши дети.
От холода не попадая зубом на́ зуб,
станем голые под голые небеса.
Берите, милые! Но только сразу,
Чтоб об этом больше никогда не писать.

[*1915*]

ЧУДОВИЩНЫЕ ПОХОРОНЫ

Мрачные до черного вышли люди,
тяжко и чинно выстроились в городе,
будто сейчас набираться будет
хмурых монахов черный орден.

Траур воронов, выкаймленный под окна,
небо, в бурю крашеное, —
все было так подобрано и подогнано,
что волей-неволей ждалось страшное.

Тогда разверзлась, кряхтя и нехотя,
пыльного воздуха сухая охра,
вылез из воздуха и начал ехать
тихий катафалк чудовищных похорон.

Встревоженная о́жила глаз масса,
гору взоров в гроб бросили.
Вдруг из гроба прыснула гримаса,
после —

крик: «Хоронят умерший смех!» —
из тысячегрудого меха
гремел омиллионенный множеством эх
за гробом, который ехал.

И тотчас же отчаяннейшего плача ножи
врезались, заставив ничего не понимать.
Вот за гробом, в плаче, старуха-жизнь, —
усопшего смеха седая мать.

К кому же, к кому вернуться назад ей?
Смотрите: в лысине — тот —
это большой, носатый
плачет армянский анекдот.

Еще не забылось, как выкривил рот он,
а за ним ободранная, куцая,
визжа, бежала острота.
Куда — если умер — уткнуться ей?

Уже до неба плачей глыба.
Но еще,
еще откуда-то плачики —
это целые полчища улыбочек и улыбок
ломали в горе хрупкие пальчики.

И вот сквозь строй их, смокших в один
сплошной изрыдавшийся Гаршин,
вышел ужас — вперед пойти —
весь в похоронном марше.

Размокло лицо, стало — кашица,
смятая морщинками на выхмуренном лбу,
а если кто смеется — кажется,
что ему разодрали губу.

[1915]

МОЕ К ЭТОМУ ОТНОШЕНИЕ

(ГИМН ЕЩЕ ПОЧТЕЕ)

Май ли уже расцвел над городом,
плачет ли, как побитый, хмуренький декабрик, —
весь год эта пухлая морда
маячит в дымах фабрик.

Брюшком обвисшим и гаденьким
лежит на воздушном откосе,
и пухлые губы бантиком
сложены в 88.

Внизу суетятся рабочие,
нищий у тумбы виден,
а у этого брюхо и все прочее —
лежит себе сыт, как Сытин.

Вкусной слюны разли́лись волны,
во рту громадном плещутся, как в бухте,
А полный! Боже, до чего он полный!
Сравнить если с ним, то худ и Апухтин.

Кони ли, цокая, по асфальту мчатся,
шарканье пешеходов ли подвернется под взгляд ему,
а ему все кажется: «Цаца! Цаца!» —
кричат ему, и все ему нравится, проклятому.

Растет улыбка, жирна и нагла,
рот до ушей разросся,
будто у него на роже спектакль-гала́
затеяла труппа малороссов.

Солнце взойдет, и сейчас же луч его
ему щекочет пятки хо́леные,
и луна ничего не находит лучшего.
Объявляю всенародно: очень недоволен я.

Я спокоен, вежлив, сдержан тоже,
характер — как из кости слоновой то́чен,
а этому взял бы да и дал по роже:
не нравится он мне очень.

[*1915*]

ЭЙ!

Мокрая, будто ее облизали,
толпа.
Прокисший воздух плесенью веет.
Эй!
Россия,
нельзя ли
чего поновее?

Блажен, кто хоть раз смог,
хотя бы закрыв глаза,
забыть вас,
ненужных, как насморк,
и трезвых,
как нарзан.

Вы все такие скучные, точно
во всей вселенной нету Капри.
А Капри есть.
От сияний цветочных
весь остров, как женщина в розовом капоре.

Помчим поезда к берегам, а берег
забудем, качая тела в пароходах.
Наоткрываем десятки Америк.
В неведомых полюсах вынежим отдых.

Смотри какой ты ловкий,
а я —
вон у меня рука груба как.

Быть может, в турнирах,
быть может, в боях
я был бы самый искусный рубака.

Как весело, сделав удачный удар,
смотреть, растопырил ноги как.
И вот врага, где предки,
туда
отправила шпаги логика.

А после в огне раззолоченных зал,
забыв привычку спанья,
всю ночь напролет провести,
глаза
уткнув в желтоглазый коньяк.

И, наконец, ощетинясь, как еж,
с похмельем придя поутру,
неверной любимой грозить, что убьешь
и в море выбросишь труп.

Сорвем ерунду пиджаков и манжет,
крахмальные груди раскрасим под панцырь,
загнем рукоять на столовом ноже,
и будем все хоть на день, да испанцы.

Чтоб все, забыв свой северный ум,
любились, дрались, волновались.
Эй!
Человек,
землю саму
зови на вальс!

Возьми и небо заново вышей,
новые звезды придумай и выставь,
чтоб, исступленно царапая крыши,
в небо карабкались души артистов.

[*1916*]

КО ВСЕМУ

Нет.
Это неправда.
Нет!
И ты?
Любимая,
за что,
за что же?!
Хорошо —
я ходил,
я дарил цветы,
я ж из ящика не выкрал серебряных ложек!

Белый,
сшатался с пятого этажа.
Ветер щеки ожег.
Улица клубилась, визжа и ржа.
Похотливо взлазил рожок на рожок.

Вознес над суетой столичной одури
строгое —
древних икон —
чело.
На теле твоем — как на смертном о́дре —
сердце
дни
кончило.

В грубом убийстве не пачкала рук ты.
Ты
уронила только:

«В мягкой постели
он,
фрукты,
вино на ладони ночного столика».

Любовь!
Только в моем
воспаленном
мозгу была ты!
Глупой комедии остановите ход!
Смотри́те —
срываю игрушки-латы
я,
величайший Дон-Кихот!

Помните:
под ношей креста
Христос
секунду
усталый стал.
Толпа орала:
«Марала!
Мааарррааала!»

Правильно!
Каждого,
кто
об отдыхе взмолится,
оплюй в его весеннем дне!
Армии подвижников, обреченным добровольцам
от человека пощады нет!

Довольно!

Теперь —
клянусь моей языческой силою! —
дайте
любую
красивую,
юную, —

души не растрачу,
изнасилую
и в сердце насмешку плюну ей!

Око за око!

Севы мести в тысячу крат жни!
В каждое ухо ввой:
вся земля —
каторжник
с наполовину выбритой солнцем головой!

Око за око!

Убьете,
похороните —
выроюсь!
Об камень обточатся зубов ножи еще!
Собакой забьюсь под нары казарм!
Буду,
бешеный,
вгрызаться в ножища,
пахнущие пóтом и базаром.

Ночью вскóчите!
Я
звал!
Белым быком возрос над землей:
Муууу!
В ярмо замучена шея-язва,
над язвой смерчи мух.

Лосем обернусь,
в провода
впутаю голову ветвистую
с налитыми кровью глазами.
Да!
Затравленным зверем над миром выстою.

Не уйти человеку!
Молитва у рта, —
лег на плиты просящ и грязен он.

Я возьму
намалюю
на царские врата
на божьем лике Разина.

Солнце! Лучей не кинь!
Сохните, реки, жажду утолить не дав ему, —
чтоб тысячами рождались мои ученики
трубить с площадей анафему!

И когда,
наконец,
на веков верхи́ став,
последний выйдет день им, —
в черных душах убийц и анархистов
зажгусь кровавым видением!

Светает.
Все шире разверзается неба рот.
Ночь
пьет за глотком глоток он.
От окон зарево.
От окон жар течет.
От окон густое солнце льется на спящий город.

Святая месть моя!
Опять
над уличной пылью
ступенями строк ввысь поведи!
До края полное сердце
вылью
в исповеди!

Грядущие люди!
Кто вы?
Вот — я,
весь
боль и ушиб.
Вам завещаю я сад фруктовый
моей великой души.

[*1916*]

ЛИЛИЧКА!

ВМЕСТО ПИСЬМА

Дым табачный воздух выел.
Комната —
глава в крученыховском аде.
Вспомни —
за этим окном
впервые
руки твои, исступленный, гладил.
Сегодня сидишь вот,
сердце в железе.
День еще —
выгонишь,
может быть, изругав.
В мутной передней долго не влезет
сломанная дрожью рука в рукав.
Выбегу,
тело в улицу брошу я.
Дикий,
обезумлюсь,
отчаяньем иссечась.
Не надо этого,
дорогая,
хорошая,
дай простимся сейчас.
Все равно
любовь моя —
тяжкая гиря ведь —
висит на тебе,
куда ни бежала б.

Дай в последнем крике выреветь
горечь обиженных жалоб.
Если быка трудом умо́рят —
он уйдет,
разляжется в холодных водах.
Кроме любви твоей,
мне
нету моря,
а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых.
Захочет покоя уставший слон —
царственный ляжет в опожаренном песке.
Кроме любви твоей,
мне
нету солнца,
а я и не знаю, где ты и с кем.
Если б так поэта измучила,
он·
любимую на деньги б и славу выменял,
а мне
ни один не радостен звон,
кроме звона твоего любимого имени.
И в пролет не брошусь,
и не выпью яда,
и курок не смогу над виском нажать.
Надо мною,
кроме твоего взгляда,
не властно лезвие ни одного ножа.
Завтра забудешь,
что тебя короновал,
что душу цветущую любовью выжег,
и суетных дней взметенный карнавал
растреплет страницы моих книжек...
Слов моих сухие листья ли
заставят остановиться,
жадно дыша?

Дай хоть
последней нежностью выстелить
твой уходящий шаг.

26 мая 1916 г. Петроград

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА

Павлиньим хвостом распущу фантазию в пестром цикле,
душу во власть отдам рифм неожиданных рою.
Хочется вновь услыхать, как с газетных столбцов
зацыкали
те,
кто у дуба, кормящего их,
корни рылами роют.

[*1916*]

НИКЧЕМНОЕ САМОУТЕШЕНИЕ

Мало извозчиков?
Тешьтесь ложью.
Видана ль шутка площе чья!
Улицу врасплох огляните —
из рож ее
чья не извозчичья?

Поэт ли
поет о себе и о розе,
девушка ль
в локон выплетет ухо —
вижу тебя,
сошедший с козел
король трактиров,
ёрник и ухарь.

Если говорят мне:
— Помните,
Сидоров
помер? —
не забуду,
удивленный,
глазами смерить их.
О, кому же охота
помнить номер
нанятого тащиться от рождения к смерти?!

Все равно мне,
что они коней не по́ят,
что утром не начищивают дуг они —
с улиц,
с бесконечных козел
тупое
лицо их,
открытое лишь мордобою и ругани.

Дети,
вы еще
остались.
Ничего.
Подрастете.
Скоро
в жиденьком кулачонке зажмете кнутовище,
матерной руганью потрясая город.

Хожу меж извозчиков.
Шляпу на́ нос.
Торжественней, чем строчка державинских од.
День еще —
и один останусь
я,
медлительный и вдумчивый пешеход.

[1916]

НАДОЕЛО

Не высидел дома.
Анненский, Тютчев, Фет.
Опять,
тоскою к людям ведомый,
иду
в кинематографы, в трактиры, в кафе.

За столиком.
Сияние.
Надежда сияет сердцу глупому.
А если за неделю
так изменился россиянин,
что щеки сожгу огнями губ ему.

Осторожно поднимаю глаза,
роюсь в пиджачной куче.
«Назад,
наз-зад,
н а з а д!»
Страх орет из сердца.
Мечется по лицу, безнадежен и скучен.

Не слушаюсь.
Вижу,
вправо немножко,
неведомое ни на суше, ни в пучинах вод,
старательно работает над телячьей ножкой
загадочнейшее существо.

Глядишь и не знаешь: ест или не ест он.
Глядишь и не знаешь: дышит или не дышит он.
Два аршина безлицого розоватого теста:
хоть бы метка была в уголочке вышита.

Только колышутся спадающие на плечи
мягкие складки лоснящихся щек.
Сердце в исступлении,
рвет и мечет.
«Назад же!
Чего еще?»

Влево смотрю.
Рот разинул.
Обернулся к первому, и стало и́наче:
для увидевшего вторую образину
первый —
воскресший Леонардо да-Винчи.

Нет людей.
Понимаете
крик тысячедневных мук?
Душа не хочет немая идти,
а сказать кому?

Брошусь на землю,
камня корою
в кровь лицо изотру, слезами асфальт омывая.
Истомившимися по ласке губами тысячью поцелуев
покрою
умную морду трамвая.

В дом уйду.
Прилипну к обоям.
Где роза есть нежнее и чайнее?
Хочешь —
тебе
рябое
прочту «Простое как мычание»?

ДЛЯ ИСТОРИИ

Когда все расселятся в раю и в аду,
60 земля итогами подведена будет —
помните:
в 1916 году
из Петрограда исчезли красивые люди.

[1916]

ДЕШЕВАЯ РАСПРОДАЖА

Женщину ль опутываю в трогательный роман,
просто на прохожего гляжу ли —
каждый опасливо придерживает карман.
Смешные!
С нищих —
что с них сжулить?

Сколько лет пройдет, узнают пока —
кандидат на сажень городского морга —
я
бесконечно больше богат,
чем любой Пьерпоит Мо́рган.

Через столько-то, столько-то лет
— словом, не выживу —
с голода сдохну ль,
стану ль под пистолет —
меня,
сегодняшнего рыжего,
профессора́ разучат до последних иот,
как,
когда,
где явлен.
Будет
с кафедры лобастый идиот
что-то молоть о богодьяволе.

Скло́нится толпа,
лебезяща,
суетна.
Даже не узнаете —
я не я:
облысевшую голову разрисует она
в рога или в сияния.

Каждая курсистка,
прежде чем лечь,
она
не забудет над стихами моими замлеть.
Я — пессимист,
знаю —
вечно
будет курсистка жить на земле.

Слушайте ж:

все, чем владеет моя душа,
— а ее богатства пойдите смерьте ей! —
великолепие,
что в вечность украсит мой шаг,
и самое мое бессмертие,
которое, громыхая по всем векам,
коленопреклоненных соберет мировое вече, —
все это — хотите? —
сейчас отдам
за одно только слово
ласковое,
человечье.

Люди!

Пыля проспекты, топоча рожь,
идите со всего земного лона.
Сегодня
в Петрограде
на Надеждинской
ни за грош
продается драгоценнейшая корона.

За человечье слово —
не правда ли, дешево?
Пойди,
попробуй, —
как же,
найдешь его!

[*1916*]

МРАК

Склоняются долу солнцеподобные лики их.
И просто мрут,
и давятся,
и тонут.
Один за другим уходят великие,
за мастодонтом мастодонт...

Сегодня на Верхарна обиделись небеса.
Думает небо —
дай
зашибу его!
Господи,
кому теперь писать?
Неужели Шебуеву?

Впрочем —
пусть их пишут.
Не мне в них рыться.
Я с характером.
Вол сам.
От чтенья их
в сердце заводится мокрица
и мозг зарастает густейшим волосом.

И писать не буду.
Лучше
проверю,
не широка ль в «Селекте» средняя луза.

С Фадеем Абрамовичем сяду играть в око́.
Есть
у союзников французов
хорошая пословица:
«Довольно дураков».

Пусть писатели начинают.
Подожду.
Посмотрю,
какою дрянью заначиняют
чемоданы душ.

Вспомнит толпа о половом вопросе.
Дальше больше оскудеет ум ее.
Пойдут на лекцию Поссе:
«Финики и безумие».

Иззахолустничается.
Станет — Чита.
Футуризмом покажется театр Мосоло́вой.
Дома запрется —
по складам
будет читать
«Задушевное слово».

Мысль иссушится в мелкий порошок.
И когда
останется смерть одна лишь ей,
тогда...
Я знаю хорошо —
вот что будет дальше.

Ко мне,
уже разукрашенному в проседь,
придет она,
повиснет на шею плакучей ивою:
«Владимир Владимирович,
милый» —
попросит —
я сяду
и напишу что-нибудь
замечательно красивое.

[*1916*]

ЛУННАЯ НОЧЬ

ПЕЙЗАЖ

Будет луна.
Есть уже
немножко.
А вот и полная повисла в воздухе.
Это бог, должно быть,
дивной
серебряной ложкой
роется в звезд ухе́.

[*1916*]

СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ

Вбежал.
Запыхался победы гонец:
«Довольно.
К веселью!
К любви!
Грустящих к черту!
Уныньям конец!»
Какой сногсшибательней вид?
Цилиндр на затылок.
Штаны — пила.
Пальмерстон застегнут наглухо.
Глаза —
двум солнцам велю пылать
из глаз
неотразимо наглых.
Афиш подлиннее.
На выси эстрад.
О, сколько блестящего вздора вам!
Есть ли такой, кто орать не рад:
«Маяковский!
Браво!
Маяковский!
Здо-ро-воо!»
Мадам, на минуту!
Что ж, что стара?
Сегодня всем целоваться.
За мной!
Смотрите,

сие — ресторан.
Зал зацвел от оваций.
Лакеи, вин!
Чтобы все сорта.
Что рюмка?
Бочки гора.
Пока не увижу дно,
изо рта
не вырвать блестящий кран...
Домой — писать.
Пока в крови
вино
и мысль тонка.
Да так,
чтоб каждая палочка в «и»
просилась:
«Пусти в канкан!»
Теперь — на Невский.
Где-то
в ногах
толпа — трусящий заяц,
и только
по дамам прокатывается:
«Ах,
какой прекрасный мерзавец!»

[*1916*]

В. Я. БРЮСОВУ НА ПАМЯТЬ

«Брюсов выпустил окончание поэмы Пушкина «Египетские ночи». Альманах «Стремнины».

Разбоя след затерян прочно
во тьме египетских ночей.
Проверив рукопись
построчно,
гроши отсыпал казначей.
Бояться вам рожна какого?
Что
против — Пушкину иметь?
Его кулак
навек закован
в спокойную к обиде медь!

[1916]

ХВОИ

Не надо.
Не просите.
Не будет елки.
Как же
в лес
отпу́стите папу?
К нему
из-за леса
ядер осколки
протянут,
чтоб взять его,
хищную лапу.

Нельзя.
Сегодня
горящие блестки
не будут лежать
под елкой
в вате.
Там —
миллион смертоносных о́сок
ужалят,
а раненым ваты не хватит.

Нет.
Не зажгут.
Свечей не будет.
В море
железные чудища лазят.

А с этих чудищ
злые люди
ждут:
не блеснет ли у о́кон в глазе.

Не говорите.
Глупые речь заводят:
чтоб дед пришел,
чтоб игрушек ворох.
Деда нет.
Дед на заводе.
Завод?
Это тот, кто делает порох.

Не будет музыки.
Ру́ченек
где взять ему?
Не сядет, играя.
Ваш брат
теперь,
безрукий мученик,
идет, сияющий, в воротах рая.

Не плачьте.
Зачем?
Не хмурьте личек.
Не будет —
что же с того!
Скоро
все, в радостном кличе
голоса сплетая,
встретят новое Рождество.

Елка будет.
Да какая —
не обхватишь ствол.
Навесят на елку сиянья разного.
Будет стоять сплошное Рождество.
Так что
даже —
надоест его праздновать.

[*1916*]

СЕБЕ, ЛЮБИМОМУ, ПОСВЯЩАЕТ ЭТИ СТРОКИ АВТОР

Четыре.
Тяжелые, как удар.
«Кесарево кесарю — богу богово».
А такому,
как я,
ткнуться куда?
Где для меня уготовано логово?

Если б был я
маленький,
как Великий океан, —
на цыпочки б волн встал,
приливом ласкался к луне бы.
Где любимую найти мне,
такую, как и я?
Такая не уместилась бы в крохотное небо!

О, если б я нищ был!
Как миллиардер!
Что деньги душе?
Ненасытный вор в ней.
Моих желаний разнузданной орде
не хватит золота всех Калифорний.

Если б быть мне косноязычным,
как Дант
или Петрарка!

Душу к одной зажечь!
Стихами велеть истлеть ей!
И слова
и любовь моя —
триумфальная арка:
пышно,
бесследно пройдут сквозь нее
любовницы всех столетий.

О, если б был я
тихий,
как гром, —
ныл бы,
дрожью объял бы земли одряхлевший скит.
Я
если всей его мощью
выреву голос огромный —
кометы заломят горящие руки,
бросятся вниз с тоски.

Я бы глаз лучами грыз ночи —
о, если б был я
тусклый,
как солнце!
Очень мне надо -
сияньем моим поить
земли отощавшее лонце!

Пройду,
любовищу мою волоча.
В какой ночи́,
бредово́й,
недужной,
какими Голиафами я зача́т —
такой большой
и такой ненужный?

[*1916*]

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ СКАЗКА

Стоит император Петр Великий,
думает:
«Запирую на просторе я!» —
а рядом
под пьяные клики
строится гостиница «Астория».

Сияет гостиница,
за обедом обед она
дает.
Завистью с гранита снят,
слез император.
Трое медных
слазят
тихо,
чтоб не спугнуть Сенат.

Прохожие стремились войти и выйти.
Швейцар в поклоне не уменьшил рост.
Кто-то
рассеянный
бросил:
«Извините»,
наступив нечаянно на змеин хвост.

Император,
лошадь и змей
неловко

по карточке
спросили гренадин.
Шума язык не смолк, немея.
Из пивших и евших не обернулся ни одии.

И только
когда
над пачкой соломинок
в коне заговорила привычка древняя,
толпа сорва́лась, криком сломана:
— Жует!
Не знает, зачем они.
Деревня!

Стыдом овихрены шаги коня.
Выбелена грива от уличного газа.
Обратно
по Набережной
гонит гиканье
последнюю из петербургских сказок.

И вновь император
стоит без скипетра.
Змей.
Унынье у лошади на морде.
И никто не поймет тоски Петра —
узника,
закованного в собственном городе.

[*1916*]

РОССИИ

Вот иду я,
заморский страус,
в перьях строф, размеров и рифм.
Спрятать голову, глупый, стараюсь,
в оперенье звенящее врыв.

Я не твой, снеговая уродина.
Глубже
в перья, душа, уложись!
И иная окажется родина,
вижу —
выжжена южная жизнь.

Остров зноя.
В пальмы овазился.
«Эй,
дорогу!»
Выдумку мнут.
И опять
до другого оазиса
вью следы песками минут.

Иные жмутся —
уйти б,
не кусается ль? —
Иные изогнуты в низкую лесть.

«Мама,
а мама,
несет он яица?» —
«Не знаю, душечка.
Должен бы несть».

Ржут этажия.
Улицы пялятся.
Обдают водой холода́.
Весь истыканный в дымы и в пальцы,
переваливаю года.
Что ж, бери меня хваткой мёрзкой!
Бритвой ветра перья обрей.
Пусть исчезну,
чужой и заморский,
под неистовства всех декабрей.

[*1916*]

БРАТЬЯ ПИСАТЕЛИ

Очевидно, не привыкну
сидеть в «Бристоле»,
пить чай,
построчно врать я,—
опрокину стаканы,
взлезу на столик.
Слушайте,
литературная братия!

Сидите,
глазенки в чаишко канув.
Вытерся от строчения локоть плюшевый.
Подымите глаза от недопитых стаканов.
От косм освободите уши вы.

Вас,
прилипших
к стене,
к обоям,
милые,
что вас со словом свело?
А знаете,
если не писал,
разбоем
занимался Франсуа Виллон.

Вам,
берущим с опаской

и перочинные ножи,
красота великолепнейшего века вверена вам!
Из чего писать вам?
Сегодня
жизнь
в сто крат интересней
у любого помощника присяжного поверенного.

Господа поэты,
неужели не наскучили
пажи,
дворцы,
любовь,
сирени куст вам?
Если
такие, как вы,
творцы —
мне наплевать на всякое искусство.

Лучше лавочку открою.
Пойду на биржу.
Тугими бумажниками растопырю бока.
Пьяной песней
душу выржу
в кабинете кабака.

Под копны волос проникнет ли удар?
Мысль
одна под волосища вложена:
«Причесываться? Зачем же?!
На время не стоит труда,
а вечно
причесанным быть
невозможно».

[1917]

РЕВОЛЮЦИЯ

ПОЭТОХРОНИКА

26 февраля. Пьяные, смешанные с полицией, солдаты стреляли в народ.

27-е.

Разли́лся по блескам дул и лезвий
рассвет.
Рдел багрян и до́лог.
В промозглой казарме
суровый
трезвый
молился Волынский полк.

Жестоким
солдатским богом божились
роты,
бились об пол головой многолобой.
Кровь разжигалась, висками жилясь.
Руки в железо сжимались злобой.

Первому же,
приказавшему —
    «Стрелять за голод!» —
    заткнули пулей орущий рот.
    Чье-то — «Смирно!»
    Не кончил.

Заколот.
Вырвалась городу буря рот.

9 часов.

На своем постоянном месте
в Военной автомобильной школе
стоим,
зажатые казарм оградою.
Рассвет растет,
сомненьем колет,
предчувствием страша и радуя.

Окну!
Вижу —
оттуда,
где режется небо
дворцов иззубленной линией,
взлетел,
простерся орел самодержца,
черней, чем раньше,
злей,
орлинее.

Сразу —
люди,
лошади,
фонари,
дома
и моя казарма
толпами
пó сто
ринулись на улицу.
Шагами ломаемая, звенит мостовая.
Уши крушит невероятная поступь.

И вот неведомо,
из пенья толпы ль,
из рвущейся меди ли труб гвардейцев
нерукотворный,

сияньем пробивая пыль,
образ возрос.
Горит.
Рдеется.

Шире и шире крыл окружие.
Хлеба нужней,
воды изжажданней,
вот она:
«Граждане, за ружья!
К оружию, граждане!»

На крыльях флагов
стоглавой лавою
из горла города ввысь взлетела.
Штыков зубами вгрызлась в двуглавое
орла императорского черное тело.

Граждане!
Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде».
Сегодня пересматривается миров основа.
Сегодня
до последней пуговицы в одежде
жизнь переделаем снова.

Граждане!
Это первый день рабочего потопа.
Идем
запутавшемуся миру на выручу!
Пусть толпы в небо вбивают топот!
Пусть флоты ярость сиренами вырычут!

Горе двуглавому!
Пенится пенье.
Пьянит толпу.
Площади плещут.
На крохотном форде
мчим,
обгоняя погони пуль.
Взрывом гудков продираемся в городе.

Страница записной книжки Маяковского *(1916—1917 гг.)* с записью стихотворения «Революция Поэтохроника»

В тумане.
Улиц река дымит.
Как в бурю дюжина груженых барж,
над баррикадами
плывет, громыхая, марсельский марш.

Первого дня огневое ядро
жужжа скатилось за купол Думы.
Нового утра новую дрожь
встречаем у новых сомнений в бреду мы.

Что будет?
Их ли из окон выломим,
или на нарах
ждать,
чтоб снова
Россию
могилами
выгорбил монарх?!

Душу глушу об выстрел резкий.
Дальше,
в шинели орыт.
Рассыпав дома в пулеметном треске,
город грохочет.
Город горит.

Везде языки.
Взовьются и лягут.
Вновь взвиваются, искры рассея.
Это улицы,
взяв по красному флагу,
призывом зарев зовут Россию.

Еще!
О, еще!
О, ярче учи, красноязыкий оратор!
Зажми и солнца
и лун лучи
мстящими пальцами тысячерукого Марата!

Смерть двуглавому!
Каторгам в двери
ломись,
когтями ржавые выев.
Пучками черных орлиных перьев
подбитые падают городовые.

Сдается столицы горящий остов.
По чердакам раскинули поиск.
Минута близко.
На Троицкий мост
вступают толпы войск.

Скрип содрогает устои и скрепы.
Стиснулись.
Бьемся.
Секунда! —
и в лак
заката
с фортов Петропавловской крепости
взвился огнем революции флаг.

Смерть двуглавому!
Шеищи глав
рубите наотмашь!
Чтоб больше не о́жил.
Вот он!
Падает!
В последнего из-за угла! — вцепился.
«Боже,
четыре тысячи в лоно твое прими!»

Довольно!
Радость трубите всеми голосами!
Нам
до бога
дело какое?
Сами
со святыми своих упокоим.

Что ж не поете?
Или
души задушены Сибирей саваном?

Мы победили!
Слава нам!
Сла-а-ав-в-ва нам!

Пока на оружии рук не разжали,
повелевается воля иная.
Новые несем земле скрижали
с нашего серого Синая.

Нам,
Поселянам Земли,
каждый Земли Поселянин родной.
Все
по станкам,
по конторам,
по шахтам братья.
Мы все
на земле
солдаты одной,
жизнь созидающей рати.

Пробеги планет,
держав бытие
подвластны нашим волям.
Наша земля.
Воздух — наш.
Наши звезд алмазные копи.
И мы никогда,
никогда!
никому,
никому не позволим!
землю нашу ядрами рвать,
воздух наш раздирать остриями отточенных копий.

Чья злоба на̀двое землю сломала?
Кто вздыбил дымы над заревом боен?
Или солнца
одного
на всех мало?!
Или небо над нами мало голубое?!

Последние пушки грохочут в кровавых спорах,
последний штык заводы гранят.
Мы всех заставим рассыпать порох.
Мы детям раздарим мячи гранат.

Не трусость вопит под шинелью серою,
не крики тех, кому есть нечего;
это народа огромного громо́вое:
— Верую
величию сердца человечьего! —

Это над взбитой битвами пылью,
над всеми, кто грызся, в любви изверясь,
днесь
небывалой сбывается былью
социалистов великая ересь!

17 апреля 1917 года, Петроград

ПОДПИСИ К ПЛАКАТАМ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПАРУС»

ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ ПОСЛЕДНЕГО

«Радуйся, Саша!
Теперь водка наша».

«Как же, знаю, Коля, я:
теперь монополия».

ЗАБЫВЧИВЫЙ НИКОЛАЙ

«Уж сгною, скручу их уж я!» —
думал царь, раздавши ружья.
Да забыл он, между прочим,
что солдат рожден рабочим.

[*1917*]

СКАЗКА О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ

Жил да был на свете кадет.
В красную шапочку кадет был одет.

Кроме этой шапочки, доставшейся кадету,
ни черта́ в нем красного не было и нету.

Услышит кадет — революция где-то,
шапочка сейчас же на голове кадета.

Жили припеваючи за кадетом кадет,
и отец кадета и кадетов дед.

Поднялся однажды пребольшущий ветер,
в клочья шапчонку изорвал на кадете.

И остался он черный. А видевшие это
волки революции сцапали кадета.

Известно, какая у волков диета.
Вместе с манжетами сожрали кадета.

Когда будете делать политику, дети,
не забудьте сказочку об этом кадете.

[1917]

К ОТВЕТУ!

Гремит и гремит войны барабан.
Зовет железо в живых втыкать.
Из каждой страны
за рабом раба
бросают на сталь штыка.
За что?
Дрожит земля
голодна,
раздета.
Выпарили человечество кровавой баней
только для того,
чтоб кто-то
где-то
разжи́лся Албанией.
Сцепилась злость человечьих свор,
падает на мир за ударом удар
только для того,
чтоб бесплатно
Босфор
проходили чьи-то суда.
Скоро
у мира
не останется неполоманного ребра.
И душу вытащат.
И растопчут та́м ее
только для того,
чтоб кто-то
к рукам прибрал

Месопотамию.
Во имя чего
сапог
землю растаптывает скрипящ и груб?
Кто над небом боев —
свобода?
бог?
Рубль!
Когда же встанешь во весь свой рост
ты,
отдающий жизнь свою им?
Когда же в лицо им бросишь вопрос:
за что воюем?

[*1917*]

Нетрудно, ландышами дыша,
писать стихи на загородной дачке.
А мы не такие.
Мы вместо карандаша
взяли в руки
по новенькой тачке.
Господин министр,
прикажите подать!
Кадет, пожалте, садитесь, нате.
В очередь!
В очередь!
Не толпитесь, господа.
Всех прокатим.

Всем останется — и союзникам и врагам.
Сначала большие, потом мелкота.
Всех по России
сквозь смех и гам
будем катать.

Испуганно смотрит
невский аристократ.
Зато и Нарвская,
и Выборгская,
и Охта
стократ
раскатят взрыв задорного хохота.

Ищите, не завалялась ли какая тварь еще?
Чтоб не было никому потачки.
Время не ждет,
спешите, товарищи!
Каждый берите по тачке!

[*1917*]

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ БАСНЯ

Петух однажды,
дог
и вор
такой скрепили договор:
дог
соберет из догов свору,
накрасть предоставлялось вору,
а петуху
про гром побед
орать,
и будет всем обед.
Но это все раскрылось скоро.
Прогнали
с трона
в шею
вора.

Навертывается мораль:
туда же
догу
не пора ль?

[*1917*]

Ешь ананасы, рябчиков жуй,
День твой последний приходит, буржуй.

[*1917*]

ТРАГЕДИЯ, ПОЭМЫ
(1913—1917)

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

ТРАГЕДИЯ

Пролог.

Два действия.

Эпилог.

ДЕЙСТВУЮТ:

Владимир Маяковский (поэт 20—25 лет).
Его знакомая (сажени 2—3. Не разговаривает).
Старик с черными сухими кошками (несколько тысяч лет).
Человек без глаза и ноги.
Человек без уха.
Человек без головы.
Человек с растянутым лицом.
Человек с двумя поцелуями.
Обыкновенный молодой человек.
Женщина со слезинкой.
Женщина со слезой.
Женщина со слезищей.
Газетчики, мальчики, девочки и др.

ПРОЛОГ

В. Маяковский

Вам ли понять,
почему я,
спокойный,
насмешек грозою
душу на блюде несу
к обеду идущих лет.
С небритой щеки площадей
стекая ненужной слезою,
я,
быть может,
последний поэт.
Замечали вы —
качается
в каменных аллеях
полосатое лицо повешенной скуки,
а у мчащихся рек
на взмыленных шеях
мосты заломили железные руки.
Небо плачет
безудержно,
звонко;
а у облачка
гримаска на морщинке ротика,
как будто женщина ждала ребенка,
а бог ей кинул кривого идиотика.
Пухлыми пальцами в рыжих волосиках
солнце изласкало вас назойливостью овода —

в ваших душах выцелован раб.
Я, бесстрашный,
ненависть к дневным лучам понёс в веках;
с душой натянутой, как нервы провода,
я —
царь ламп!
Придите все ко мне,
кто рвал молчание,
кто выл
оттого, что петли полдней туги, —
я вам открою
словами
простыми, как мычанье,
наши новые души,
гудящие,
как фонарные дуги.
Я вам только головы пальцами трону,
и у вас
вырастут губы
для огромных поцелуев
и язык,
родной всем народам.
А я, прихрамывая душонкой,
уйду к моему трону
с дырами звезд по истертым сводам.
Лягу,
светлый,
в одеждах из лени
на мягкое ложе из настоящего навоза,
и тихим,
целующим шпал колени,
обнимет мне шею колесо паровоза.

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

Весело. Сцена — город в паутине улиц. Праздник нищих. Один В. Маяковский. Проходящие приносят еду — железного сельдя с вывески, золотой огромный калач, складки желтого бархата.

В. Маяковский

Милостивые государи!
Заштопайте мне душу,
пустота сочиться не могла бы.
Я не знаю, плевок — обида или нет.
Я сухой, как каменная баба.
Меня выдоили.
Милостивые государи,
хотите —
сейчас перед вами будет танцевать
замечательный поэт?

Входит старик с черными сухими кошками. Гладит. Весь — борода.

В. Маяковский

Ищите жирных в домах-скорлупах
и в бубен брюха веселье бейте!
Схватите за ноги глухих и глупых
и дуйте в уши им, как в ноздри флейте.
Разбейте днища у бочек злости,
ведь я горящий булыжник дум ем.
Сегодня в вашем кричащем тосте
я овенчаюсь моим безумием.

Сцена постепенно наполняется. Человек без уха. Человек без головы и др. Тупые. Стали беспорядком, едят дальше.

В. Маяковский

Граненых строчек босой алмазник,
взметя перины в чужих жилищах,
зажгу сегодня всемирный праздник
таких богатых и пестрых нищих.

Старик с кошками

Оставь.
Зачем мудрецам погремушек потеха?
Я — тысячелетний старик.
И вижу — в тебе на кресте из смеха
распят замученный крик.
Легло на город громадное горе
и сотни махоньких горь.
А свечи и лампы в галдящем споре
покрыли шопоты зорь.
Ведь мягкие луны не властны над нами, —
огни фонарей и нарядней и хлеще.
В земле городов нареклись господами
и лезут стереть нас бездушные вещи.
А с неба на вой человечьей орды
глядит обезумевший бог.
И руки в отрепьях его бороды,
изъеденных пылью дорог.
Он — бог,
а кричит о жестокой расплате,
а в ваших душонках поношенный вздошек.
Бросьте его!
Идите и гладьте —
гладьте сухих и черных кошек!
Громадные брюха возьмете хвастливо,
лоснящихся щек надуете пышки.
Лишь в кошках,
где шерсти вороньей отливы,
наловите глаз электрических вспышки.
Весь лов этих вспышек
(он будет обилен!)
вольем в провода,
в эти мускулы тяги, —
заскачут трамваи,
пламя светилен

зареет в ночах, как победные стяги.
Мир зашевелится в радостном гриме,
цветы испавлинятся в каждом окошке,
по рельсам потащат людей,
а за ними
все кошки, кошки, черные кошки!
Мы солнца приколем любимым на платье,
из звезд накуем серебрящихся брошек.
Бросьте квартиры!
Идите и гладьте —
гладьте сухих и черных кошек!

Человек без уха

Это — правда!
Над городом
— где флюгеров древки —
женщина
— черные пещеры век —
мечется,
кидает на тротуары плевки,—
а плевки вырастают в огромных калек.
Отмщалась над городом чья-то вина,—
люди столпились,
табуном бежали.
А там,
в обоях,
меж тенями вина,
сморщенный старикашка плачет на рояле.

Окружают.

Над городом ширится легенда мук.
Схватишься за ноту —
пальцы окровавишь!
А музыкант не может вытащить рук
из белых зубов разъяренных клавиш.

Все в волнении.

И вот
сегодня
с утра
в душу
врезал матчиш губы.

Я ходил, подергиваясь,
руки растопыря,
а везде по крышам танцевали трубы,
и каждая коленями выкидывала 44!
Господа!
Остановитесь!
Разве это можно?!
Даже переулки засучили рукава для драки.
А тоска моя растет,
непонятна и тревожна,
как слеза на морде у плачущей собаки.

Еще тревожнее.

Старик с кошками

Вот видите!
Вещи надо рубить!
Недаром в их ласках провидел врага я!

Человек с растянутым лицом

А, может быть, вещи надо любить?
Может быть, у вещей душа другая?

Человек без уха

Многие вещи сшиты наоборот.
Сердце не сердится,
к злобе глухо.

Человек с растянутым лицом (*радостно поддакивает*).

И там, где у человека вырезан рот,
многим вещам пришито ухо!

В. Маяковский (*поднял руку, вышел в середину*).

Злобой не мажьте сердец концы!
Вас,
детей моих,
буду учить непреклонно и строго.
Все вы, люди,
лишь бубенцы

на колпаке у бога.
Я
ногой, распухшей от исканий,
обошел
и вашу сушу
и еще какие-то другие страны
в домино и в маске темноты.
Я искал
ее,
невиданную душу,
чтобы в губы-раны
положить ее целящие цветы.
(Остановился.)
И опять,
как раб
в кровавом поте,
тело безумием качаю.
Впрочем,
раз нашел ее —
душу.
Вышла
в голубом капоте,
говорит:
«Садитесь!
Я давно вас ждала.
Не хотите ли стаканчик чаю?»
(Остановился.)
Я — поэт,
я разницу стер
между лицами своих и чужих.
В гное моргов искал сестер.
Целовал узорно больных.
А сегодня
на желтый костер,
спрятав глубже слёзы морей,
я взведу и стыд сестер
и морщины седых матерей!
На тарелках зализанных зал
будем жрать тебя, мясо, век!

Срывает покрывало. Громадная женщина. Боязливо. Вбегает Обыкновенный молодой человек. Суетится.

В. Маяковский
(в стороне — тихо).

Милостивые государи!
Говорят,
где-то
— кажется, в Бразилии —
есть один счастливый человек!

Обыкновенный молодой человек
(подбегает к каждому, цепляется).

Милостивые государи!
Стойте!
Милостивые государи!
Господин,
господин,
скажите скорей:
это здесь хотят сжечь
матерей?
Господа!
Мозг людей остер,
но перед тайнами мира ник;
а ведь вы зажигаете костер
из сокровищ знаний и книг!
Я придумал машинку для рубки котлет.
Я умом вовсе не плох!
У меня есть знакомый —
он двадцать пять лет
работает
над капканом для ловли блох.
У меня жена есть,
скоро родит сына или дочку,
а вы — говорите гадости!
Интеллигентные люди!
Право, как будто обидно.

Человек без уха

Молодой человек,
встань на коробочку!

Из толпы

Лучше на бочку!

Человек без уха

А то вас совсем не видно!

Обыкновенный молодой человек

И нечего смеяться!
У меня братец есть,
маленький, —
вы придете и будете жевать его кости.
Вы всё хотите съесть!

Тревога. Гудки. За сценой крики: «Штаны, штаны!»

В. Маяковский

Бросьте!

Обыкновенного молодого человека обступают со всех сторон.

Если б вы так, как я, голодали —
дали
востока и запада
вы бы глодали,
как гложут кость небосвода
заводов копченые рожи!

Обыкновенный молодой человек

Что же, —
значит, ничто любовь?
У меня есть Сонечка сестра!

(На коленях.)

Милые!
Не лейте кровь!
Дорогие,
не надо костра!

Тревога выросла. Выстрелы. Начинает медленно тянуть одну ноту водосточная труба. Загудело железо крыш.

Человек с растянутым лицом

Если б вы так, как я, любили,
вы бы убили любовь
или лобное место нашли
и растлили б
шершавое потное небо
и молочно-невинные звезды.

Человек без уха

Ваши женщины не умеют любить,
они от поцелуев распухли, как губки.

Вступают удары тысячи ног в натянутое брюхо площади.

Человек с растянутым лицом

А из моей души
тоже можно сшить
такие нарядные юбки!

Волнение не помещается. Все вокруг громадной женщины. Взваливают на плечи. Тащат.

Вместе

Идем,—
где за святость
распяли пророка,
тела отдадим раздетому плясу,
на черном граните греха и порока
поставим памятник красному мясу.

Дотаскивают до двери. Оттуда торопливые шаги. Человек без глаза и ноги. Радостный. Безумие надорвалось. Женщину бросили.

Человек без глаза и ноги

Стойте!
На улицах,
где лица —
как бремя,
у всех одни и те ж,
сейчас родила старуха-время
огромный

криворотый мятеж!
Смех!
Перед мордами вылезших годов
онемели земель старожилы,
а злоба
вздувала на лбах городов
ре́ки —
тысячеверстые жилы.
Медленно,
в ужасе,
стрелки во́лос
подымался на лысом темени времен.
И вдруг
все вещи
кинулись,
раздирая голос,
скидывать лохмотья изношенных имен.
Винные витрины,
как по пальцу сатаны,
сами плеснули в днища фляжек.
У обмершего портного
сбежали штаны
и пошли —
одни! —
без человечьих ляжек!
Пьяный —
разинув черную пасть —
вывалился из спальни комод.
Корсеты слезали, боясь упасть,
из вывесок «Robes et modes»[1].
Каждая калоша недоступна и строга.
Чулки-кокотки
игриво щурятся.
Я летел, как ругань.
Другая нога
еще добегает в соседней улице.
Что же,
вы,
кричащие, что я калека?! —

[1] Платья и моды (*франц.*).

старые,
жирные,
обрюзгшие враги!
Сегодня
в целом мире не найдете человека,
у которого
две
одинаковые
ноги!

Занавес

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

Скучно. Площадь в новом городе. В. Маяковский переоделся в тогу. Лавровый венок. За дверью многие ноги.

Человек без глаза и ноги (*услужливо*).

Поэт!
Поэт!
Вас объявили князем.
Покорные
толпятся за дверью,
пальцы сосут.
Перед каждым положен наземь
какой-то смешной сосуд.

В. Маяковский

Что же,
пусть идут!

Робко. Женщины с узлами. Много кланяются.

Первая

Вот это слёзка моя —
возьмите!
Мне не нужна она.
Пусть.

Вот она,
белая,
в шелке из нитей
глаз, посылающих грусть!

В. Маяковский
(беспокойно).

Не нужна она,
зачем мне?

(Следующей.)

И у вас глаза распухли?

Вторая
(беспечно).

Пустяки!
Сын умирает.
Не тяжко.
Вот еще слеза.
Можно на туфлю.
Будет красивая пряжка.

В. Маяковский
(испуган)

Третья

Вы не смотри́те,
что я
грязная.
Вымоюсь —
буду чище.
Вот вам и моя слеза,
праздная,
большая слезища.

В. Маяковский

Будет!
Их уже гора.
Да и мне пора.
Кто этот очаровательный шатен?

Газетчики

Фигаро!
Фигаро!
Матэн!

Человек с двумя поцелуями. Все оглядывают. Говорят вперебой.

Смотрите —
какой дикий!
Отойдите немного.
Темно.
Пустите!
Молодой человек,
не икайте!

Человек без головы

И-и-и-и...
Э-э-э-э...

Человек с двумя поцелуями

Тучи отдаются небу,
рыхлы и гадки.
День гиб.
Девушки воздуха тоже до золота падки,
и им только деньги.

В. Маяковский

Что?

Человек с двумя поцелуями

Деньги и деньги б!

Голоса

Тише!
Тише!

Человек с двумя поцелуями
(танец с дырявыми мячами).

Большому и грязному человеку
подарили два поцелуя.

Человек был неловкий,
не знал,
что с ними делать,
куда их деть.
Город,
весь в празднике,
возносил в соборах аллилуя,
люди выходили красивое надеть.
А у человека было холодно.
и в подошвах дырочек овальцы.
Он выбрал поцелуй,
который побольше,
и надел, как калошу.
Но мороз ходил злой,
укусил его за пальцы.
«Что же, —
рассердился человек, —
я эти ненужные поцелуи брошу!»
Бросил.
И вдруг
у поцелуя выросли ушки,
он стал вертеться,
тоненьким голосочком крикнул:
«Мамочку!»
Испугался человек.
Обернул лохмотьями души своей дрожащее тельце,
понес домой,
чтобы вставить в голубенькую рамочку.
Долго рылся в пыли по чемоданам
(искал рамочку).
Оглянулся —
поцелуй лежит на диване,
громадный,
жирный,
вырос,
смеется,
бесится!
«Господи! —
заплакал человек, —
никогда не думал, что я так устану.

Надо повеситься!»
И пока висел он,
гадкий,
жаленький, —
в будуарах женщины
— фабрики без дыма и труб —
миллионами выделывали поцелуи, —
всякие,
большие,
маленькие, —
мясистыми рычагами шлепающих губ.

Вбежавшие дети-поцелуи

(резво).

Нас массу выпустили.
Возьмите!
Сейчас остальные придут.
Пока — восемь.
Я —
Митя.
Просим!

Каждый кладет слезу.

В. Маяковский

Господа!
Послушайте, —
я не могу!
Вам хорошо,
а мне с болью-то как?

Угрозы:

Ты поговори еще там!
Мы из тебя сделаем рагу,
как из кролика!

Старик с одной ощипанной кошкой

Ты один умеешь песни петь.

(На груду слёз.)

Отнеси твоему красивому богу.

В. Маяковский

Пустите сесть!

Не дают. В. Маяковский неуклюже топчется, собирает слезы в чемодан. Стал с чемоданом.

Хорошо!
Дайте дорогу!
Думал —
радостный буду.
Блестящий глазами
сяду на трон,
изнеженный телом грек.
Нет!
Век,
дорогие дороги,
не забуду
ваши ноги худые
и седые волосы северных рек!
Вот и сегодня —
выйду сквозь город,
душу
на копьях домов
оставляя за клоком клок.
Рядом луна пойдет —
туда,
где небосвод распорот.
Поравняется,
на секунду примерит мой котелок.
Я
с ношей моей
иду,
спотыкаюсь,
ползу
дальше
на север,
туда,
где в тисках бесконечной тоски
пальцами волн
вечно
грудь рвет
океан-изувер.

Я добреду —
усталый,
в последнем бреду
брошу вашу слезу
темному богу гроз
у истока звериных вер.

Занавес

ЭПИЛОГ

В. Маяковский

Я это все писал
о вас,
бедных крысах.
Жалел — у меня нет груди:
я кормил бы вас доброй нененькой.
Теперь я немного высох,
я — блаженненький.
Но зато
кто
где бы
мыслям дал
такой нечеловечий простор!
Это я
попал пальцем в небо,
доказал:
он — вор!
Иногда мне кажется —
я петух голландский
или я
король псковский.
А иногда
мне больше всего нравится
моя собственная фамилия,
Владимир Маяковский.

[1913]

ОБЛАКО В ШТАНАХ

ТЕТРАПТИХ

Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окровавленный сердца лоскут;
досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий.

У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огрóмив мощью голоса,
иду — красивый,
двадцатидвухлетний.

Нежные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложит грубый.
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!

Приходи́те учиться —
из гостиной батистовая,
чинная чиновница ангельской лиги.

И которая губы спокойно перелистывает,
как кухарка страницы поваренной книги.

Хотите —
буду от мяса бешеный
— и, как небо, меняя тона —
хотите —
буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а — облако в штанах!

Не верю, что есть цветочная Ницца!
Мною опять славословятся
мужчины, залежанные, как больница,
и женщины, истрепанные, как пословица.

1

Вы думаете, это бредит малярия?

Это было,
было в Одессе.

«Приду в четыре», — сказала Мария.

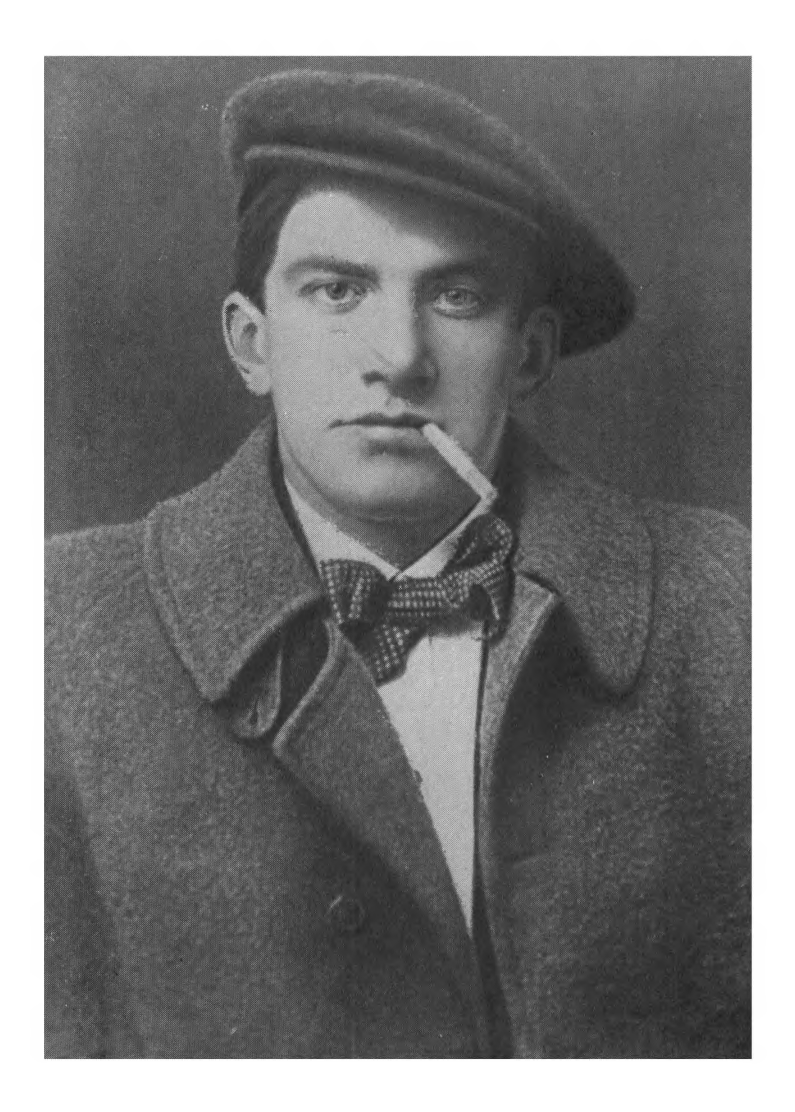
Восемь.
Девять.
Десять.

Вот и вечер
в ночную жуть
ушел от окон,
хмурый,
декабрый.

В дряхлую спину хохочут и ржут
канделябры.

Меня сейчас узнать не могли бы:
жилистая громадина
стонет,
корчится.
Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!

Ведь для себя не важно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце — холодной железкою.
Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое,
в женское.



В. МАЯКОВСКИЙ
Фото 1915 г.

И вот,
громадный,
горблюсь в окне,
плавлю лбом стекло окошечное.
Будет любовь или нет?
Какая —
большая или крошечная?
Откуда большая у тела такого:
должно быть, маленький,
смирный любёночек.
Она шарахается автомобильных гудков.
Любит звоночки коночек.

Еще и еще,
уткнувшись дождю
лицом в его лицо рябое,
жду,
обрызганный громом городского прибоя.

Полночь, с ножом мечась,
догнáла,
зарезала, —
вон его!

Упал двенадцатый час,
как с плахи голова казненного.

В стеклах дождинки серые
свылись,
гримасу громадили,
как будто воют химеры
Собора Парижской Богоматери.

Проклятая!
Что же, и этого не хватит?
Скоро криком издерется рот.

Слышу:
тихо,
как больной с кровати,
спрыгнул нерв.
И вот, —

сначала прошелся
едва-едва,
потом забегал,
взволнованный,
четкий.
Теперь и он и новые два
мечутся отчаянной чечеткой.

Рухнула штукатурка в нижнем этаже.

Нервы —
большие,
маленькие,
многие! —
скачут бешеные,
и уже
у нервов подкашиваются ноги!

А ночь по комнате тинится и тинится, —
из тины не вытянуться отяжелевшему глазу.

Двери вдруг заляскали,
будто у гостиницы
не попадает зуб нá зуб.

Вошла ты,
резкая, как «нате!»,
муча перчатки замш,
сказала:
«Знаете —
я выхожу замуж».

Что ж, выходи́те.
Ничего.
Покреплюсь.
Видите — спокоен как!
Как пульс
покойника.

Помните?
Вы говорили:
«Джек Лондон,
деньги,

любовь,
страсть», —
а я одно видел:
вы — Джиоконда,
которую надо украсть!

И украли.

Опять влюбленный выйду в игры,
огнем озаряя бровей за́гиб.
Что же!
И в доме, который выгорел,
иногда живут бездомные бродяги!

Дра́зните?
«Меньше, чем у нищего копеек,
у вас изумрудов безумий».
Помните!
Погибла Помпея,
когда раздразнили Везувий!

Эй!
Господа!
Любители
святотатств,
преступлений,
боен, —
а самое страшное
видели —
лицо мое,
когда
я
абсолютно спокоен?

И чувствую —
«я»
для меня мало́.
Кто-то из меня вырывается упрямо.

Allo!
Кто говорит?
Мама?
Мама!

Ваш сын прекрасно болен!
Мама!
У него пожар сердца.
Скажите сестрам, Люде и Оле, —
ему уже некуда деться.
Каждое слово,
даже шутка,
которые изрыгает обгорающим ртом он,
выбрасывается, как голая проститутка
из горящего публичного дома.

Люди нюхают —
запахло жареным!
Нагнали каких-то.
Блестящие!
В касках!
Нельзя сапожища!
Скажите пожарным:
на сердце горящее лезут в ласках.
Я сам.
Глаза наслезнённые бочками выкачу.
Дайте о ребра опереться.
Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!
Рухнули.
Не выскочишь из сердца!

На лице обгорающем
из трещины губ
обугленный поцелуишко броситься вырос.

Мама!
Петь не могу.
У церковки сердца занимается клирос!

Обгорелые фигурки слов и чисел
из черепа,
как дети из горящего здания.
Так страх
схватиться за небо
высил
горящие руки «Лузитании».

Трясущимся людям
в квартирное тихо
стоглазое зарево рвется с пристани.
Крик последний, —
ты хоть
о том, что горю, в столетия выстони!

2

Славьте меня!
Я великим не чета.
Я над всем, что сделано,
ставлю «nihil»[1].

Никогда
ничего не хочу читать.
Книги?
Что книги!

Я раньше думал —
книги делаются так:
пришел поэт,
легко разжал уста,
и сразу запел вдохновенный простак —
пожалуйста!
А оказывается —
прежде чем начнет петься,
долго ходят, размозолев от брожения,
и тихо барахтается в тине сердца
глупая вобла воображения.
Пока выкипячивают, рифмами пиликая,
из любвей и соловьев какое-то варево,
улица корчится безъязыкая —
ей нечем кричать и разговаривать.

---

[1] «Ничто» (*лат.*).

Городов вавилонские башни,
возгордясь, возносим снова,
а бог
города на пашни
рушит,
мешая слово.

Улица му́ку молча пёрла.
Крик торчком стоял из глотки.
Топорщились, застрявшие поперек горла,
пухлые taxi[1] и костлявые пролетки.
Грудь испешеходили.
Чахотки площе.

Город дорогу мраком запер.

И когда —
все-таки! —
выхаркнула давку на площадь,
спихнув наступившую на горло паперть,
думалось:
в хо́рах архангелова хорала
бог, ограбленный, идет карать!

А улица присела и заорала:
«Идемте жрать!»

Гримируют городу Круппы и Круппики
грозящих бровей морщь,
а во рту
умерших слов разлагаются трупики,
только два живут, жирея —
«сволочь»
и еще какое-то,
кажется — «борщ».

Поэты,
размокшие в плаче и всхлипе,
бросились от улицы, ероша космы:

[1] такси (*франц.*).

«Как двумя такими выпеть
и барышню,
и любовь,
и цветочек под росами?»

А за поэтами —
уличные тыщи:
студенты,
проститутки,
подрядчики.

Господа!
Остановитесь!
Вы не нищие,
вы не смеете просить подачки!

Нам, здоровенным,
с шагом саженьим,
надо не слушать, а рвать их —
их,
присосавшихся бесплатным приложением
к каждой двуспальной кровати!

Их ли смиренно просить:
«Помоги мне!»
Молить о гимне,
об оратории!
Мы сами творцы в горящем гимне —
шуме фабрики и лаборатории.

Что мне до Фауста,
феерией ракет
скользящего с Мефистофелем в небесном паркете!
Я знаю —
гвоздь у меня в сапоге
кошмарней, чем фантазия у Гете!

Я,
златоустейший,
чье каждое слово
душу новородит,

именинит тело,
говорю вам:
мельчайшая пылинка живого
ценнее всего, что я сделаю и сделал!

Слушайте!
Проповедует,
мечась и стеня,
сегодняшнего дня крикогубый Заратустра!
Мы
с лицом, как заспанная простыня,
с губами, обвисшими, как люстра,
мы,
каторжане города-лепрозория,
где золото и грязь изъя́звили проказу, —
мы чище венецианского лазорья,
морями и солнцами омытого сразу!

Плевать, что нет
у Гомеров и Овидиев
людей, как мы,
от копоти в оспе.
Я знаю —
солнце померкло б, увидев
наших душ золотые россыпи!

Жилы и мускулы — молитв верней.
Нам ли вымаливать милостей времени!
Мы —
каждый —
держим в своей пятерне
миров приводные ремни!

Это взвело на Голгофы аудиторий
Петрограда, Москвы, Одессы, Киева,
и не было ни одного,
который
не кричал бы:
«Распни,
распни его!»

Но мне —
люди,
и те, что обидели —
вы мне всего дороже и ближе.

Видели,
как собака бьющую руку лижет?!

Я,
обсмеянный у сегодняшнего племени,
как длинный
скабрезный анекдот,
вижу идущего через горы времени,
которого не видит никто.

Где глаз людей обрывается куцый,
главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.

А я у вас — его предтеча;
я — где боль, везде;
на каждой капле слёзовой течи
ра́спял себя на кресте.
Уже ничего простить нельзя.
Я выжег души, где нежность растили.
Это труднее, чем взять
тысячу тысяч Бастилий!

И когда,
приход его
мятежом оглашая,
выйдете к спасителю —
вам я
душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая! —
и окровавленную дам, как знамя.

3

Ах, зачем это,
откуда это
в светлое весело
грязных кулачищ замах!

Пришла
и голову отчаянием занавесила
мысль о сумасшедших домах.

И —
как в гибель дредноута
от душащих спазм
бросаются в разинутый люк —
сквозь свой
до крика разодранный глаз
лез, обезумев, Бурлюк.
Почти окровавив исслезенные веки,
вылез,
встал,
пошел
и с нежностью, неожиданной в жирном человеке,
взял и сказал:
«Хорошо!»

Хорошо, когда в желтую кофту
душа от осмотров укутана!
Хорошо,
когда брошенный в зубы эшафоту,
крикнуть:
«Пейте какао Ван-Гутена!»

И эту секунду,
бенгальскую
громкую,
я ни на что б не выменял,
я ни на...

А из сигарного дыма
ликерною рюмкой
вытягивалось пропитое лицо Северянина.

Как вы смеете называться поэтом
и, серенький, чирикать, как перепел!
Сегодня
надо
кастетом
кроиться миру в черепе!

Вы,
обеспокоенные мыслью одной —
«изящно пляшу ли»,—
смотрите, как развлекаюсь
я —
площадной
сутенер и карточный шулер!

От вас,
которые влюбленностью мокли,
от которых
в столетия слеза лилась,
уйду я,
солнце моноклем
вставлю в широко растопыренный глаз.

Невероятно себя нарядив,
пойду по земле,
чтоб нравился и жегся,
а впереди
на цепочке Наполеона поведу, как мопса.

Вся земля поляжет женщиной,
заерзает мясами, хотя отдаться;
вещи оживут —
губы вещины
засюсюкают:
«цаца, цаца, цаца!»

Вдруг
и тучи
и облачное прочее
подняло на небе невероятную качку,
как будто расходятся белые рабочие,
небу объявив озлобленную стачку.

Гром из-за тучи, зверея, вылез,
громадные ноздри задорно высморкал,
и небье лицо секунду кривилось
суровой гримасой железного Бисмарка.

И кто-то,
запутавшись в облачных путах,
вытянул руки к кафе —
и будто по-женски,
и нежный как будто,
и будто бы пушки лафет.

Вы думаете —
это солнце нежненько
треплет по щечке кафе?
Это опять расстрелять мятежников
грядет генерал Галифе!

Выньте, гулящие, руки из брюк —
берите камень, нож или бомбу,
а если у которого нету рук —
пришел чтоб и бился лбом бы!

Идите, голодненькие,
потненькие,
покорненькие,
закисшие в блохастом грязненьке!

Идите!
Понедельники и вторники
окрасим кровью в праздники!
Пускай земле под ножами припомнится,
кого хотела опошлить!

Земле,
обжиревшей, как любовница,
которую вылюбил Ротшильд!

Чтоб флаги трепались в горячке пальбы,
как у каждого порядочного праздника —
выше вздымайте, фонарные столбы,
окровавленные туши лабазников.

Изругивался,
вымаливался,
резал,
лез за кем-то
вгрызаться в бока.

На небе, красный, как марсельеза,
вздрагивал, околевая, закат.

Уже сумасшествие.

Ничего не будст.

Ночь придет,
перекусит
и съест.

Видите —
небо опять иудит
пригоршнью обрызганных предательством звезд?
Пришла.
Пирует Мамаем,
задом на город насев.
Эту ночь глазами не проломаем,
черную, как Азеф!

Ежусь, зашвырнувшись в трактирные углы,
вином обливаю душу и скатерть
и вижу:
в углу — глаза круглы, —
глазами в сердце въелась богоматерь.

Чего одаривать по шаблону намалеванному
сиянием трактирную ораву!
Видишь — опять
голгофнику оплеванному
предпочитают Варавву?

Может быть, нарочно я
в человечьем месиве
лицом никого не новей.
Я,
может быть,
самый красивый
из всех твоих сыновей.

Дай им,
заплесневшим в радости,
скорой смерти времени,
чтоб стали дети, должные подрасти,
мальчики — отцы,
девочки — забеременели.

И новым рожденным дай обрасти
пытливой сединой волхвов,
и придут они —
и будут детей крестить
именами моих стихов.

Я, воспевающий машину и Англию,
может быть, просто,
в самом обыкновенном евангелии
тринадцатый апостол.

И когда мой голос
похабно ухает —
от часа к часу,
целые сутки,
может быть, Иисус Христос нюхает
моей души незабудки.

4

Мария! Мария! Мария!
Пусти, Мария!
Я не могу на улицах!
Не хочешь?
Ждешь,
как щеки провалятся ямкою,
попробованный всеми,
пресный,
я приду
и беззубо прошамкаю,
что сегодня я
«удивительно честный».

Мария,
видишь —
я уже начал сутулиться.

В улицах
люди жир продырявят в четыреэтажных зобах,
высунут глазки,
потертые в сорокгодовой таске, —
перехихикиваться,
что у меня в зубах
— опять! —
черствая булка вчерашней ласки.

Дождь обрыдал тротуары,
лужами сжатый жулик,
мокрый, лижет улиц забитый булыжником труп
а на седых ресницах —
да! —
на ресницах морозных сосулек
слезы из глаз —
да! —
из опущенных глаз водосточных труб.

Всех пешеходов морда дождя обсосала,
а в экипажах лощился за жирным атлетом атлет:
лопались люди,
проевшись насквозь,

и сочилось сквозь трещины сало,
мутной рекой с экипажей стекала
вместе с иссосанной булкой
жевотина старых котлет.

Мария!
Как в зажиревшее ухо втиснуть им тихое слово?
Птица
побирается песней,
поет,
голодна и звонка,
а я человек, Мария,
простой,
выхарканный чахоточной ночью в грязную руку
Пресни.

Мария, хочешь такого?
Пусти, Мария!
Судорогой пальцев зажму я железное горло звонка!

Мария!

Звереют улиц выгоны.
На шее ссадиной пальцы давки.

Открой!

Больно!

Видишь — натыканы
в глаза из дамских шляп булавки!

Пустила.

Детка!
Не бойся,
что у меня на шее воловьей
потноживотые женщины мокрой горою сидят, —
это сквозь жизнь я тащу

миллионы огромных чистых любовей
и миллион миллионов маленьких грязных любят.
Не бойся,
что снова,
в измены ненастье,
прильну я к тысячам хорошеньких лиц,—
«любящие Маяковского!» —
да ведь это ж династия
на сердце сумасшедшего восшедших цариц.

Мария, ближе!

В раздетом бесстыдстве,
в боящейся дрожи ли,
но дай твоих губ неисцветшую прелесть:
я с сердцем ни разу до мая не дожили,
а в прожитой жизни
лишь сотый апрель есть.

Мария!
Поэт сонеты поет Тиане,
а я —
весь из мяса,
человек весь —
тело твое просто прошу,
как просят христиане —
«хлеб наш насущный
даждь нам днесь».

Мария — дай!

Мария!
Имя твое я боюсь забыть,
как поэт боится забыть
какое-то
в муках ночей рожденное слово,
величием равное богу.

Тело твое
я буду беречь и любить,
как солдат,
обрубленный войною,

ненужный,
ничей,
бережет свою единственную ногу.

Мария —
не хочешь?
Не хочешь!

Ха!

Значит — опять
темно и понуро
сердце возьму,
слезами окапав,
нести,
как собака,
которая в конуру
несет
переехавную поездом лапу.

Кровью сердца дорогу радую,
липнет цветами у пыли кителя.
Тысячу раз опляшет Иродиадой
солнце землю —
голову Крестителя.

И когда мое количество лет
выпляшет до конца —
миллионом кровинок устелется след
к дому моего отца.

Вылезу
грязный (от ночевок в канавах),
стану бок о бо́к,
наклонюсь
и скажу ему на̀ ухо:

— Послушайте, господин бог!
Как вам не скушно
в облачный кисель
ежедневно обмакивать раздобревшие глаза?

Давайте — знаете —
устроимте карусель
на дереве изучения добра и зла!

Вездесущий, ты будешь в каждом шкапу,
и вина такие расставим пó столу,
чтоб захотелось пройтись в ки-ка-пу
хмурому Петру Апостолу.
А в рае опять поселим Евочек:
прикажи, —
сегодня ночью ж
со всех бульваров красивейших девочек
я натащу тебе.

Хочешь?

Не хочешь?

Мотаешь головою, кудластый?
Супишь седую бровь?
Ты думаешь —
этот,
за тобою, крыластый,
знает, что такое любовь?

Я тоже ангел, я был им —
сахарным барашком выглядывал в глаз,
но больше не хочу дарить кобылам
из севрской мýки изваянных ваз.
Всемогущий, ты выдумал пару рук,
сделал,
что у каждого есть голова, —
отчего ты не выдумал,
чтоб было без мук
целовать, целовать, целовать?!

Я думал — ты всесильный божище,
а ты недоучка, крохотный божик.
Видишь, я нагибаюсь,
из-за голенища
достаю сапожный ножик.

Крыластые прохвосты!
Жмитесь в раю!
Ерошьте перышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою
отсюда до Аляски!

Пустите!

Меня не остановите.
Вру я,
в праве ли,
но я не могу быть спокойней.
Смотрите —
звезды опять обезглавили
и небо окровавили бойней!

Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!

Глухо.

Вселенная спит,
положив на лапу
с клещами звезд огромное ухо.

[*1914—1915*]


ФЛЕЙТА-ПОЗВОНОЧНИК

ПРОЛОГ

За всех вас,
которые нравились или нравятся,
хранимых иконами у души в пещере,
как чашу вина в застольной здравице,
подъемлю стихами наполненный череп.

Все чаще думаю —
не поставить ли лучше
точку пули в своем конце.
Сегодня я
на всякий случай
даю прощальный концерт.

Память!
Собери у мозга в зале
любимых неисчерпаемые очереди.
Смех из глаз в глаза лей.
Былыми свадьбами ночь ряди.
Из тела в тело веселье лейте.
Пусть не забудется ночь никем.
Я сегодня буду играть на флейте.
На собственном позвоночнике.

1

Версты улиц взмахами шагов мну.
Куда уйду я, этот ад тая!
Какому небесному Гофману
выдумалась ты, проклятая?!

Буре веселья улицы у́зки.
Праздник нарядных черпал и че́рпал.
Думаю.
Мысли, крови сгустки,
больные и запекшиеся, лезут из черепа.

Мне,
чудотворцу всего, что празднично,
самому на праздник выйти не с кем.
Возьму сейчас и грохнусь навзничь
и голову вымозжу каменным Невским!
Вот я богохулил.
Орал, что бога нет,
а бог такую из пекловых глубин,
что перед ней гора заволнуется и дрогнет,
вывел и велел:
люби!

Бог доволен.
Под небом в круче
измученный человек одичал и вымер.
Бог потирает ладони ручек.
Думает бог:
погоди, Владимир!
Это ему, ему же,
чтоб не догадался, кто́ ты,
выдумалось дать тебе настоящего мужа
и на рояль положить человечьи ноты.
Если вдруг подкрасться к двери спа̀ленной,
перекрестить над вами стёганье одеялово,
знаю —
запахнет шерстью па́ленной,
и серой издымится мясо дьявола.

А я вместо этого до утра раннего
в ужасе, что тебя любить увели,
метался
и крики в строчки выгранивал,
уже наполовину сумасшедший ювелир.
В карты б играть!
В вино
выполоскать горло сердцу изоханному.

Не надо тебя!
Не хочу!
Все равно
я знаю,
я скоро сдохну.

Если правда, что есть ты,
боже,
боже мой,
если звезд ковер тобою выткан,
если этой боли,
ежедневно множимой,
тобой ниспослана, господи, пытка,
судейскую цепь надень.
Жди моего визита.
Я аккуратный,
не замедлю ни на день.
Слушай,
Всевышний инквизитор!

Рот зажму.
Крик ни один им
не выпущу из искусанных губ я.
Привяжи меня к кометам, как к хвостам лошадиным,
и вымчи,
рвя о звездные зубья.
Или вот что:
когда душа моя выселится,
выйдет на суд твой,
выхмурясь тупенько,
ты,

Млечный Путь перекинув виселицей,
возьми и вздерни меня, преступника.
Делай, что хочешь.
Хочешь, четвертуй.
Я сам тебе, праведный, руки вымою.
Только —
слышишь! —
убери проклятую ту,
которую сделал моей любимою!

Версты улиц взмахами шагов мну.
Куда я денусь, этот ад тая!
Какому небесному Гофману
выдумалась ты, проклятая?!

2

И небо,
в дымах забывшее, что голубо́,
и тучи, ободранные беженцы точно,
вызарю в мою последнюю любовь,
яркую, как румянец у чахоточного.

Радостью покрою рев
скопа
забывших о доме и уюте.
Люди,
слушайте!
Вылезьте из окопов.
После довоюете.

Даже если,
от крови качающийся, как Бахус,
пьяный бой идет —
слова любви и тогда не ветхи.
Милые немцы!
Я знаю,
на губах у вас
гётевская Гретхен.

Француз,
улыбаясь, на штыке мрет,
с улыбкой разбивается подстреленный авиатор,
если вспомнят
в поцелуе рот
твой, Травиата.

Но мне не до розовой мякоти,
которую столетия выжуют.
Сегодня к новым ногам лягте!
Тебя пою,
накрашенную,
рыжую.

Может быть, от дней этих,
жутких, как штыков острия,
когда столетия выбелят бороду,
останемся только
ты
и я,
бросающийся за тобой от города к городу.

Будешь за́ море отдана,
спрячешься у ночи в норе —
я в тебя вцелую сквозь туманы Лондона
огненные губы фонарей.

В зное пустыни вытянешь караваны,
где львы начеку, —
тебе
под пылью, ветром рваной,
положу Сахарой горящую щеку.

Улыбку в губы вложишь,
смотришь —
тореадор хорош как!
И вдруг я
ревность метну в ложи
мрущим глазом быка.

Вынесешь на́ мост шаг рассеянный —
думать,
хорошо внизу бы.
Это я
под мостом разлился Сеной,
зову,
скалю гнилые зубы.

С другим зажгешь в огне рысаков
Стрелку или Сокольники.
Это я, взобравшись туда высоко,
луной томлю, ждущий и голенький.

Сильный,
понадоблюсь им я —
велят:
себя на войне убей!
Последним будет
твое имя,
запекшееся на выдранной ядром губе.

Короной кончу?
Святой Еленой?
Буре жизни оседлав валы,
я — равный кандидат
и на царя вселенной
и на
кандалы.

Быть царем назначено мне —
твое личико
на солнечном золоте моих монет
велю народу:
вычекань!
А там,
где тундрой мир вылинял,
где с северным ветром ведет река торги, —
на цепь нацарапаю имя Лилино
и цепь исцелую во мраке каторги.

Слушайте ж, забывшие, что небо голубо́,
выщетинившиеся,
звери точно!
Это, может быть,
последняя в мире любовь
вызарилась румянцем чахоточного.

3

Забуду год, день, число.
Запрусь одинокий с листом бумаги я,
Творись, просветленных страданием слов
нечеловечья магия!

Сегодня, только вошел к вам,
почувствовал —
в доме неладно.
Ты что-то таила в шелковом платье,
и ширился в воздухе запах ладана.
Рада?
Холодное
«очень».
Смятеньем разбита разума ограда.
Я отчаянье громозжу, горящ и лихорадочен.

Послушай,
все равно
не спрячешь трупа.
Страшное слово на голову лавь!
Все равно
твой каждый мускул
как в рупор
трубит:
умерла, умерла, умерла!
Нет,
ответь.
Не лги!
(Как я такой уйду назад?)

Ямами двух могил
вырылись в лице твоем глаза.

Могилы глубятся.
Нету дна там.
Кажется,
рухну с пóмоста дней.
Я душу над пропастью натянул канатом,
жонглируя словами, закачался над ней.

Знаю,
любовь его износила уже.
Скуку угадываю по стольким признакам.
Вымолоди себя в моей душе.
Празднику тела сердце вызнакомь.

Знаю,
каждый за женщину платит.
Ничего,
если пока
тебя вместо шика парижских платьев
одену в дым табака.

Любовь мою,
как апостол во время оно,
по тысяче тысяч разнесу дорог.
Тебе в веках уготована корона,
а в короне слова мои —
радугой судорог.

Как слоны стопудовыми играми
завершали победу Пиррову,
я поступью гения мозг твой выгромил.
Напрасно.
Тебя не вырву.

Радуйся,
радуйся,
ты доконала!
Теперь
такая тоска,
что только б добежать до канала
и голову сунуть воде в оскал.

Губы дала.
Как ты груба ими.
Прикоснулся и остыл.
Будто целую покаянными губами
в холодных скалах высеченный монастырь.

Захлопали
двери.
Вошел он,
весельем улиц орошен.
Я
как надвое раскололся в вопле.
Крикнул ему:
«Хорошо!
Уйду!
Хорошо!
Твоя останется.
Тряпок нашéй ей,
робкие крылья в шелках зажирели б.
Смотри, не уплыла б.
Камнем на шее
навесь жене жемчуга ожерелий!»

Ох, эта
ночь!
Отчаянье стягивал туже и туже сам.
От плача моего и хохота
морда комнаты выкосилась ужасом.

И видением вставал унесенный от тебя лик,
глазами вызарила ты на ковре его,
будто вымечтал какой-то новый Бялик
ослепительную царицу Сиона евреева.

В муке
перед той, которую отдáл,
коленопреклоненный выник.
Король Альберт,
все города
отдавший,
рядом со мной задаренный именинник.

Вызолачивайтесь в солнце, цветы и травы!
Весеньтесь, жизни всех стихий!
Я хочу одной отравы —
пить и пить стихи.

Сердце обокравшая,
всего его лишив,
вымучившая душу в бреду мою,
прими мой дар, дорогая,
больше я, может быть, ничего не придумаю.

В праздник красьте сегодняшнее число.
Творись,
распятью равная магия.
Видите —
гвоздями слов
прибит к бумаге я.

[*1915*]

ВОЙНА И МИР

ПРОЛОГ

Хорошо вам.
Мертвые сраму не имут.
Злобу
к умершим убийцам туши.
Очистительнейшей влагой вымыт
грех отлетевшей души.

Хорошо вам!
А мне
сквозь строй,
сквозь грохот
как пронести любовь к живому?
Оступлюсь —
и последней любовишки кроха
навеки канет в дымный омут.

Что́ им,
вернувшимся,
печали ваши,
что́ им
каких-то стихов бахрома?!
Им
на паре б деревяшек
день кое-как прохромать!

Боишься!
Трус!
Убьют!

А так
полсотни лет еще можешь, раб, расти.
Ложь!
Я знаю,
и в лаве атак
я буду первый
в геройстве,
в храбрости.

О, кто же,
набатом гибнущих годин
званый,
не выйдет брав?
Все!
А я
на земле
один
глашатай грядущих правд.

Сегодня ликую!
Не разбрызгав,
душу
сумел,
сумел донесть.
Единственный человечий,
средь воя,
средь визга,
голос
подъемлю днесь.

А там
расстреливайте,
вяжите к столбу!
Я ль изменюсь в лице!
Хотите —
туза
нацеплю на лбу,
чтоб ярче горела цель?!

ПОСВЯЩЕНИЕ

Лиле

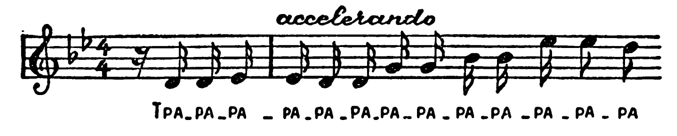
8 октября.
1915 год.
Даты
времени,
смотревшего в обряд
посвящения меня в солдаты.

«Слышите!
Каждый,
ненужный даже,
должен жить;
нельзя,
нельзя ж его
в могилы траншей и блиндажей
вкопать заживо —
убийцы!»

Не слушают.
Шестипудовый унтер сжал, как пресс.
От уха до уха выбрили аккуратненько.
Мишенью
на лоб
нацепили крест
ратника.

Теперь и мне на запад!
Буду идти и идти там,
пока не оплачут твои глаза
под рубрикой
«убитые»
набранного петитом.

ЧАСТЬ I
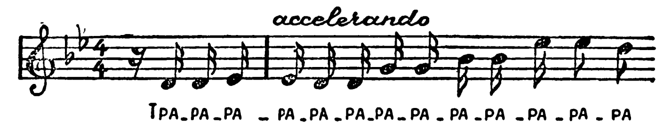




И вот
на эстраду,
колеблемую костром оркестра,
вывалился живот.
И начал!
Рос в глазах, как в тысячах луп.
Змеился.
Пот сиял лачком.
Вдруг —
остановил мелькающий пуп,
вывертелся волчком.
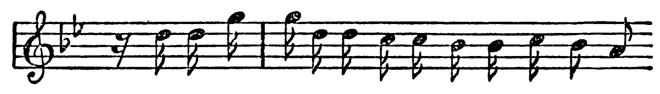
Что было!
Лысины слиплись в одну луну.
Смаслились глазки, щелясь.
Даже пляж,
расхлестав соленую слюну,
осклабил утыканную домами челюсть.

Вывертелся.
Рты,
как электрический ток,
скрючило «браво».
Браво!
Бра-аво!
Бра-а-аво!
Бра-а-а-аво!
Б-р-а-а-а-а-в-о!

Кто это,
кто?
Эта массомясая
быкомордая орава?

Стихам не втиснешь в тихие томики
крик гнева.
Это внуки Колумбов,
Галилеев потомки
ржут, запутанные в серпантинный невод!





А там,
всхлобучась на вечер чинный,
женщины
раскачивались шляпой стопёрой.
И в клавиши тротуаров бухали мужчины,
уличных блудилищ остервенелые тапёры.

Вправо,
влево,
вкривь,
вкось,
выфрантив полей лоно,
вихрились нанизанные на земную ось
карусели
Вавилонищ,
Вавилончиков,
Вавилонов.

Над ними
бутыли,
восхищающие длиной.

Под ними
бокалы
пьяной ямой.
Люди
или валялись,
как упившийся Ной,
или грохотали мордой многохамой!

Нажрутся,
а после,
в ночной слепоте,
вывалясь мя́сами в пухе и вате,
сползутся друг на друге потеть,
города содрогая скрипом кроватей.

Гниет земля,
ламп огни ей
взрывают кору горой волдырей;
дрожа городов агони́ей,
люди мрут
у камня в дыре.

Врачи
одного
вынули из гроба,
чтоб понять людей небывалую убыль:
в прогрызанной душе
золотолапым микробом
вился рубль.

Во все концы,
чтоб скорее вызлить
смерть,
взбурлив людей крышам вровень,
сердец столиц тысячесильные Дизели
вогнали вагоны зараженной крови.

Тихие!
Недолго пожили.
Сразу
железо рельс всочило по жиле

в загар деревень городов заразу.
Где пели птицы — тарелок лязги.
Где бор был — площадь стодомым содомом.
Шестиэтажными фавнами ринулись в пляски
публичный дом за публичным домом.

Солнце подымет рыжую голову,
запекшееся похмелье на вспухшем рте,
и нет сил удержаться голому —
взять
не вернуться ночам в вертеп.

И еще не успеет
ночь, арапка,
лечь, продажная,
в отдых,
в тень, —
на нее
раскаленную тушу вскарабкал
новый голодный день.

В крыши зажатые!
Горсточка звезд,
ори!
Шарахайся испуганно, вечер-инок!
Идем!
Раздуем на самок
ноздри,
выеденные зубами кокаина!

ЧАСТЬ II

Это случилось в одну из осеней,
были
горюче-су́хи
все.
Металось солнце,
сумасшедший маляр,
оранжевым колером пыльных выпачкав.

Откуда-то
на землю
нахлынули слухи.
Тихие.
Заходили на цыпочках.

Их шепот тревогу в гру́ди выселил,
а страх
под черепом
рукой красной
распутывал, распутывал и распутывал мысли,
и стало невыносимо ясно:
если не собрать людей пучками рот,
не взять и не взрезать людям вены —
зараженная земля
сама умрет —
сдохнут Парижи,
Берлины,
Вены!

Чего размякли?!
Хныкать поздно!
Раньше б раскаянье осеняло!
Тысячеруким врачам
ланцетами роздано
оружье из арсеналов.

Италия!
Королю,
брадобрею ли
ясно —
некуда деться ей!
Уже сегодня
реяли
немцы над Венецией!

Германия!
Мысли,
музеи,
книги,
каньте в разверстые жерла.

Зевы зарев, оскальтесь нагло!
Бурши,
скачите верхом на Канте!
Нож в зубы!
Шашки нáголо!

Россия!
Разбойной ли Азии зной остыл?!
В крови желанья бурлят ордой.
Выволакивайте забившихся под Евангелие Толстых!
За ногу худую!
По камню бородой!

Франция!
Гони с бульваров любовный шепот!
В новые танцы — юношей выловить!
Слышишь, нежная?
Хорошо
под музыку митральезы жечь и насиловать!

Англия!
Турция!..
Т-р-а-а-ах!
Что это?
Послышалось!
Не бойтесь!
Ерунда!
Земля!
Смотри́те,
что по волосам ее?
Морщины окопов легли на чело!
Т-с-с-с-с-с... —
грохот.
Барабаны, музыка?
Неужели?
Она это,
она самая?
Да!
НАЧАЛОСЬ.

ЧАСТЬ III

Нерон!
Здравствуй!
Хочешь?
Зрелище величайшего театра.
Сегодня
бьются
государством в государство
16 отборных гладиаторов.

Куда легендам о бойнях Цезарей
перед былью,
которая теперь была!
Как на детском лице заря,
нежна ей
самая чудовищная гипербола.

Белкой скружишься у смеха в колесе,
когда узнает твой прах о том:
сегодня
мир
весь — Колизей,
и волны всех морей
по нем изостлались бархатом.

Трибуны — ска́лы,
и на скале там,
будто бой ей зубы выломил,
поднебесья соборов
скелет за скелетом
выжглись
и обнеслись перилами.

Сегодня
заревом в земную плешь она,
кровавя толп ропот,
в небо
люстрой подвешена
целая зажженная Европа.

Пришли,
расселись в земных долинах
гости
в страшном наряде.
Мрачно поигрывают на шеях длинных
ожерелья ядер.

Золото славян.
Черные мадьяр усы.
Негров непроглядные пятна.
Всех земных широт ярусы
вытолпила с головы до пят она.
И там,
где Альпы,
в закате грея,
выласкали в небе лед щеки, —
облаков галереей
нахохлились зоркие летчики.
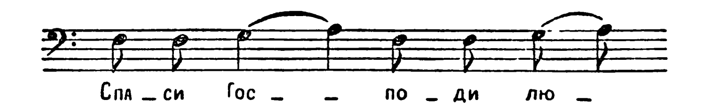
И когда
на арену
воины
вышли
парадными парами,
в версты шарахнув театром удвоенный
грохот и гром миллиардных армий, —
шар земной
полюсы стиснул
и в ожидании замер.
Седоволосые океаны
вышли из берегов,
впились в арену мутными глазами.
Пылающими сходнями
спустилось солнце —
суровый
вечный арбитр.
Выгорая от любопытства,
звезд глаза повылезли из орбит.

А секунда медлит и медлит.
Лень ей.

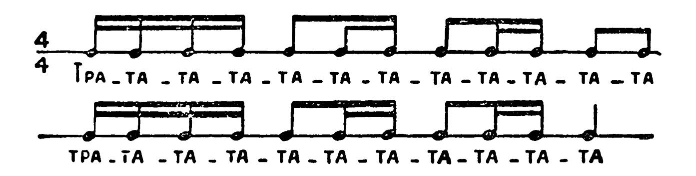
К началу кровавых игр,
напряженный, как совокупление,
не дыша, остановился миг.

Вдруг —
секунда вдребезги.
Рухнула арена дыму в дыру.
В небе — ни зги.
Секунды быстрились и быстрились —
взрывали,
ревели,
рвали.
Пеной выстрел на выстреле
огнел в кровавом вале.

Вперед!



Вздрогнула от крика грудь дивизий.
Вперед!
Пена у рта.
Разящий Георгий у знамен в девизе,
барабаны:



Бутафор!
Катафалк готовь!
Вдов в толпу!
Мало вдов еще в ней.

И взвился
в небо
фейерверк фактов,
один другого чудовищней.

Выпучив глаза,
маяк
из-за гор
через океаны плакал;
а в океанах
эскадры корчились,
насаженные мине на́ кол.

Дантова ада кошмаром намараннейи,
громоголосие меди грохотом изоржав,
дрожа за Париж,
последним
на Марне
ядром отбивается Жоффр.

С юга
Константинополь,
оскалив мечети,
выблевывал
вырезанных
в Босфор.
Волны!
Мечите их,
впившихся зубами в огрызки просфор.

Лес.
Ни голоса.
Даже нарочен
в своей тишине.
Смешались их и наши.
И только
проходят
во́роны да ночи,
в чернь облачась, чредой монашьей.

И снова,
грудь обнажая зарядам,
плывя по вёснам,
пробиваясь в зиме,
армия за армией,
ряд за рядом
заливают мили земель.

Разгорается.
Новых из дубров волок.
Огня пентаграмма в пороге луга.
Молниями колючих проволок
сожраны сожженные в уголь.

Батареи добела раскалили жару.
Прыгают по трупам городов и сёл.
Медными мордами жрут
всё.

Огневержец!
Где не найдешь, карая!
Впутаюсь ракете,
в небо вбегу —
с неба,
красная,
рдея у края,
кровь Пегу.

И тверди,
и воды,
и воздух взрыт.
Куда направлю опромети шаг?
Уже обезумевшая
уже навзрыд,
вырываясь, молит душа:

«Война!
Довольно!
Уйми ты их!
Уже на земле голо́».

Метнулись гонимые разбегом убитые,
и еще
минуту
бегут без голов.

А над всем этим
дьявол
зарево зевот дымит.
Это в созвездии железнодорожных линий
стоит
озаренное пороховыми заводами
небо в Берлине.

Никому не ведомо,
дни ли,
годы ли,
с тех пор как на́ поле
первую кровь войне о́тдали,
в чашу земли сцедив по капле.
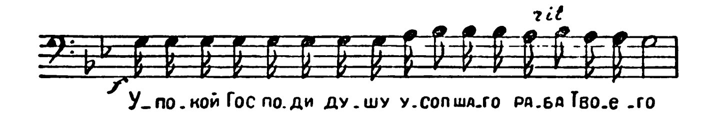
Одинаково —
камень,
болото,
халупа ли,
человечьей кровищей вымочили весь его.
Везде
шаги
одинаково хлюпали,
меся дымящееся мира ме́сиво.

В Ростове
рабочий
в праздничный отдых
захотел
воды для самовара выжать, —
и отшатнулся:
во всех водопроводах
сочилась та же рыжая жижа.
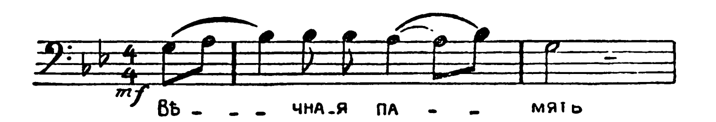
В телеграфах надрывались машины Морзе.
Орали городам об юных они.
Где-то

на Ваганькове
могильщик заерзал.
Двинулись факельщики в хмуром Мюнхене.

В широко развороченную рану полка
раскаленную лапу всунули прожекторы.
Подняли одного,
бросили в окоп —
того,
на ноже который!
Библеец лицом,
изо рва
ряса.
«Вспомните!
За ны!
При Понтийстем Пилате!»
А ветер ядер
в клочки изорвал
и мясо и платье.
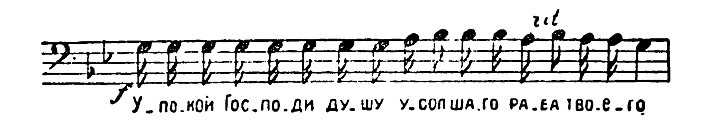


Выдернулась из дыма сотня голов.
Не сметь заплаканных глаз им!
Заволокло
газом.



Белые крылья выросли у души,
стон солдат в пальбе доносится.
«Ты на небо летишь, —
удуши,
удуши его,
победоносца».

Бьется грудь неровно...
Шутка ли!
К богу на́-дом!
У рая, в облака бронированного,
дверь расшибаю прикладом.

Трясутся ангелы.
Даже жаль их.
Белее перышек личика овал.
Где они —
боги!
«Бежали,
все бежали,
и Саваоф,
и Будда,
и Аллах,
и Иегова».



Ухало.
Ахало.
Охало.
Но уже не та канонада, —
повздыхала еще
и заглохла.
Вылезли с белым.
Взмолились:
— не надо! —

Никто не просил,
чтоб была победа
родине начертана.
Безрукому огрызку кровавого обеда
на чёрта она?!

Последний на штык насажен.
Наши отходят на Ковно,
на сажень
человечьего мяса нашинковано.

И когда затихли
все, кто напáдали,
лег
батальон на батальоне —
выбежала смерть
и затанцевала на падали,
балета скелетов безносая Тальони.

Танцует.
Ветер из-под носка.
Шевельнул папахи,
обласкал на мертвом два волоска,
и дальше —
попахивая.

Пятый день
в простреленной голове
поезда выкручивают за изгибом изгиб.
В гниющем вагоне
на сорок человек —
четыре ноги.

ЧАСТЬ IV

Эй!
Вы!
Притушите восторженные глазенки!
Лодочки ручек суньте в карман!
Это
Достойная награда
за выжатое из бумаги и чернил.

А мне за что хлопать?
Я ничего не сочинил.

Думаете:
врет!

Нигде не прострелен.
В целехоньких висках биенья не уладить,
если рукоплещут
его барабанов трели,
его проклятий рифмованной руладе.

Милостивые государи!
Понимаете вы?
Боль берешь,
растишь и растишь ее:
всеми пиками истыканная грудь,
всеми газами свороченное лицо,
всеми артиллериями громимая цитадель
головы —
каждое мое четверостишие.

Не затем
взвела
по насыпям тел она,
чтоб, горестный,
сочил заплаканную гнусь;
страшной тяжестью всего, что сделано,
без всяких
«красиво»,
прижатый, гнусь.

Убиты —
и все равно мне, —
я или он их
убил.
На братском кладби́ще,
у сердца в яме,
легли миллионы, —
гниют,
шеве́лятся, приподымаемые червями!

Нет!
Не стихами!
Лучше
язык узлом завяжу,
чем разговаривать.

Этого
стихами сказать нельзя.
Выхоленным ли языком поэта
горящие жаровни лизать!

Эта!
В руках!
Смотрите!
Это не лира вам!
Раскаяньем вспоротый,
сердце вырвал —
рву аорты!

В кашу рукоплесканий ладош не вме́сите!
Нет!
Не вме́сите!
Рушься, комнат уют!
Смотрите,
под ногами камень.
На лобном месте стою.
Последними глотками
воздух...

Вытеку, срубленный,
но кровью выем
имя «убийца»,
выклейменное на человеке.
Слушайте!
Из меня
слепым Вием
время орет:
«Подымите,
подымите мне
веков веки!»

Вселенная расцветет еще,
радостна,
нова.
Чтоб не было бессмысленной лжи за ней,
каюсь:
я

один виноват
в растущем хрусте ломаемых жизней!

Слышите —
солнце первые лучи выдало,
еще не зная,
куда,
отработав, денется, —
это я,
Маяковский,
подножию идола
нес
обезглавленного младенца.

Простите!

В христиан зубов резцы
вонзая,
львы вздымали рык.
Вы думаете — Нерон?
Это я,
Маяковский
Владимир,
пьяным глазом обволакивал цирк.

Простите меня!

Воскрес Христос.
Свили
одной любовью
с устами уста вы;
Маяковский
еретикам
в подземельи Севильи
дыбой выворачивал суставы.

Простите,
простите меня!

Дни!
Вылазьте из годов лачуг!

Какой раскрыть за собой
еще?
Дымным хвостом по векам волочу
оперенное пожарами побоище!

Пришел.

Сегодня
не немец,
не русский,
не турок, —
это я
сам,
с живого сдирая шкуру,
жру мира мясо.
Тушами на штыках материки.
Города — груды глиняные.

Кровь!
Выцеди из твоей реки
хоть каплю,
в которой невинен я!

Нет такой!
Этот
выколотыми глазами —
пленник,
мною меченный.
Я,
в поклонах разбивший колени,
голодом выглодал зе́мли неметчины.

Мечу пожаров рыжие пряди.
Волчьи щетинюсь из темени ям.
Люди!
Дорогие!
Христа ради,
ради Христа
простите меня!

Нет,
не подыму искаженного тоской лица!
Всех окаяннее,
пока не расколется,
буду лоб разбивать в покаянии!

Встаньте,
ложью верженные ниц,
оборванные войнами
калеки лет!
Радуйтесь!
Сам казнится
единственный людоед.

Нет,
не осужденного выдуманная хитрость!
Пусть с плахи не соберу разодранные части я, —

все равно
всего себя вытряс,
один достоин
новых дней приять причастие.

Вытеку срубленный,
и никто не будет —
некому будет человека мучить.
Люди родятся,
настоящие люди,
бога самого милосердней и лучше.

ЧАСТЬ V

А может быть,
больше
у времени-хамелеона
и красок никаких не осталось.
Дернется еще
и ляжет,

бездыхан и угловат.
Может быть,
дымами и боями охмеленная,
никогда не подымется земли голова.

Может быть...

Нет,
не может быть!
Когда-нибудь да выстеклится мыслей омут,
когда-нибудь да увидит, как хлещет из тел ала́.
Над вздыбленными волосами руки заломит,
выстонет:
«Господи,
что я сделала!»
Нет,
не может быть!
Грудь,
срази отчаянья лавину.
В грядущем счастье вырыщи ощупь.
Вот,
хотите,
из правого глаза
выну
целую цветущую рощу?!
Птиц причудливых мысли ройте.
Голова,
закинься восторженна и горда.
Мозг мой,
веселый и умный строитель,
строй города!

Ко всем,
кто зубы еще
злобой выщемил,
иду
в сияющих глаз заре.
Земля,
встань
тыщами
в ризы зарев разодетых Лазарей!

И радость,
радость! —
сквозь дымы
светлые лица я
вижу.
Вот,
приоткрыв помертвевшее око,
первая
приподымается Галиция.
В травы вкуталась ободранным боком.

Кинув ноши пушек,
выпрямились горбатые,
кровавленными сединами в небо канув,
Альпы,
Балканы,
Кавказ,
Карпаты.

А над ними,
выше еще —
двое великанов.
Встал золототелый,
молит:
«Ближе!
К тебе с изрытого взрывами дна я».
Это Рейн
размокшими губами лижет
иссеченную миноносцами голову Дуная.

До колоний, бежавших за стены Китая,
до песков, в которых потеряна Персия,
каждый город,
ревевший,
смерть кидая, —
теперь сиял.

Шепот.
Вся земля
черные губы разжала.

Громче.
Урагана ревом
вскипает.
«Клянитесь,
больше никого не ско́сите!»
Это встают из могильных курганов,
мясом обрастают хороненные кости.

Было ль,
чтоб срезанные ноги
искали б
хозяев,
оборванные головы звали по имени?
Вот
на череп обрубку
вспрыгнул скальп,
ноги подбежали,
живые под ним они.

С днищ океанов и морей,
на реях,
оживших утопших выплыли залежи.
Солнце!
В ладонях твоих изогрей их,
лучей языками глаза лижи!
В старушье лицо твое
смеемся,
время!
Здоровые и целые вернемся в семьи!
Тогда
над русскими,
над болгарами,
над немцами,
над евреями,
над всеми
под тверди небес,
от зарев алой,
ряд к ряду,
семь тысяч цветов засияло
из тысячи разных радуг.

По обрывкам народов,
по банде рассеянной
эхом раскатилось
растерянное
«А-ах!..»
День раскрылся такой,
что сказки Андерсена
щенками ползали у него в ногах.

Теперь не верится,
что мог идти
в сумерках уличек, темный, шаря.
Сегодня
у капельной девочки
на ногте мизинца
солнце больше,
чем раньше на всем земном шаре.

Большими глазами землю обводит
человек.
Растет,
главою гор достиг.
Мальчик
в новом костюме
— в свободе своей —
важен,
даже смешон от гордости.

Как священники,
чтоб помнили об искупительной драме,
выходят с причастием, —
каждая страна
пришла к человеку со своими дарами:

«На».

«Безмерной Америки силу несу тебе,
мощь машин!»

«Неаполя теплые ночи дарю,
Италия.
Палимый,
пальм веерами маши».

«В холоде севера мерзнущий,
Африки солнце тебе!»

«Африки солнцем сожженный,
тебе,
со своими снегами,
с гор спустился Тибет!»

«Франция,
первая женщина мира,
губ принесла алость».

«Юношей — Греция,
лучшие телом нагим они».

«Чьих голосов мощь
в песни звончее сплеталась?!
Россия
сердце свое
раскрыла в пламенном гимне!»

«Люди,
веками граненную
Германия
мысль принесла».

«Вся
до недр напоенная золотом,
Индия
дары принесла вам!»

«Славься, человек,
во веки веков живи и славься!
Всякому,

живущему на земле,
слава,
слава,
слава!»

Захлебнешься!
А тут и я еще.
Прохожу осторожно,
огромен,
неуклюж.
О, как великолепен я
в самой сияющей
из моих бесчисленных душ!

Мимо поздравляющих,
праздничных мимо я,
— проклятое,
да не колотись ты! —
вот она
навстречу.

«Здравствуй, любимая!»

Каждый волос выласкиваю,
вьющийся,
золотистый.
О, какие ветры,
какого юга,
свершили чудо сердцем погребенным?
Расцветают глаза твои,
два луга!
Я кувыркаюсь в них,
веселый ребенок.

А кругом!
Смеяться.
Флаги.
Стоцветное.
Мимо.
Вздыбились.
Тысячи.

Насквозь.
Бегом.
В каждом юноше порох Маринетти,
в каждом старце мудрость Гюго.

Губ не хватит улыбке столицей.
Все
из квартир
на площади
вон!
Серебряными мячами
от столицы к столице
раскинем веселие,
смех,
звон!

Не поймешь —
это воздух,
цветок ли,
птица ль!
И поет,
и благоухает,
и пестрое сразу,—
но от этого
костром разгораются лица
и сладчайшим вином пьянеет разум.
И не только люди
радость личью
расцветили,
звери франтовато завили руно,
вчера бушевавшие
моря,
мурлыча,
легли у ног.

Не поверишь,
что плыли,
смерть изрыгав, они.
В трюмах,



Л. Ю. БРИК

Рисунок В. Маяковского. 1916 г.

навек забывших о порохе,
броненосцы
провозят в тихие гавани
всякого вздора яркие ворохи.

Кому же страшны пушек шайки —
эти,
кроткие,
рвут?
Они
перед домом,
на лужайке,
мирно щиплют траву.

Смотрите,
не шутка,
не смех сатиры —
средь бела дня,
тихо,
попарно,
цари-задиры
гуляют под присмотром нянь.

Земля,
откуда любовь такая нам?
Представь —
там
под деревом
видели
с Каином
играющего в шашки Христа.

Не видишь,
прищурилась, ищешь?
Глазенки — щелки две.
Шире!
Смотри,
мои глазища —
всем открытая собора дверь.

Люди! —
любимые,
нелюбимые,
знакомые,
незнакомые,
широким шествием излейтесь в двери те.
И он,
свободный,
ору о ком я,
человек —
придет он,
верьте мне,
верьте!

[*1915—1916*]

ЧЕЛОВЕК

Священнослужителя мира, отпустителя всех грехов, — солнца ладонь на голове моей.

Благочестивейшей из монашествующих — ночи облачение на плечах моих.

Дней любви моей тысячелистое Евангелие целую.

Звенящей болью любовь замоля,
душой
иное шествие чающий,
слышу
твое, земля:
«Ныне отпущаеши!»

В ковчеге ночи,
новый Ной,
я жду —
в разливе риз
сейчас придут,
придут за мной
и узел рассекут земной
секирами зари.
Идет!
Пришла.
Раскуталась.
Лучи везде!
Скребут они.
Запели петли утло,
и тихо входят будни
с их шелухою сутолок.

Солнце снова.

Зовет огневых воевод.
Барабанит заря,
и туда,
за земную грязь вы!
Солнце!
Что ж,
своего
глашатая
так и забудешь разве?

РОЖДЕСТВО МАЯКОВСКОГО

Пусть, науськанные современниками, пишут глупые историки: «Скушной и неинтересной жизнью жил замечательный поэт».

Знаю,
не призовут мое имя
грешники,
задыхающиеся в аду.
Под аплодисменты попов
мой занавес не опустится на Голгофе.
Так вот и буду
в Летнем саду
пить мой утренний кофе.

В небе моего Вифлеема
никаких не горело знаков,
никто не мешал
могилами
спать кудроголовым волхвам.
Был абсолютно как все
— до тошноты одинаков —
день
моего сошествия к вам.
И никто
не догадался намекнуть
недалекой
неделикатной звезде:

«Звезда — мол —
лень сиять напрасно вам!
Если не
человечьего рождения день,
то чёрта ль,
звезда,
тогда еще
праздновать?!»

Суди́те:
говорящую рыбёшку
выудим нитями невода
и поем,
поем золотую,
воспеваем рыбачью удаль.
Как же
себя мне не петь,
если весь я —
сплошная невидаль,
если каждое движение мое —
огромное,
необъяснимое чудо.

Две стороны обойдите.
В каждой
дивитесь пятилучию.
Называется «Руки».
Пара прекрасных рук!
Заметьте:
справа налево двигать могу
и слева направо.
Заметьте:
лучшую
шею выбрать могу
и обовьюсь вокруг.

Че́репа шкатулку вскройте —
сверкнет
драгоценнейший ум.

Есть ли,
чего б не мог я!
Хотите,
новое выдумать могу
животное?
Будет ходить
двухвостое
или треногое.
Кто целовал меня —
скажет,
есть ли
слаще слюны моей со́ка.
Покоится в нем у меня
прекрасный
красный язык.
«О-го-го» могу —
зальется высо́ко, высо́ко.
«О-ГО-ГО» могу —
и — охоты поэта сокол —
голос
мягко сойдет на низы.
Всего не сочтешь!
Наконец,
чтоб в лето
зи́мы,
воду в вино превращать чтоб мог —
у меня
под шерстью жилета
бьется
необычайнейший комок.
Ударит вправо — направо свадьбы.
Налево грохнет — дрожат мира́жи.
Кого еще мне
любить устлать бы?
Кто ляжет
пьяный,
ночами ряжен?

Прачечная.
Прачки.
Много и мокро.

Радоваться, что ли, на мыльные пузыри?
Смотрите,
исчезает стоногий окорок!
Кто это?
Дочери неба и зари?

Булочная.
Булочник.
Булки выпек.
Что булочник?
Мукой измусоленный ноль.
И вдруг
у булок
загибаются грифы скрипок.
Он играет.
Всё в него влюблено.

Сапожная.
Сапожник.
Прохвост и нищий.
Надо
на сапоги
какие-то головки.
Взглянул —
и в арфы распускаются голенища.
Он в короне.
Он принц.
Веселый и ловкий.

Это я
сердце флагом пóднял.
Небывалое чудо двадцатого века!

И отхлынули паломники от гроба господня.
Опустела правоверными древняя Мекка.

ЖИЗНЬ МАЯКОВСКОГО

Ревом встревожено логово банкиров, вельмож и дожей.
Вышли
латы,
золото тенькая.

«Если сердце всё,
то на что,
на что же
вас нагреб, дорогие деньги, я?
Как смеют петь,
кто право дал?
Кто дням велел июлиться?
Заприте небо в провода!
Скрутите землю в улицы!
Хвалился:
«Руки?!»
На ружье ж!
Ласкался днями летними?
Так будешь —
весь! —
колюч, как еж.
Язык оплюйте сплетнями!»

Загнанный в земной загон,
влеку дневное иго я.
А на мозгах
верхом
«Закон»,
на сердце цепь —
«Религия».

Полжизни прошло, теперь не вырвешься.
Тысячеглаз надсмотрщик, фонари, фонари, фонари...
Я в плену.
Нет мне выкупа!
Оковала земля окаянная.

Я бы всех в любви моей выкупал,
да в дома обнесен океан ее!

Кричу...
и чу!
ключи звучат!
Тюремщика гримаса.
Бросает
с острия луча
клочок гнилого мяса.

Под хохотливое
«Ага!»
бреду́ по бре́ду жара.
Гремит,
приковано к ногам,
ядро земного шара.

Замкнуло золото ключом
глаза.
Кому слепого весть?
Навек
теперь я
заключен
в бессмысленную повесть!

Долой высоких вымыслов бремя!
Бунт
муз обреченного данника.
Верящие в павлинов
— выдумка Брэма! —
верящие в розы
— измышление досужих ботаников! —
мое
безупречное описание земли
передайте из рода в род.

Рвясь из меридианов,
атласа арок,
пенится,
звенит золотоворот

франков,
долларов,
рублей,
крон,
иен,
марок.

Тонут гении, курицы, лошади, скрипки.
Тонут слоны.
Мелочи тонут.
В горлах,
в ноздрях,
в ушах звон его липкий.
«Спасите!»
Места нет недоступного стону.

А посредине,
обведенный невозмутимой каймой,
целый остров расцветоченного ковра.
Здесь
живет
Повелитель Всего —
соперник мой,
мой неодолимый враг.
Нежнейшие горошинки на тонких чулках его.
Штанов франтовских восхитительны полосы.
Галстук,
выпестренный ахово,
с шеищи
по глобусу пуза расползся.

Гибнут кругом.
Но, как в небо бурав,
в честь
твоего — сиятельный — сана:
Бр-р-а-во!
Эвива!
Банзай!
Ура!

Гох!
Гип-гип!
Вив!
Осанна!

Пророков могущество в громах винят.
Глупые!
Он это
читает Локка!
Нравится.
От смеха
на брюхе
звенят,
молнятся целые цепи брелоков.
Онемелые
стоим
перед делом эллина.
Думаем:
«Кто бы,
где бы,
когда бы?»
А это
им
покойному Фидию·велено:
«Хочу,
чтоб из мрамора
пышные бабы».

Четыре часа —
прекрасный повод:
«Рабы,
хочу отобедать заново!»
И бог
— его проворный повар —
из глин
сочиняет мясо фазаново.
Вытянется,
самку в любви олелеяв.
«Хочешь
бесценнейшую из звездного скопа?»

И вот
для него
легион Галилеев
елозит по звездам в глаза телескопов.

Встрясывают революции царств тéльца,
меняет погонщиков человечий табун,
но тебя,
некоронованного сердец владельца,
ни один не трогает бунт!

СТРАСТИ МАЯКОВСКОГО

Слышите?
Слышите лошажье ржанье?
Слышите?
Слышите вопли автомобильи?
Это идут,
идут горожане
выкупаться в Его обилии.

Разлив людей.
Затерся в люд,
расстроенный и хлюпкий.
Хватаюсь за уздцы.
Ловлю
за фалды и за юбки.

Что это?
Ты?
Туда же ведома?!
В святошестве изолгалáсь!
Как красный фонарь у публичного дома,
кровав
налившийся глаз.

Зачем тебе?
Остановись!
Я знаю радость слаже!

Надменно лес ресниц навис.
Остановись!
Ушла уже...

Там, возносясь над головами, Он.

Череп блестит,
Хоть надень его на́ ноги,
безволосый,
весь рассиялся в лоске.
Только
у пальца безымянного
на последней фаланге
три
из-под бриллианта —
выщетинились волосики.

Вижу — подошла.
Склонилась руке.
Губы волосикам,
шепчут над ними они,
«Флейточкой» называют один,
«Облачком» — другой,
третий — сияньем неведомым
какого-то,
только что
мною творимого имени.

ВОЗНЕСЕНИЕ МАЯКОВСКОГО

Я сам поэт. Детей учите: «Солнце встает над ковылями». С любовного ложа из-за Его волосиков любимой голова.

Глазами взвила ввысь стрелу.
Улыбку убери твою!
А сердце рвется к выстрелу,
а горло бредит бритвою.
В бессвязный бред о демоне
растет моя тоска.

Идет за мной,
к воде манит,
ведет на крыши скат.
Снега кругом.
Снегов налет.
Завьются и замрут.
И падает
— опять! —
на лед
замерзший изумруд.
Дрожит душа.
Меж льдов она,
и ей из льдов не выйти!
Вот так и буду,
заколдованный,
набережной Невы идти.
Шагну —
и снова в месте том.
Рванусь —
и снова зря.

Воздвигся перед носом дом.
Разверзлась за оконным льдом
пузатая заря.

Туда!

Мяукал кот.
Коптел, горя,
ночник.
Звонюсь в звонок.
Аптекаря!
Аптекаря!
Повис на палки ног.

Выросли,
спутались мысли,
оленьи
рога.

Плачем марая
пол,
распластался в моленьи
о моем потерянном рае.

Аптекарь!
Аптекарь!
Где
до конца
сердце тоску изноет?
У неба ль бескрайнего в нивах,
в бреде ль Сахар,
у пустынь в помешанном зное
есть приют для ревнивых?
За стенками склянок столько тайн.
Ты знаешь высшие справедливости.
Аптекарь,
дай
душу
без боли
в просторы вывести.

Протягивает.
Череп.
«Яд».
Скрестилась кость на кость.

Кому даешь?
Бессмертен я,
твой небывалый гость.
Глаза слепые,
голос нем,
и разум запер дверь за ним,
так что ж
— еще! —
нашел во мне,
чтоб ядом быть растерзанным?

Мутная догадка по глупому пробрела.
В окнах зеваки.
Дыбятся волоса.

И вдруг я
плавно оплываю прилавок.
Потолок отверзается сам.

Визги.
Шум.
«Над домом висит!»
Над домом вишу.

Церковь в закате.
Крест огарком.
Мимо!
Ле́са верхи.
Вороньём окаркан.
Мимо!

Студенты!
Вздор
все, что знаем и учим!
Физика, химия и астрономия — чушь.
Вот захотел
и по тучам
лечу ж.

Всюду теперь!
Можно везде мне.
Взбурься, баллад поэтовых типа.
Пойте теперь
о новом — пойте — Демоне
в американском пиджаке
и блеске желтых ботинок.

МАЯКОВСКИЙ В НЕБЕ

Стоп!

Скидываю на тучу
вещей
и тела усталого
кладь.

Благоприятны места, в которых доселе
не был.

Оглядываюсь.
Эта вот
зализанная гладь —
это и есть хваленое небо?

Посмотрим, посмотрим!

Искрило,
сверкало,
блестело,
и
шорох шел —
облако
или
бестелые
тихо скользили.

«Если красавица в любви клянется. .»

Здесь,
на небесной тверди
слышать музыку Верди?
В облаке скважина.
Заглядываю —
ангелы поют.
Важно живут ангелы.
Важно.

Один отделился
и так любезно
дремотную немоту расторг:
«Ну, как вам,
Владимир Владимирович,
нравится бездна?»
И я отвечаю так же любезно:
«Прелестная бездна.
Бездна — восторг!»

Раздражало вначале:
нет тебе
ни угла ни одного,
ни чаю,
ни к чаю газет.
Постепенно вживался небесам в уклад.
Выхожу с другими глазеть,
не пришло ли новых.
«А, и вы!»
Радостно обнял.
«Здравствуйте, Владимир Владимирович!»
«Здравствуйте, Абрам Васильевич!
Ну, как кончались?
Ничего?
Удобно ль?»

Хорошие шуточки, а?

Понравилось.
Стал стоять при въезде.
И если
знакомые
являлись, умирав,
сопровождал их,
показывая в рампе созвездий
величественную бутафорию миров.

Центральная станция всех явлений,
путаница штепселей, рычагов и ручек.
Вот сюда
— и миры застынут в лени —
вот сюда
— завертятся шибче и круче.
«Крутните, — просят, —
да так, чтоб вымер мир.
Что им?
Кровью поля поливать?»
Смеюсь горячности.
«Шут с ними!
Пусть поливают,
плевать!»

Главный склад всевозможных лучей.
Место выгоревшие звезды кидать.
Ветхий чертеж
— неизвестно чей —
первый неудавшийся проект кита.

Серьезно.
Занято.
Кто тучи чи́нит,
кто жар надбавляет солнцу в пе́чи.
Всё в страшном порядке,
в покое,
в чине.
Никто не толкается.
Впрочем, и нечем.

Сперва ругались.
«Шатается без дела!»
Я для сердца,
а где у бестелых сердца?!
Предложил им:
«Хотите,
по облаку
телом
развалюсь
и буду всех созерцать».

«Нет, — говорят, — это нам не подходит!»
«Ну, не подходит — как знаете! Мое дело предложить».

Кузни времен вздыхают меха —
и новый
год
готов.
Отсюда
низвергается, громыхая,
страшный оползень годов.

Я счет не веду неделям.
Мы,
хранимые в рамах времен,
мы любовь на дни не делим,
не меняем любимых имен.

Стих.
Лучам луны на мéли
слег,
волнение снами сморя.
Будто на пляже южном,
только еще онемелей,
и по мне,
насквозь излаская,
катятся вечности моря.

ВОЗВРАЩЕНИЕ МАЯКОВСКОГО

1, 2, 4, 8, 16, тысячи, миллионы.

Вставай,
довольно!
На солнце очи!
Доколе будешь распластан, нем?

Бурчу спросонок:
«Чего грохочут?
Кто смеет сердцем шуметь во мне?»

Утро,
вечер ли?
Ровен белесый свет небес.

Сколько их,
веков,
успело уйти,
в дребезги дней разбилось о даль...
Думаю,
глядя на млечные пути, —
не моя седая развеялась борода ль?

Звезды падают.
Стал глаза вести.
Ишь
туда,
на землю, быстрая!

Проснулись в сердце забытые зависти,
а мозг
досужий
фантазию выстроил.
— Теперь
на земле,
должно быть, ново.
Пахучие вёсны развесили в селах.
Город каждый, должно быть, иллюминован.
Поет семья краснощеких и веселых.

Тоска возникла.
Резче и резче.
Царственно туча встает,
дальнее вспыхнет облако,
все мне мерещится
близость
какого-то земного облика.

Напрягся,
ищу
меж другими точками
землю.

Вот она!

Въелся.
Моря различаю,
горы в орлином клёкоте...

Рядом отец.
Такой же.
Только на ухо больше туг,
да поистерся
немного

на локте
форменный лесничего сюртук.

Раздражает.
Тоже
уставился наземь.
Какая старому мысль ясна?
Тихо говорит:
«На Кавказе,
вероятно, весна».

Бестелое стадо,
ну и тоску ж оно
гонит!

Взбу́бнилась злоба апаша.

Папаша,
мне скушно!
Мне скушно, папаша!
Глупых поэтов небом ма̀ните,
вырядились
звезд ордена!
Солнце!
Чего расплескалось мантией?
Думаешь — кардинал?
Довольно лучи обсасывать в спячке.
За мной!
Все равно без ножек —
чего вам пачкать?!
И галош не понадобится в гря́зи земной.

Звезды!
Довольно
мученический плести
венок
земле!
Озакатили красным.
Кто там
крылами
к земле блестит?

Заря?
Стой!
По дороге как раз нам.

То перекинусь радугой,
то хвост завью кометою.
Чего пошел играть дугой?
Какую жуть в кайме таю?

Показываю
мирам
номера
невероятной скорости.
Дух
бездомный давно
полон дум о давних
днях.
Земных полушарий горсти
вижу —
лежат города в них.

Отдельные голоса различает ухо.

Взмахах в ста.

«Здравствуй, старуха!»
Поскользнулся в асфальте.
Встал.

То-то удивятся не ихней силище
путешественника неб.

Голоса:
«Смотрите,
должно быть, красильщик
с крыши.
Еще удачно!
Тяжелый хлеб».

И снова
толпа
в поводу у дела,
громоголосый катился день ее.

О, есть ли
глотка,
чтоб громче вгудела
— города громче —
в его гудение.

Кто схватит улиц рвущийся вымах!
Кто может распутать тоннелей подкопы!
Кто их остановит,
по воздуху
в дымах
аэропланами буравящих копоть!

По скату экватора
Из Чикаг
сквозь Тамбовы
катятся рубли.
Вытянув выи,
гонятся все,
телами утрамбовывая
горы,
моря,
мостовые.

Их тот же лысый
невидимый водит,
главный танцмейстер земного канкана.
То в виде идеи,
то чёрта вроде,
то богом сияет, за облако канув.

Тише, философы!
Я знаю —
не спорьте —
зачем источник жизни дарен им.
Затем, чтоб рвать,
затем, чтоб портить
дни листкам календарным.

Их жалеть!
А меня им жаль?
Сожрали бульвары,

сады,
предместья!
Антиквар?
Покажите!
Покупаю кинжал.

И сладко чувствовать,
что вот
пред местью я.

МАЯКОВСКИЙ ВЕКАМ

Куда я,
зачем я?
Улицей сотой
мечусь
человечьим
разжужженным ульем.

Глаза пролетают оконные соты,
и тяжко,
и чуждо,
и мёрзко в июле им.

Витрины и окна тушит
город.

Устал и сник.

И только
туч выпотрашивает туши
кровавый закат-мясник.

Слоняюсь.
Мост феерический.
Влез.
И в страшном волненьи взираю с него я.

Стоял, вспоминаю.
Был этот блеск.
И это
тогда
называлось Невою.

Здесь город был.
Бессмысленный город,
выпутанный в дымы трубного леса.
В этом самом городе
скоро
ночи начнутся,
остекленелые,
белесые.

Июлю капут.
Обезночел загретый.
Избредился в шепот чего-то сквозного.
То видится крест лазаретной кареты,
то слышится выстрел.
Умолкнет —
и снова.

Я знаю,
такому, как я,
накалиться
недолго,
конечно,
но все-таки дико,
когда не фонарные тыщи,
а лица.
Где было подобие этого тика?

И вижу, над домом
по риску откоса
лучами идешь,
собираешь их в копны.
Тянусь,
но туманом ушла из-под носа.

И снова стою
онемелый и вкопанный.
Гуляк полуночных толпа раскололась,
почти что чувствую запах кожи,
почти что дыханье,
почти что голос,
я думаю — призрак,
он взял, да и ожил.

Рванулась,
вышла из воздуха уз она.
Ей мало
— одна! —
раскинулась в шествие.
Ожившее сердце шарахнулось грузно.
Я снова земными мученьями узнан.
Да здравствует
— снова! —
мое сумасшествие!

Фонари вот так же врезаны были
в середину улицы.
Дома похожи.
Вот так же,
из ниши,
головы кобыльей
вылеп.

— Прохожий!
Это улица Жуковского?

Смотрит,
как смотрит дитя на скелет,
глаза вот такие,
старается мимо.

«Она — Маяковского тысячи лет:
он здесь застрелился у двери любимой».
Кто,
я застрелился?
Такое загнут!

Блестящую радость, сердце, вычекань!
Окну
лечу.
Небес привычка.

Высо́ко.
Глубже ввысь зашел
за этажем этаж.
Завесилась.
Смотрю за шелк —
все то же,
спальня та ж.

Сквозь тысячи лет прошла — и юна.
Лежишь,
волоса́ луною высиня.
Минута...
и то,
что было — луна,
Его оказалась голая лысина.

Нашел!

Теперь пускай поспят.
Рука,
кинжала жало стисны!
Крадусь,
приглядываюсь —
и опять!
люблю
и вспять
иду в любви и в жалости.

Доброе утро!

Зажглось электричество.
Глаз два выката.
«Кто вы?» —
«Я Николаев
— инженер.

Это моя квартира.
А вы кто?
Чего пристаете к моей жене?»

Чужая комната.
Утро дрогло.
Трясясь уголками губ,
чужая женщина,
раздетая догола.

Бегу.

Растерзанной тенью,
большой,
косматый,
несусь по стене,
луной облитый.
Жильцы выбегают, запахивая халаты.
Гремлю о плиты.
Швейцара ударами в угол загнал.
«Из сорок второго
куда ее дели?» —
«Легенда есть:
к нему
из окна.
Вот так и валялись
тело на теле».

Куда теперь!
Куда глаза
глядят.
Поля?
Пускай поля!
Траля-ля, дзин-дза,
тра-ля-ля, дзин-дза,
тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля!

Петлей на шею луч накинь!
Сплетусь в палящем лете я!
Гремят на мне
наручники,
любви тысячелетия...

Погибнет все.
Сойдет на нет.
И тот,
кто жизнью движет,
последний луч
над тьмой планет
из солнц последних выжжет.
И только
боль моя
острей —
стою,
огнем обвит,
на несгорающем костре
немыслимой любви.

ПОСЛЕДНЕЕ

Ширь,
бездомного
снова
лоном твоим прими!
Небо какое теперь?
Звезде какой?
Тысячью церквей
подо мной
затянул
и тянет мир:
«Со святыми упокой!»

[1916—1917]

СТАТЬИ

(1913—1915)

ТЕАТР, КИНЕМАТОГРАФ, ФУТУРИЗМ

Милостивые государи и милостивые государыни!

Великая ломка, начатая нами во всех областях красоты во имя искусства будущего — искусства футуристов, не остановится, да и не может остановиться, перед дверью театра.

Ненависть к искусству вчерашнего дня, к неврастении, культивированной краской, стихом, рампой, ничем не доказанной необходимостью выявления крошечных переживаний уходящих от жизни людей, заставляет меня выдвигать в доказательство неизбежности признания наших идей не лирический пафос, а точную науку, исследование взаимоотношений искусства и жизни.

Презрение же к существующим «журналам искусства», как например «Аполлон», «Маски», где на сером фоне бессмысленности, как сальные пятна, плавают запутанные иностранные термины, заставляет меня испытывать настоящее удовольствие от помещения моей речи в специальном техническом кинематографическом журнале.

Сегодня я выдвигаю два вопроса:

1) Искусство ли современный театр? и 2) Может ли современный театр выдержать конкуренцию кинематографа?

Город, напоив машины тысячами лошадиных сил, впервые дал возможность удовлетворить материальные потребности мира в какие-нибудь 6—7 часов ежедневного труда, а интенсивность, напряженность

современной жизни вызвали громадную необходимость в свободной игре познавательных способностей, каковой является искусство.

Этим объясняется мощный интерес сегодняшнего человека к искусству.

Но если разделение труда вызвало к жизни обособленную группу работников красоты; если, например, художник, бросив выписывать «прелести пьяных метресс», уходит к широкому демократическому искусству, он должен дать обществу ответ, при каких условиях его труд из индивидуально необходимого становится общественно полезным.

Художник, объявив диктатуру глаза, имеет право на существование. Утвердив цвет, линию, форму как самодовлеющие величины, живопись нашла вечный путь к развитию. Нашедшие, что слово, его начертание, его фоническая сторона определяют расцвет поэзии, имеют право на существование. Это — нашедшие пути к вечному процветанию стиха поэты.

Но театр, служивший до нашего прихода только искусственным прикрытием для всех видов искусства, имеет ли право на самостоятельное существование под венком особого искусства?

Современный театр обстановочен, но его обстановка — это продукт декоративной работы художника, только забывшего свою свободу и унизившего себя до утилитарного взгляда на искусство.

Следовательно, с этой стороны театр может выступить только некультурным поработителем искусства.

Вторая половина театра — «Слово». Но и здесь наступление эстетического момента обусловливается не внутренним развитием самого слова, а применением его как средства к выражению случайных для искусства моральных или политических идей [1].

И здесь современный театр выступает только поработителем слова и поэта.

---

[1] Так, например, мнимый расцвет театра за последние 10—15 лет (Художественный) объясняется только временным общественным подъемом («На дне», «Пер-Гюнт»), так как мелкоидейные пьесы, пожив несколько часов, умирают для репертуара. (*Прим. автора.*)

Значит, до нашего прихода театр как самостоятельное искусство не существовал. Но можно ли найти в истории хоть какие-нибудь следы на возможность его утверждения? Конечно, да!

Театр шекспировский не имел декорации. Невежественная критика объясняла это незнакомством с декоративным искусством.

Разве это время не было величайшим развитием живописного реализма. А театр Обераммергау ведь не сковывает слова кандалами вписанных строк.

Все эти явления могут быть объяснимы только как предчувствие особого искусства актера, где интонация даже не имеющего определенного значения слова и выдуманные, но свободные в ритме движения человеческого тела выражают величайшие внутренние переживания.

Это будет новое свободное искусство актера.

В настоящее же время, передавая фотографическое изображение жизни, театр впадает в следующее противоречие:

Искусство актера, по существу динамическое, сковывается мертвым фоном декорации,— это колющее противоречие уничтожает кинематограф, стройно фиксирующий движения настоящего.

Театр сам привел себя к гибели и должен передать свое наследие кинематографу. А кинематограф, сделав отраслью промышленности наивный реализм и художественность с Чеховым и Горьким, откроет дорогу к театру будущего, нескованному искусству актера.

[*1913*]

УНИЧТОЖЕНИЕ КИНЕМАТОГРАФОМ «ТЕАТРА» КАК ПРИЗНАК ВОЗРОЖДЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Милостивые государи и милостивые государыни!

Утвердив в своей прошлой речи положение: победа кинематографа обеспечена, ибо она — логическое следствие всего современного театрального искусства, доведшего до крайности обстановочный реализм наивных драматургов, я поставлен в необходимость ответить сегодня на новый предъявленный мне вопрос: «Как могу я, артист, приветствовать воцарение бездушной машины там, где еще вчера волновалась «трепетная» рука художника». Ведь говорят мои враги: «Кинематограф несет мигающие, безвкусные штампы туда, куда мы, теперь вытесненные артисты, вливали душу красоты».

Разбираюсь, что доминирует в этом крике:

Боязнь гибели искусства или трусливый шкурный вопрос.

Такие явления, как кинематограф, граммофон, фотография, надо рассматривать, как применение в области искусства, вместо малопроизводительного ручного труда, машины. Но во всяком роде промышленности, где машина взяла доведенные разделением труда до последней простоты технические функции, она не уничтожила человека, а только ярко провела линию между вдохновителем, организатором труда и его рядовым, тупым работником.

Возьмем, для примера, сначала хотя бы живопись. Потребность в ней существовала всегда.

Пока эта потребность была узка, художник обслуживал небольшой кружок королей, пап, меценатов, удовлетворяя их элементарной потребности иметь схожий с оригиналом «фамильный» портрет или гладкий «красивый» ландшафт. И этот род живописи был доведен до высшего совершенства и до абсолютной простоты.

А когда живопись демократизировалась и желание иметь простые произведения живописи стало общим, явилась потребность (минимум платы) и возможность (максимум простоты) передать дело реального портрета или пейзажа в руки машины — фотографии. Прозвучал ли такой переворот как «смерть художнику»? — Отнюдь нет.

Образцами фотографии остались те же произведения Рафаэля или Веласкеца, а идеалом было приближение к ним.

Значило ли это, что искусство падает? — Нет.

Вот примеры равенства вчерашней живописи и фотографии: полное сходство с портретом Карьера достигается помещением перед объективом неплотной сетки; из двух демонстрированных на экране Давидом Бурлюком портретов публика не могла найти, который кисти К. Сомова и который «руки» фотографа. Такая легкость в изображении природы не убила желания искать красоту, а только дала художнику толчок понять, что искусство — не копия природы и задача «коверкать» природу так, как она фиксируется в различном сознании.

Практический результат — обращение легионов «списывателей» к более продуктивным занятиям.

Но истинный художник опять вождь.

Все последующие положения справедливы и при исследовании вопроса о роли кинематографа. Возникает только один вопрос:

— Художник занимался копированием природы, грешен ли в этом театр? — Да.

Посмотрите работу Художественного театра. Выбирая пьесы преимущественно бытового характера, он старается перенести на сцену прямо кусок ничем не прикрашенной улицы. Подражает рабски природе во всем, от надоедливого скрипа сверчка, до колышущихся от ветра портьер. Но сейчас же, рядом, возникают убий-

ственные противоречия, встает выдуманная перспектива с занавесами кисеи или помятые простыни моря. Хорошо, если приходится ставить какую-нибудь ветхозаветную оперу с одной лошадью между двадцатью статистами, но кто перенесет на сцену (если идти за реальностью передачи) версты в высь небоскребов или жуткое мелькание автомобилей.

И, конечно, на полную неудачу обречены всякие попытки обновить театр только переменой личного состава или поездкой в какие-нибудь, хотя и несписанные еще губернии, как это делает теперь Марджанов для своего «Свободного» театра.

И вот тут подкрадывается кинематограф: «Если ваша задача только копия природы, то к чему весь сложный театральный бутафорский механизм, если на десяти аршинах полотна можно дать и океан в «натуральную» величину, и миллионное движение города?»

— Но человек, — скажете вы возмущенно, — где же он, где его игра?

Но разве человека убил кинематограф, а не театр, подчиняя движение каждого воле режиссера?

Если артисты сотни раз репетируют свою роль только для того, чтобы потом пройти по сцене, как ходят настоящие обыкновенные люди, то почему этот простой процесс не подсмотреть прямо у улицы, а, с другой стороны, если вам требуется сложная игра актера, то зачем, кроме талантливого артиста, роль отдавать какой-нибудь посредственности, отсылать в провинцию сотни живых, но бездарных Задунаевых или Днепровских, когда тысячи лент могли отпечатать до точности каждый момент изумительной игры актера? Артист остается вождем, кинематограф только вытесняет рядовых актеров сцены, неся с собою хоть и копию, но с больших моментов творчества. Сведя же деятельность сегодняшнего театра к машинному производству, простому и дешевому, кинематограф заставит подумать о театре завтрашнего дня, о новом искусстве актера.

Это — культурная роль кинематографа в общей истории искусства.

[1913]

ОТНОШЕНИЕ СЕГОДНЯШНЕГО ТЕАТРА И КИНЕМАТОГРАФА К ИСКУССТВУ

ЧТО НЕСЕТ НАМ ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ? (ПОЛЕЗНА И ДЛЯ КРИТИКОВ)

Милостивые государи и милостивые государыни!

Сегодня мне необходимо ясной линией определить место, занимаемое вчерашним театром и кинематографом на общей площади искусства.

Милых обывателей до смерти перепугали два вопроса:

1. «Как же это, — театр, который существовал и в прошлом году и раньше, в который я ходил в ложу с Петром Ивановичем и Марией Петровной, объявлять несуществующим — чепуха!»

2. «Если современный театр до того прост и бессодержателен, что его без всякого вреда для искусства можно заменить кинематографом, если история завтрашнего театра начнется только с первой футуристической постановки, то покажите — что же в вас ценного, что же в вас непохожего на других?»

Извольте.

Люди, выступающие против нас, да и вообще против всяких крайних новаторов, вооружаются единственным имеющимся у каждого обывателя оружием — «здравым смыслом».

Как ни странно видеть современного человека в таком допотопном вооружении, идущем, как бумеранг к боевому солдату, приходится рассмотреть, как оное влияет на человеческую психику.

Счастливый обладатель здравого смысла имеет громадное преимущество перед другими людьми — быть всегда и всем понятным.

Это достигается благодаря двум, едва ли имеющим достоинства, фактам:

Ограниченность уровня знания теми же рамками, как и знания ближнего. (Что же при таких условиях можно сказать непонятного?)

И способность при усидчиво-нудном занятии своим делом воспринимать усталым и слабым мозгом только самые режущие и случайные черты нового явления.

Когда к такому джентльмену обратятся с вопросом: вы знаете, что такое футуризм?— он важно ответит:

«Ну да, знаю, это такое большое, кричащее, еще в желтом галстуке ходит...»

А кинематограф?

«Ну да, знаю. Вход пятнадцать или сорок пять копеек, сначала темно, а потом дрыгающие люди, под вальс, бегают».

Когда один из таких джентльменов споткнулся в моей статье о слово «наука», он разобрался в нем следующим способом:

«Наука, ах да, знаю, это такое, сидят над книгами, арифметика, химия, потом растут, и с университетскими значками ходят». И взвыл.

«Говорить об искусстве и кинематографе, а где же физика, техника?»

Молодой человек! История искусства, если только она способна стать наукой, будет наука общественная.

Беря какой-нибудь факт из области красоты, история искусств интересуется не техническим способом его выполнения, а общественными течениями, вызвавшими необходимость его появления, и тем переворотом, который вызывается данным фактом в психологии масс.

Так, например, при появлении какой-нибудь выполненной живописцем картины меня не интересует химический состав краски, там какого-нибудь кадмия лимонного или изумрудной зелени. Точно так же это мало интересует и самого художника.

Если бы это было иначе, то наши «знатоки» и фабриканты красок Досекин или Фридлендер были бы

лучшими и художниками и критиками живописного искусства.

С этой-то точки зрения я и буду рассматривать отношение кинематографа и театра к искусству.

Первый и самый важный вопрос.

Может ли быть кинематограф самостоятельным искусством?

Разумеется, нет.

Красоты в природе нет. Создавать ее может только художник. Разве можно было думать о красоте пьяных кабаков, контор, грязи улиц, грома города до Верхарна?

Только художник вызывает из реальной жизни образы искусства, кинематограф же может выступить удачным или неудачным множителем его образов. Вот почему я не выступаю, да и не могу выступать против его появления. Кинематограф и искусство — явления различного порядка.

Искусство дает высокие образы, кинематограф же, как типографский станок книгу, множит и раскидывает их в самые глухие и отдаленные части мира. Особым видом искусства он стать не может, но ломать его было бы так же нелепо, как ломать пишущую машину или телескоп только за то, что эти вещи не имеют никакого непосредственного отношения ни к театру, ни к футуризму.

Следующий вопрос.

Может ли кинематограф доставлять эстетическое наслаждение?

Да.

Когда кинематограф копирует какой-нибудь клочок определенной, хотя бы и характерной жизни, результаты его работы могут представлять в лучшем случае только научный, или, вернее, описательный интерес.

Впрочем, до нашего прихода этими упражнениями занимались и художники, и артисты.

Вот — Верещагин.

Ведь его же картины интересны только для тех, кто ни разу не видел узорчатых дворцов Азии.

А разве его ловля блох перед вычурно выписанными воротами, в Третьяковской галерее, не так же комична и интересна, как объявление кинематографа в одном

из рассказов «Сатирикона» о «ловле блох в Норвегии» (научная)?

А все эти Сомовы, Баксты, Сарьяны, Добужинские, кочуя из одной части света в другую, разве не повторяют одну и ту же надоевшую работу ремесленников-списывателей.

Этим же до нашего прихода занимался и театр.

Как смешно было слушать в Художественном театре при постановке пьесы Горького «На дне» радостные замечания слушателей: «Да ведь это совсем, как настоящее, совсем, как на Хитровом рынке, ведь они, режиссеры и артисты, все до последней мелочи там выследили и дали тонкую копию в этой изумительной постановке».

Да.

Но ведь природа — только материал, с которым волен художник обращаться, как ему угодно, лишь при одном условии: изучать характер жизни и выливать ее в формы до художника никому не известные.

Если же работа художника и работа машины, как например, — фотография и кинематограф, начатая различными путями, в результатах совпадает, то логично из двух способов ее производства выбирать тот, на котором затрачивается меньше общественной энергии.

Отсюда — успешность конкуренции кинематографа с театром.

Вот почему я говорю, что театр, как искусство, до нашего прихода не существовал.

Театр был только выпуклая фотография реальной жизни.

Единственное же отличие от него кинематографа — безмолвие — Эдисон стер своим последним изобретением.

Театр и кинематограф до нас, поскольку они были самостоятельны, только дублировали жизнь, а настоящее большое искусство художника, изменяющего жизнь по своему образу и подобию, — идет другой дорогой.

Мы идем с новым словом во всех областях искусства.

Но новой теперь может быть не какая-нибудь еще никому не известная вещь в нашем седом мире, а пе-

ремена взгляда на взаимоотношения всех вещей, уже давно изменивших свой облик под влиянием огромной и действительно новой жизни города.

Вот почему кто-нибудь из «отцов» с таким недоумением останавливается перед результатами работы певцов новой жизни.

Театр вчерашнего дня не может выдержать с кинематографом конкуренции, так как, копируя один и тот же момент жизни, выявляет его значительно слабее.

И при театре будущего кинематограф будет так же полезен при перемене взгляда на обстановку и декорацию, не конкурируя с ним, как с искусством, занятым явлениями совершенно другого порядка.

[*1913*]

ЖИВОПИСЬ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

Характерно: выставки, десятки выставок; должно быть, на каждой улице обеих столиц трепались за год всехцветные флаги различнейших «передвижных», «союзов», «посмертных», «независимых», «валетов» и других несметных полков живописцев и... ни одной живописной радости, ни одной катастрофы, ничего захватывающего — ни разу не хотелось стать перед вещью надолго и, может быть, любя, может быть, негодуя, смотреть, смотреть и смотреть.

Широковещательные афишные рекламы с дюжинами отборнейших имен, музыка вернисcажей, завлекающая игривый бомонд, сперминизация золотушных молодых диспутами — не помогли; художники, целые организации, даже идеи, объединяющие различные направления художественной мысли, подняв на секунду температуру интереса, пропадают бесследно, как корь, отходят серо и быстро, как какой-нибудь приезд генерала Жоффра на ленте кинематографа.

Отчего?

Ведь сегодняшний день — день мощного интереса к искусству и публики и самих художников.

Давно ли об искусстве, как таковом, даже не мечтали! Сгибаясь втрое под тупой звериной мыслью о существовании, о борьбе за жизнь, мы и художников заставляли влить свой крик в наши крики о хлебе, о правде. Или же в пьяных залах, рабами, они покорно копировали «жирные окорока пьяных метресс», или заполняли галереи фамильными портретами дегенератов,

но здесь интерес к художнику обрывался сейчас же за мраморными колоннами палаццо мецената.

А сейчас мы в шесть часов дневного труда накормим и оденем землю.

И делаем это просто: каждый шлифует свою определенную грань мировой работы человечества.

Закон машинного города — разделение труда.

А где художник?

При каких условиях его труд из индивидуально полезного, интересующего нас не больше, чем еда ближнего или его гимнастические упражнения, может стать общественно необходимым?

Если бы сейчас явился со своими картинами какой-нибудь старый-старый живописец, ну хотя б Верещагин, и на вопрос: «А есть ли что у вас предъявить?» — достал свой «Апофеоз войны», черепа на голом поле, ему бы прямо сказали: «Мы понимаем, вы полны самых гражданских чувств, война ужасная вещь, но позвольте, какое же отношение это имеет к живописи? Вопрос о войне решат значительно лучше люди, специально поставленные к этому занятию, люди, занимающиеся общественными науками».

Проповедование высоких идей, «мораль» в картине отняли у живописцев.

Дальше.

Та же участь постигла и копировальщиков природы. «Послушайте, ведь ручной труд только тогда имеет право на существование, если не может быть заменен машиной, а посмотрите: я хоть сейчас закажу дюжину кабинетных à la Рембрандт или женщину скопирую не хуже Карьера, поместив перед объективом неплотную сетку».

И вот живопись оказалась профессией без определенных занятий.

Зачем мы?

Самоопределение — вот основной вопрос сегодняшнего живописца.

Прежде всего область воздействия живописных произведений — зрение, только зрение.

Объявив диктатуру глаза, мы уже знаем, какое отражение зрительной жизни нужно ему.

Дублирование жизни?

Зачем? Каждый день, надрывая зрачки на кричащих красках жизни, гоняясь глазами за змеиными линиями движения, уставая над формами цифр и букв, вы хотите не новой усталости от второй такой же жизни, а отдыха, игры для глаза.

Свободная игра познавательных способностей — вот единственная вечная задача искусства.

Чтоб возместить силы, которые гигантски тратите на науку, на еду, на женщин, вы от искусства потребуйте и логичную арифметику. Нет! Возьмите от жизни элементы всякого зрительного восприятия, линию, цвет, форму и, закружив их танцем под музыку сегодняшнего дня, — дайте картину.

Это требование жизни, и вот только в несоответствии с ним предложения наших художников — трагедия живописного безвременья.

Каково же отношение группирующихся сейчас в России художественных сект к этому крику жизни?

Сейчас налицо три более или менее определенных течения.

Вульгарный реализм, импрессионизм и неореализм — новшества самых различных наименований.

Первое группируется вокруг «передвижной», «периодической» и «Петербургского салона», второе — «Союза» и «Мира искусства», третье — «Бубнового валета» и меняющих названия выставок Гончаровой и Ларионова: «Ослиный хвост», «№ 4» и т. д.

Оговариваюсь, деление на выставки условно, например, С. Ю. Жуковский — человек... с очень широкими «способностями» и одинаково торгует и на «Передвижной», и в «Союзе», левее — Давид Бурлюк, как настоящий кочевник, раскидывал шатер, кажется, под всеми небами... но деление на выставки — пока единственный способ классификации живущих художников.

Чтоб быть объективным, постараюсь без трепещущего уважения проходить мимо седин гордящихся прошлым маститых профессоров, но и новаторам не поверю на слово, они-де молодежь, значит, и передовые, значит, и «хорошие».

Какова же физиономия сегодняшнего дня?

Вульгарный реализм.

Об этих можно б, казалось, и не говорить совсем.

Вернисcаж передвижной. Три-четыре человека, о которых не хочется говорить.

Репин, Касаткин, Богданов-Бельский — славные художники для вымирающих богаделен стариков. Живите на проценты прошлого величия. Не хотят. И вот Репин вообразил себя чуть не отцом сезона, Богданов-Бельский бросился за воздухом импрессионистов. Кому это нужно? Как у Арцыбашева, изношенная женщина хвастается, что у нее еще «спина молодая».

Впрочем, оставлю их, эта статья пишется не для эпатирования людей с катаром вкуса. Да и художники эти когда-то много потрудились на пользу отечественной этнографии.

Эти все-таки не интересны для нас не потому, что мелки, а просто как люди умершего времени.

Отвратительны не они, отвратительна бодрствующая передвижная, дилетанты даже своего ремесла.

Маковские, искалечившие не одну сотню молодых «академиков», с добросовестностью премированного сплетника выворачивающие жизнь передних, бесстрастно-евнушески дублирующие серенькую обывательщину.

Бодаревские, коллекционеры бюстов, выписывающие для отдельных кабинетов и номеров для приезжающих, без вывески, купальщиц, натурщиц и пр. бедра.

Это уже противно по-настоящему, как любовь Передонова. Помните: «тепленькая, чуть-чуть трупцем припахивает».

Мне скажут: охота говорить о них, ведь давно на эти выставки приходит только какой-то чиновник с флюсом, два приказчика рыбной лавки да десятка три-четыре несовершеннолетних под наблюдением живо интересующихся кухарок. Да, у нас это так, но возьмите провинцию. Пока развозят только одну передвижную, вся эта пошлость — законодательница вкуса. Вот почему с особенным удовольствием хочется кричать, кричать и кричать: у них нет искусства, потому что они картинами пользуются для дешевенького рассказа или копируют всевозможную порнографию для любителей сала.

Вот с этим подражанием природе, исключительно для выразительности рассказываемого анекдотца, боролись первые русские импрессионисты во главе с Мусатовым. Его работы показывали возможность искания. Результат — свет и воздух. Это могло верно привести хотя бы к нахождению элементов живописи — цвет, линия и форма, как самоценные величины. Но продолжатели русского импрессионизма взяли не метод работы, а его результаты. Как академисты заучили правила списывания, эти заучили условные цвета, заимствовали проблески стилизации. И вот, «когда меж собой поделили наследники царство и трон, то новый шаблон, говорили, похож был на старый шаблон».

Вот, например, К. Коровин. Человек выжал много лет тому назад определенные краски, сделал этюд, понравившийся всем, с тех пор так же и пишет, не изучая жизнь, а варьируя свои картины. Всё этюды, этюды и этюды. Тени синие, моря зеленые, розы розовые, и все одинаково. Говорят: это ничего. Коровин по призванию декоратор, но в том-то и дело, что декорации его — это тоже размашистые этюды, только увеличенные в несколько сот раз.

Еще более ужасающая одинаковость — С. Ю. Жуковский. Этот прямо, должно быть, написал квадратную версту полотна и разрезал на различных размеров картинки, а когда нескольким нравится одна и та же, он переписывает. Такой добрый, никогда не обидит.

И в самом своем основании это те же передвижники-фотографы — только голубые.

Впрочем, есть среди них и совсем добросовестные — Архипов, Васнецов, Туржанский — так этим сам Волков позавидует.

Эти хоть не мудрствуют лукаво — труженики-мужики современного искусства. Прочно и крепко привязались к многооборотному «Союзу».

Опаснее «Мир искусства».

Если союзники, взяв подновленные приемы, пустились в старую работу, то эти иначе играют в молодость.

Берут старые, истасканные приемы, чтоб выразить идею, тему новой жизни.

Это тоже передвижники, но только бытописатели.

Бенуа, Добужинские, Кустодиевы дали столько иллюстраций городу.

Все это может вызвать интерес у историка, у знатного иностранца, интересующегося Россией, одним словом, у любого, только не у человека, ищущего живописи.

А над всем этим нависли тучей портреты и портреты, прямо как будто каждая выставка держит для скучающих гостей альбом фотографических карточек знакомых. И ни к одному портрету художник не подходит, как к картине, везде его интересует только фотографическое сходство, никто, конечно, и не мечтает перейти через идеал Рембрандта или Веласкеца. Это уже карается, как кощунство. Вместе с декорациями Судейкина и других, портреты — это уже чисто промышленное отделение выставок художественных фотографий и печатного дела.

На все эти позорные и дряхлые стороны живописи три года назад с бранью и задором обрушились буйные молодые.

Действительно, перед новыми словами смущенно заерзали генералы от палитры. Здорово показывают, ведь правда, все правда! Но три года прошло, теперь перед нами ежегодно эти картины, и задумаешься, что же собственно нового дано на деле? А если еще посмотришь, как кто-нибудь, ну хотя бы Кончаловский, вождь «Бубнового валета», расписывает в театре Зимина декорации, невольно вырвется, что это не новаторы живописи, а живописные новаторы-фразеры!

Но мы не будем обращать внимания на разговоры, посмотрим на картины.

В книгах у всех у нас один принцип и даже очень верный: цвет, линия, форма — самодовлеющие величины.

А как в картинах?

В картинах другое.

Прежде всего в теории долой содержание, а в каталоге под каждой картиной название: «Nature morte», «Nature morte», «Nature morte». Позвольте, как же? А очень просто — ведь содержание не важно, а значит пиши, что в голову взбредет, а так как разбираться нет охоты, то всё бутылки, бутылки и пивные бутылки. Так и не поняли, бедные, что эта свобода не в крике: валяй

как попало, а в исследовании законов, условий размещения на холсте живописных масс. Таким образом, на практике это свелось только к двум элементарным правилам: 1) каждая вещь достойна изображения, 2) вещь для художника не цель, а только объект изучения с точки зрения цвета, линии и формы. Как видите, правила достаточные только для того, чтобы начать работу.

Это основная вина Машкова, Кончаловского, Лентулова.

Более всего говорили о своей новизне, кажется, Гончарова и Ларионов, они же и самые признанные; первая добросовестно пользуется и краской, и линией, и формой как средством и дает лапоть передвижников только более лубочно, а поэтому современно. Ларионов же каждый день придумывает новые и новые направления, оставаясь талантливейшим импрессионером. Мне всегда хочется сказать ему едкими словами молодого поэта Хлебникова: «Новаторы до Вержболова, что ново здесь, то там не ново».

Несколько человек занялись теорией: Бурлюк, Якулов (по недоразумению в «Мире искусства») разграфливают себе алгебраические формулы грядущего искусства в рамках, вещи, которые обыкновенно держат в папках. Хорошо, если б живописью они занимались!

А за ними полки́: юноши, юноши и юноши. Мильманы, Фальки, Савинковы — имя же им легион. Подхватят каждый лозунг, насядут на него всей своей малограмотностью и пошла, и пошла. Совсем как у Саши Черного:

Попишу, попишу, попишу.
Попишу животом, головой, и ноздрей, и ногами, и пятками,
Двухкопеечным мыслям придам сумасшедший размах,
Зарифмую все это для стиля яичными смятками
И пойду по панели, пойду на бесстыжих руках.

И во всей русской живописи сегодняшнего дня нет ни одной картины. Выставки — громадные папки открыток или ученических тетрадей, из которых изредка пристальным глазом отметишь рядом с мясом Бодаревского лапоть Гончаровой над двумя-тремя розами Машкова.

К сожалению, рамки статьи не позволяют сказать больше.

Однако ясно: все, именующие себя художниками, занимаются очень полезными вещами, но к живописи это имеет отношение только подготовительное. Говорю это не из задорной мысли: лягнуть умирающего льва.

Уважая работу каждого, просто как затрату силовой энергии, зная, что за каждым твое право быть гением в одном из часов прошлого я только констатирую факт — современность не выражают. Ведь никто не справит свадьбу под похоронный марш, на войну не пойдут под напев танго, а в завтрашний день не пройти ведомым бессильными стариками и старящимися. Надо окончательно освободить живопись. Из картин верблюдов, вьючных животных для перевозки «здравого смысла сюжета», мы должны сделать стаю веселых босоножек и закружить в страстном и ярком танце.

[*1914*]

ДВА ЧЕХОВА

Конечно, обидитесь, если я скажу:

— Вы не знаете Чехова!

— Чехова?

И вы сейчас же вытащите из запыленной газетной и журнальной бумаги крепко сколоченные фразы.

«Чехов, — глубоко протянет поэтоволосый лирик-репортер,— это певец сумерек». «Защитник униженных и оскорбленных»,— авторитетно подтвердит многосемейный титулярный советник. И еще и еще:

«Обличитель-сатирик».

«Юморист»...

А бард в косоворотке срифмует:

Он любил людей такой любовью нежной,
Как любит женщина, как любит только мать.

Послушайте! Вы, должно быть, знаете не того Чехова. Знаки вашего уважения, ваши лестные эпитеты хороши для какого-нибудь городского головы, для члена общества ревнителей народного здравия, для думского депутата, наконец, а я говорю о другом Чехове.

Антон Павлович Чехов, о котором говорю я, — писатель.

«Подумаешь, какую новость открыл!.. — расхохочетесь вы. — Это детям известно».

Да, я знаю, вы тонко разобрались в характере каждой из трех сестер, вы замечательно изучили жизнь,

отраженную в каждом чеховском рассказе, не запутаетесь в тропинках вишневого сада.

Вы знали его большое сердце, доброту, нежность и вот... надели на него чепчик и сделали нянькой, кормилицей всех этих забытых Фирсов, человеков в футлярах, ноющих: «в Москву-у-у».

Мне же хочется приветствовать его достойно, как одного из династии «Королей Слова».

Должно быть, слишком режущи стоны горбящихся над нивами хлеба, слишком остра картина нужды, наматывающей жилы на фабричные станки только из необходимости есть, если каждого человека искусства впрягают в лямку тащащих труд на базары пользы.

Скольким писателям сбили дорогу!

Некрасов, как вкусные сдобные баранки, нанизывал строчки на нитку гражданских идей, Толстой от «Войны и мира» лаптем замесил пашню, Горький от Марко ушел к программам-минимум и максимум.

Всех писателей сделали глашатаями правды, афишами добродетели и справедливости.

И всем кажется, что писатель корпит только над одной мыслью, которою он хочет защитить, исправить вас, и что ценить его будут только, если он, объяснив жизнь, научит бороться с нею. Из писателей выуживают чиновников просвещения, историков, блюстителей нравственности. Подбирают диктанты из Гоголя, изучают быт помещичьей Руси по Толстому, разбирают характеры Ленского и Онегина.

Разменяют писателей по хрестоматиям и этимологиям и не настоящих, живших, а этих, выдуманных, лишенных крови и тела, украсят лаврами.

Возьмите!

Памятник поставили не тому Пушкину, который был веселым хозяином на великом празднике бракосочетания слов и пел:

И блеск, и шум, и говор балов,
И в час пирушки холостой
Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой.

Нет, на памятнике пометили: за то, что:

Чувства добрые он лирой пробуждал.

Практический результат один: как только острота политических взглядов какого-нибудь писателя сглаживается, авторитет его поддерживают не изучением его произведений, а силой. Так, в одном из южных городов ко мне перед лекцией явился «чин», заявивший: «Имейте в виду, я не позволю вам говорить неодобрительно о деятельности начальства, ну, там Пушкина и вообще!»

Вот с этим очиновничаньем, с этим канонизированием писателей-просветителей, тяжелою медью памятников наступающих на горло нового освобождающегося искусства слова, борются молодые.

В чем же истинная ценность каждого писателя?

Как гражданина отличить от художника?

Как увидеть настоящее лицо певца за портфелем присяжного поверенного?

Возьмите какой-нибудь факт, такой же, как сумерки, защита униженных и т. д., ну, напр., дворник бьет проститутку.

Попросите этот факт художника зарисовать, писателя описать, скульптора вылепить. Идея всех этих произведений будет, очевидно, одна: дворник — мерзавец. Скорее всего эту идею зафиксирует какой-нибудь общественный деятель. Чем же будут отличаться от него мысли людей искусства?

Единственно, конечно, образом выражения.

Художник: линия, цвет, плоскость.

Скульптор: форма.

Писатель: слово.

Теперь дайте этот факт двум различным писателям.

Разница, очевидно, будет только в одном: в методе выражения.

Таким образом, задача писателя — найти формально тому или другому циклу идей наиболее яркое словесное выражение. Содержание безразлично, но так как потребность нового выражения несется каждым этапом времени особо, то и примеры, называемые сюжетом произведения, иллюстрирующие словесные комбинации, должны быть современны.

Яснее.

Возьмите задачник Евтушевского и прочтите на

первой же странице: одному мальчику дали пять груш, а другому две груши, и т. д. Конечно, вы ни на секунду не подумаете, что седого математика интересовала страшная несправедливость, учиненная над вторым мальчиком. Нет, он взял их только как материал, чтобы привести свою арифметическую идею.

Точно так же для писателя нет цели вне определенных законов слова.

Говоря так, я вовсе не стою за бесцельную диалектику. Я только объясняю процесс творчества и разбираюсь в причинах влияния писателя на жизнь.

Влияние это, в отличие от такового же социологов и политиков, объясняется не преподнесением готовых комплектов идей, а связыванием словесных корзин, в которых вы можете по желанию передать любую идею другому.

Таким образом, слова — цель писателя. Каковы же изменения, происходящие в законах слов?

1. Изменение отношения слова к предмету, от слова, как цифры, как точного обозначения предмета, к слову — символу и к слову — самоцели.

2. Изменение взаимоотношения слова к слову. Быстреющий темп жизни провел дорогу от главного периода до растрепанного синтаксиса.

3. Изменение отношения к слову. Увеличение словаря новыми словами.

Вот общие положения, единственно позволяющие подойти критически к писателю.

Так каждый писатель должен внести новое слово, потому что он прежде всего седой судья, вписывающий свои приказания в свод законов человеческой мысли.

Каков же Чехов как творящий слово?

Странно. Начнут говорить о Чехове как о писателе и, сейчас же забывая про «слово», начинают тянуть:

«Посмотрите, как он ловко почувствовал «психологию» дьячков с «больными зубами».

«О, Чехов — это целая литература».

Но никто не хотел говорить о нем, как об эстете.

Эстет! И глазу рисуется изящный юноша, породистыми пальцами небрежно оставляющий на бумаге сонеты изысканной любви.

А Чехов? «Пшла, чтобы ты издохла! — крикнул он. — Прокля-та-я!»

Поэт! И сейчас же перед вами вырисовывается выпятившая грудь фигура с благородным профилем Надсона, каждой складкой черного глухого сюртука кричащая, что разбит и поруган святой идеал.

А здесь: «После блинов осетровую уху ели, а после ухи куропаток с подливкой. Сметана, свежая икра, семга, тертый сыр. Так укомплектовались, что папаша мой тайком расстегнул пуговки на животе».

Воспитанному уху, привыкшему принимать аристократические имена Онегиных, Ленских, Болконских, конечно, как больно заколачиваемый гвоздь, все эти Курицыны, Козулины, Кошкодавленки.

Литература до Чехова, это — оранжерея при роскошном особняке «дворянина».

Тургенев ли, всё, кроме роз, бравший руками в перчатках, Толстой ли, зажавши нос, ушедший в народ, — все за слово брались только как за средство перетащить за ограду особняка зрелище новых пейзажей, забавляющую интригу или развлекающую филантропов идею.

Чуть ли не на протяжении ста лет писатели, связанные одинаковою жизнью, говорили одинаковым словом. Понятие о красоте остановилось в росте, оторвалось от жизни и объявило себя вечным и бессмертным.

И вот слово — потертая фотография богатой и тихой усадьбы.

Знает обязательные правила приличия и хорошего тона, течет рассудительно и плавно, как дормез.

А за оградой маленькая лавочка выросла в пестрый и крикливый базар. В спокойную жизнь усадеб ворвалась разноголосая чеховская толпа адвокатов, акцизных, приказчиков, дам с собачками.

Коммивояжеры — хозяева жизни.

Старая красота затрещала, как корсет на десятипудовой поповне.

Под стук топоров по вишневым садам распродали с аукциона вместе с гобеленами, с красной мебелью в стиле полуторы дюжины людовиков и гардероб изношенных слов.

Сколько их!

«Любовь», «дружба», «правда», «порядочность» болтались, истрепанные, на вешалках. Кто же решится опять напялить на себя эти кринолины вымирающих бабушек?

И вот Чехов внес в литературу грубые имена грубых вещей, дав возможность словесному выражению жизни «торгующей России».

Чехов — автор разночинцев.

Первый, потребовавший для каждого шага жизни свое словесное выражение.

Безвозвратно осмеял «аккорды», «серебристые дали» поэтов, высасывающих искусство из пальца.

Как грек тело перед гибелью Эллады, лелеял слова вежливый Тургенев.

«Как хороши, как свежи были розы».

Но, боже, уже не вызовешь любовь магической фразой!

— Отчего не любит? Отчего?

Насмешлив спокойный голос Антона Павловича:

«— А вы его судаком по-польски кормили? А, не кормили! Надо кормить. Вот и ушел!»

Эстет разночинцев.

Позвольте, но ведь это позорно.

Быть эстетом белых девушек, мечтающих у изгороди в косых лучах заходящего солнца, быть эстетом юношей, у которых душа рвется «на бой, на бой, в борьбу со тьмой», это так, но, помилуйте, ведь эстет лабазников — это довольно некрасиво.

Все равно.

Чехов первый понял, что писатель только выгибает искусную вазу, а влито в нее вино или помои — безразлично.

Идей, сюжетов — нет.

Каждый безымянный факт можно опутать изумительной словесной сетью.

После Чехова писатель не имеет права сказать: тем нет.

«Запоминайте,— говорил Чехов,— только какое-нибудь поражающее слово, какое-нибудь меткое имя, а «сюжет» сам придет».

Вот почему, если книга его рассказов истреплется у вас, вы, как целый рассказ, можете читать каждую его строчку.

Не идея рождает слово, а слово рождает идею. И у Чехова вы не найдете ни одного легкомысленного рассказа, появление которого оправдывается только «нужной» идеей.

Все произведения Чехова — это решение только словесных задач.

Утверждения его — это не вытащенная из жизни правда, а заключение, требуемое логикой слов. Возьмите его бескровные драмы. Жизнь только необходимо намечается за цветными стеклами слов. И там, где другому понадобилось бы самоубийством оправдывать чье-нибудь фланирование по сцене, Чехов высшую драму дает простыми «серыми» словами:

Астров: «А, должно быть, теперь в этой самой Африке жарища — страшное дело».

Как ни странно, но писатель, казалось бы больше всех связанный с жизнью, на самом деле один из боровшихся за освобождение слова, сдвинул его с мертвой точки описывания.

Возьмите (пожалуйста, не подумайте, что я смеюсь) одну из самых характерных вещей Чехова: «Зайцы, басня для детей».

Шли однажды через мостик
Жирные китайцы.
Впереди их, задрав хвостик,
Поспешали зайцы.
Вдруг китайцы закричали:
«Стой, лови! Ах! Ах!»
Зайцы выше хвост задрали
И попрятались в кустах.
Мораль сей басни так ясна:
Кто хочет зайцев кушать,
Тот ежедневно, встав от сна.
Папашу должен слушать.

Конечно, это авто-шарж. Карикатура на собственное творчество; но, как всегда в карикатуре, сходство подмечено угловатее, разительнее, ярче.

Конечно, из погони жирных китайцев за зайцами меньше всего можно вывести мораль: «Папашу должен

слушать». Появление фразы можно оправдать только внутренней «поэтической» необходимостью.

Далее.

Растрепанная жизнь вырастающих городов, выбросившая новых юрких людей, требовала применить к быстроте и ритм, воскрешающий слова. И вот вместо периодов в десятки предложений — фразы в несколько слов.

Рядом с щелчками чеховских фраз витиеватая речь стариков, например, Гоголя, уже кажется неповоротливым бурсацким косноязычием.

Язык Чехова определенен, как «здравствуйте», прост, как «дайте стакан чаю».

В способе же выражения мысли сжатого, маленького рассказа уже пробивается спешащий крик грядущего: «Экономия!»

Вот эти-то новые формы выражения мысли, этот-то верный подход к настоящим задачам искусства дают право говорить о Чехове, как о мастере слова.

Из-за привычной обывателю фигуры ничем не довольного нытика, ходатая перед обществом за «смешных» людей, Чехова — «певца сумерек», выступают линии другого Чехова — сильного, веселого художника слова.

[*1914*]

ШТАТСКАЯ ШРАПНЕЛЬ

Искусство умерло...
Да здравствует искусство!

Художники, поэты, артисты!

Искусство умерло.

Два месяца плакали газеты о новых и новых ранах, наносимых телу красоты.

Поломана последняя тонкая рука, вознесенная к небу Реймским собором, жирные, налитые пивом пальцы прусских улан украшены кольцами хранилищ Лувена, и сдобные булочницы юбки брюссельских кружев треплют по улицам Берлина...

Не знаю, плакала ли бедная красота; не слышно слабого дамского голоса за убедительными нотами Крупповского баса.

А на могильном камне — уверенно округленная немецким писателем фраза: «Самый маленький холмик, защищающий тело немецкого солдата, дороже всех сокровищ искусства».

Умерло искусство.

Хорошо быть лавочником!

Сейчас так дешево скупить награбленное и спустить жадной до каждого сегодняшнего слуха толпе.

Можно издеваться над героическими, обреченными смерти народами, инсценируя танцы воюющих держав.

Художники могут сбыть залежавшиеся картинки на бинты для раненых.

Ах, как легко прослыть национальным бардом, выкрикивая самолюбие героев!

Искусство сделали лазаретом, питательным пунктом, маркитанткой для театра войны.

Вандалы-враги ограбили искусство чужого народа.

Вандалы-друзья обокрали Россию.

А мне не жалко искусства!..

Жалеть эту добрую заграничную кухарку?

Ведь в то время как мы, строители жизни, вознесли дома из железо-бетона и к жестокосердию и силе приучили себя в обмане и борьбе городов, она, раздобревшая от кухонного угара, сентиментально любила парикмахера соседнего переулка. В то время как мы, гордые и самолюбивые, приучились любить себя и свое лицо, грубое и скуластое, она заграничо жеманилась, готовя блюда гурманам.

Умерло искусство потому, что оказалось в хвосте жизни: дебелое не могло защищаться.

Жизнь идет вперед, осмыслив новую красоту.

Как венчаться с любимой девушкой никто не пойдет под печаль похоронного марша, так и на смерть войны не пойдет под звуки танго и пупсика.

Сегодня нужны гимны, а гимны писать трудно.

Вот почему деятели всероссийской вампуки так славословят смерть.

Бросают поэты стихи, уходят они, убежденные, что

Когда в лицо вам дерзость ветра
Бросают вражьи знамена,
Сломай свой циркуль геометра,
Взложи доспех на рамена.

Хорошо, если их дряхлые рамена выдержат доспехи. Может быть, кому-нибудь из них посчастливится узнать, что мертвые сраму не имут.

Если ж нет, тогда зачем позорить войну?

Война — профессия. Мне легче взять верное перо, чем верный прицел гаубицы.

Мне близки слова:

Надменный воин к войне тревожен,
поэт тревожен к своим стихам.

Я не знаю, для грабежей ли, для убийств ли затеяли немцы войну? Может быть, сознательно только эта

мысль руководит ими. Но каждое насилие в истории — шаг к совершенству, шаг к идеальному государству. Горе тому, кто после войны не будет уметь ничего, кроме резания человечьего мяса. Чтоб вовсе не было таких, уже сегодня хочется звать к обыкновенному «штатскому» геройству.

Как русскому мне свято каждое усилие солдата вырвать кусок вражьей земли, но как человек искусства, я должен думать, что, может быть, вся война выдумана только для того, чтоб кто-нибудь написал одно хорошее стихотворение.

[*1914*]

ШТАТСКАЯ ШРАПНЕЛЬ

ПОЭТЫ НА ФУГАСАХ

Ах, как я рад!

Мы пять лет орали вам, что у искусства есть задачи выше, чем облегчение выбора ликеров по прейскурантам Северянина, или щекотание отходящего ко сну буржуа романами Вербицкой.

Извиняюсь — я вам мешал!

Конечно, каждому приятно в розовенькой квартирке пудрой Бальмонта надушить дочку, заучить пару стихов Брюсова для гражданского разговора после обеда, иметь жену с подведенными глазами, светящимися грустью Ахматовой, но кому нужен я, неуклюжий, как дредноут, орущий, как ободранный шрапнелью!

А теперь, когда каждое тихое семейство братом, мужем или разграбленным домом впутано в какофонию войны, можно над заревом горящих книгохранилищ зажечь проповедь новой красоты.

Конечно, война — это только предлог. Наше искусство должно будет жить и тогда, когда по полям, изрытым траншеями, опять прорежется плуг. Каждый цикл идей рожден и крепится своим укладом жизни. Ведь вчерашняя красота держалась за зеленую юбку деревни, а для кого же секрет, что Крезо, Армстронг, Крупп так радостно ломают готические арки только для того, чтоб встало на развалинах тысячеэтажие небоскребов!

Какая же разница между тем, что делали, и тем, что должны делать?

Ведь о войне писал каждый.
Пример:

Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.

Свистел булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.

Отбросьте крошечную разницу ритма, и оба четверостишия одинаковы. Покойный размер. Равнодушный подход. Неужели ж между племянничьим чувством и бьющим ощущением сражений нет разницы. Прямо хочется крикнуть: «Бросьте, Александр Сергеевич, войну, это вам не дядя!»

Одинаковость эта — результат отношения к поэзии не как к цели, а как к средству, как к вьючному животному для перевозки знания.

И все поэты, пишущие сейчас про войну, думают, что достаточно быть в Львове, чтоб стать современным. Достаточно в заученные размеры внести слова «пулемет», «пушка», и вы войдете в историю как бард сегодняшнего дня!

Пересмотрел все вышедшие последнее время стихи. Вот:

Опять родного нам народа
Мы стали братьями, и вот
Та наша общая свобода,
Как феникс, правит свой полет.

Заря смотрела долгим взглядом,
Ее кровавый луч не гас;
Наш Петербург стал Петроградом
В незабываемый тот час.

Кипи же, страшная стихия,
В войне да выкипит весь яд,—
Когда заговорит Россия,
То громы неба говорят.

Вы думаете — это одно стихотворение? Нет. По четыре строчки Брюсова, Бальмонта, Городецкого. Можно

такие же строчки, одинаковые, как баранки, набрать из двадцати поэтов. Где же за трафаретом творец?

Какая великолепная вещь — война!

Всеобъемлющий аршин: сидели старички, ругались на молодую поэзию, не пуская никого к работе, цеплялись за хлебные места толстых журналов, а война их вымерила, и оказалось, что это только живые трупики, терпимые только скопческой психологией поросшего покоем обывателя.

Впрочем, мне вас жалко. Хотите — научу?

Поэзия, господа, не теплое одеяло, сшитое из пятачковых лоскутьев фельетонной мысли, не пишется пóтом филолога, выносившего в университете ямбы.

Поэзия — ежедневно по-новому любимое слово. Сегодня оно хочет ездить на передке орудия в шляпе из оранжевых перьев пожара!

[*1914*]

ШТАТСКАЯ ШРАПНЕЛЬ

ВРАВШИМ КИСТЬЮ

Теперь время!

Репины, Коровины, Васнецовы, доставьте последнее удовольствие: пожертвуйте ваши кисти на зубочистки для противоубойных вегетарианцев. Уголь дорог. Ваши изумительно промасленные картины отлично разожгли б самовары. Выберите с вашей палитры крап-лак и киноварь и последними широкими мазками напишите красные вывески лазаретов. Будет прямая польза.

Торопитесь!

Еще два-три месяца, и вас зарегистрируют как людей без определенных занятий.

Тем из вас, кто долголетней талантливой продажей не скопил «дачу на реке», придется заняться музыкой (худ. Пастернак, кажется, хорошо играет на виолончели?) или другим каким-нибудь ремеслом.

Вчера еще на выставках вы брюзжали около наших картин, картин крайних левых: «Сюжетца нет, надо с натуры писать, господа, вы правды не ищете, это учебник геометрии, а не картина».

Сегодня же попробуйте в лаптях вашей правды подойти к красоте. Даже в жизни сегодняшней нет ничего правдашнего. Разве это не воплощение наших идей: называется «война»: люди жмутся в кошмарах, приезжают безногие, безрукие, а на самом деле нет ничего, только от Токио до Лондона какое-то небо, каждый день наново перечерчиваемое разящей геометрией снарядов.

Эй вы, списыватели, муравьиным трудом изучившие натуру, сосчитайте, сколько ног у несущейся в атаку кавалерии, нарисуйте похожей яичницу блиндированного поезда, расцапанную секундой бризантного снаряда!

Ведь это вчера еще вы, подходя к бунтующим картинам моим и моих товарищей, ругались: «Все это пустое, бессодержательное, одно красочное ржание какое-то. Должна быть идея в произведении, ведь мы тем и отличаемся от скотов, что мыслим. В сердце должно быть негодование, благородные порывы...»

А ну-ка возьмите вашу самую гордящуюся идею, самую любимую идею вас, ваших Верещагиных, Толстых — не убивай человека, — выйдите с ней на улицу к сегодняшней России, и толпа, великолепная толпа, о камни мостовой истреплет ваши седые бороденки.

Это же вы, проходя мимо наших орущих красками полотен, мямлили: «Какие сумасшедшие цвета, в природе так не бывает, в природе все спокойнее, берите цвета ближе к натуре».

А теперь попробуйте-ка вашей серой могильной палитрой, годной только для писания портретов мокриц и улиток, написать краснорожую красавицу войну в платье кроваво-ярком, как желание побить немцев, с солнцами глаз прожекторов.

Конечно, на перчатку, брошенную мною, вы ответите: «Да зачем нам писать, мы не драчуны вовсе, мы принимаем войну, как неизбежное зло, ведь война самое большее на год, она в стороне, ведь можно же писать и все другое».

Нет, теперь — всё война.

Г-н Переплетчиков, я никогда не был в Олонецкой губернии, но я достоверно знаю — сегодня ее пейзаж изменился до неузнаваемости оттого, что под Антверпеном ревели сорокадвухсантиметровые пушки. Не уезжайте в Олонецкую губернию — у вас ничего не выйдет.

Тот не художник, кто на блестящем яблоке, поставленном для натюр-морта, не увидит повешенных в Калише.

Можно не писать *о* войне но *надо* писать *войною*!

Вчерашние учители. Хотите, мы вас почетно похороним по первому разряду? Для своего времени вы

все-таки были большие. Но сегодня секунда навсегда обломила старое. Не беритесь больше за кисть — все равно налжете. Да и как иначе! Ведь вы давно перешли за те 56 лет, до которых можете гордиться званием способного носить оружие, а следовательно, и видеть жизнь.

Но вы, молодые, с негодованием отвергнете потную руку примирения, протянутую стариками. Ведь не затем же выстроились под пулями наши Якулов, Кончаловский. Ведь не затем же чуть не без ног контуженный лежит дорогой Ларионов, чтоб отсрочить наше господство хотя бы минутой перемирия!

Сейчас на ощетинившихся штыками границах решается вопрос и о нашем существовании — война не только изменит географические границы государств, но и новые мощные черты положит на лицо человеческой психологии.

Вл. Маяковский.

Из-за многочисленных помарок в моей вчерашней статье «Поэты на фугасах» досадная нелепость: впечатано перечеркнутое четверостишие Лермонтова:

Свистел булат и т. д.

Пропущено четверостишие Пушкина:

Швед, русский колет, рубит, режет,
Бой барабанный, клики, скрежет и т. д.

Не изменяя смысла статьи — обильный материал досужим репортерам.

[1914]

ТЕПЕРЬ К АМЕРИКАМ!

Довольно! В прошлом году вам нужна была желтая кофта (именно **вам**, а не мне), нужна была вспыльчивость, где дребезгами эстрадного графина утверждаешь правоту поэтической мысли, иначе бы у вас, у публики, не было ступени, чтоб здоровыми, спокойными войти в оглушительную трескотню сегодняшнего дня.

Много талантливейших рук работало над тем, чтоб красиво и грозно вылепить лицо теперешней России, — но всмотритесь, вы различите следы и наших пальцев.

Правда, у нас было много трюков только для того, чтоб эпатировать буржуа.

Но ведь это ж только противодействие желанию истребить нас, а значит и все молодое.

Что было?! Вдумайтесь только во всю злобу, в весь ужас нашего существования: живет десяток мечтателей, какой-то дьявольской интуицией провидит, что сегодняшний покой — только бессмысленный завтрак на подожженном пороховом погребе (ведь В. Хлебников два года назад черным по белому пропечатал, что в 1915 г. люди пойдут войною и будут свидетелями крушений государств, ведь в прошлом году в моей трагедии, шедшей в Петрограде, в театре Комиссаржевской, я дал тот самый бунт вещей, который сегодня подмечен Уэльсом), кликушески орет об этом, а в ответ — выкормленный старческий смешок: «О розах надо писать, о соловьях, о женщинах... Брюсова б почитали...»

Теперь не может быть места не понимающим нас!

Кому может показаться туманным язык лирика

Лифшица (кажется, он сейчас ранен в одном из боев в Австрии), когда жизнь приучила к ласковым змеям языка дипломатов.

Кому покажется странной моя речь, ударная, сжатая, — ведь сейчас только такой язык и нужен, ведь нельзя же, да и времени нет, подвозить вам сегодняшнюю, всю состоящую из взрывов, жизнь в тихих, долгих, бурсацких периодах Гоголя.

Теперь жизнь усыновила нас. Боязни нет. Теперь мы ежедневно будем показывать вам, что под желтыми кофтами гаеров были тела здоровых, нужных вам, как бойцы, силачей. Сделаем так, чтоб уже никто не посмел лить в наши горна воду недоверия.

И пусть каждый, выковав из стали своего сердца нож стиха, крикнет, как Хлебников:

Сегодня снова я пойду
Туда — на жизнь, на торг, на рынок,
И войско песен поведу
С прибоем рынка в поединок!

[*1914*]

И НАМ МЯСА!

Солдаты, я вам завидую!

Вам хорошо!

Вот на ободранной стенке отпечаток пятерни шрапнели клочьями человечьих мозгов. Как умно, что к глупому полю приделали сотни обрезанных человечьих голов.

Да, да, да, вам интереснее!

Вам не нужно думать, что вы должны Пушкину двадцать копеек и почему Яблоиовский пишет статьи.

Впрочем, это из другого!

Стихов, стихов, миллиард стихов (это вчера).

Радостно зашаркали в прихожей два миллиарда поэтовых ног, но...

Вошел Маяковский —

И почему это боязливо прячут многие бесполых детей худосочных муз?

Объяснимся.

Говорят, что я футурист?

Что такое футурист? Не знаю. Никогда не слыхал. Не было таких.

Вам про это рассказала m-elle Критика. Я «ее»!

Вы знаете, есть хорошие галоши, называются «Треугольник».

И все-таки ни один критик не станет носить этих галош.

Испугается названия.

Галоша, объяснит он, должна быть продолговато-

овальная, а тут написано «Треугольник». Это ногу жать будет.

Что такое футурист — марка. как «Треугольник».

Под этой маркой выступал и тот, кто вышивал:

Вчера читала я, Тургенев
Меня опять зачаровал,

и орущие, как хлысты на радении,

Дыр, бул, щил...

И даже марка-то «футуристы» не наша. Наши первые книги — «Садок судей», «Пощечина общественному вкусу», «Требник троих» — мы назвали просто — сборники литературной компании.

Футуристами нас окрестили газеты. Впрочем, ругаться не приходится. Смешно! Если б Вавила кричал: «Отчего я не Евгений?» Какая разница?!

Футуризм для нас, молодых поэтов, — красный плащ тореадора, он нужен только для быков (бедные быки! — сравнил с критикой).

Я никогда не был в Испании, но думаю, что никакому тореадору не придет в голову помахивать красным плащом перед желающим ему доброго утра другом. Нам тоже не к чему на добродушное лицо какого-нибудь сельского барда наколачивать гвоздями вывеску.

Во всех наших манифестациях первым стояло на знамени:

«Всякое творчество свободно».

Приходите!

Встретим достойно каждого. Лишь бы между его глазами и жизнью не маячила тучная фигура Апухтина, лишь бы чист был язык, а не изъеден фразами «маститых».

Сегодняшняя поэзия — поэзия борьбы.

Каждое слово должно быть, как в войске солдат, из мяса здорового, красного мяса!

У кого это есть — к нам!

Нет нужды, что мы бывали несправедливы.

Когда в авто мчишься сквозь сотни преследующих

врагов, нечего сентиментальничать: «Ах, под колеса попала курица».

Наша жестокость дала нам силу, ни разу не сдавшись жизни, нести наше знамя.

Свобода творить слова и из слов.

Ненависть к существовавшему до нас языку.

С негодованием отвергать из банных веников сделанный венок грошовой славы.

Стоять на глыбе слова «мы» среди моря свиста и негодования.

[*1914*]

НЕ БАБОЧКИ, А АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ

Пора показать, что поэты не хорошенькие бабочки, созданные к удовольствию «полезных» обывателей, а завоеватели, имеющие силу диктовать вам свою волю.

Конечно, то, что вы считаете за поэзию, — на толстой странице богатенького журнальчика пляшущий в коротенькой юбочке Бальмонт, — надо в военное время запрещать, как шантан и продажу спиртных напитков.

Я говорю о поэзии, которая, вылившись подъемом марша, необходима солдату, как сапог, — о той, которая, приучив нас любить мятеж и жестокость, правит снарядом артиллериста.

Сначала о поэзии-прислуге:

Янтарь на трубках Цареграда,
Фарфор и бронза на столе
И, душ изнеженных отрада,
Духи в граненом хрустале.

Иду вперед: простор и даль,
Лазурь прозрачна небосклона,
Точь-в-точь бумага Рис Рояль,
Что в чудных гильзах Викторсона.

Дактилоскопический оттиск!

Как близко сошлись свободные пальцы барда с наемной рукой Михея!

Для старой поэзии здесь нет ничего позорного.

Деревенская Россия была так нища, что поэтов хоть в сельские учителя отдавай.

Так, бедному Некрасову пришлось поступить в сельские старосты, а Надсону — выступать на студенческих вечерах.

Тогдашняя Россия требовала от поэтов одного: скорее развозить в легоньких дрожках заученных размеров сведения о российской торговле и промышленности и тюки гражданских идей.

Если теперь прийти к вам и сказать: «Я вот поэт, извольте»:

Стонет в собственном бедном домишке,
Свету божьего солнца не рад...

Вы руками замахаете. «Оставьте, — скажете, — исследование экономического положения трудящегося крестьянства взяла на себя политическая экономия». Сегодняшняя городская жизнь характеризована высшим разделением труда.

Профессия должна точно определить цель своего напряжения.

Цель поэта — слово.

Причина действия поэта на человека не в том, что стих его — чемодан для здравого смысла, а в способности находить каждому циклу идей свое исключительное выражение.

Сейчас в мир приходит абсолютно новый цикл идей. Выражение ему может дать только слово-выстрел.

Этого не хотят понимать старые. Занялись описыванием фактов. Когда-то в прабабушкинские времена поэт, верный списыватель быта, заносил:

Кричали женщины ура
И в воздух чепчики бросали,

а Брюсов с таким же аршинчиком подходит к сегодняшним событиям:

Бросали польки хризантемы
Ротам русских радостных солдат.

Господа, довольно в белом фартуке прислуживать событиям!

Вмешайтесь в жизнь!

Мы сильнее, мы вам поможем!

Ведь дорогу к новой поэзии завоевали мы, первые заявившие:

— Слово — самоцель.

[*1914*]

РОССИЯ. ИСКУССТВО. МЫ

Если я не устал кричать «мы», «мы», «мы», то не оттого, что пыжится раздувающаяся в пророки бездарь, а оттого, что время, оправдав нашу пятилетнюю борьбу, дало нам силу смотреть на себя, как на законодателей жизни.

Сейчас две мысли: Россия — Война, это лучшее из всего, что мыслится, а наряднейшую одежду этой мысли дали мы. Да! И много лет назад.

Читайте!

«Славяне! В эти дни Любек и Данциг смотрят на нас молчаливыми испытателями — города с немецким населением и русским славянским именем... Ваши обиды велики, но их достаточно, чтобы напоить полк коней мести — приведем же их и с Дона и Днепра, с Волги и Вислы. В этой силе, когда Черная гора и Белград, дав обет побратимства, с безумством обладающих жребием победителей по воле богов, готовые противопоставить свою волю воле несравненно сильнейшего врага, говорят, что дух эллинов в борьбе с мидянами воскрес в современном славянстве, когда в близком будущем воскреснут перед изумленными взорами и Дарий Гистасп и Фермопильское ущелье и царь Леонид с его тремя стами. Или мы не поймем происходящего, как возгорающейся борьбы между всем германством и всем славянством? Уста наши полны мести, месть капает с удил коней, понесем же как красный товар свой праздник мести туда, где на него есть спрос — на берега Шпрее. Русские кони умеют попирать копытами улицы Берлина. Мы это не забыли, мы не разучились быть

русскими. В списках русских подданных значится кенигсбергский обыватель Эммануил Кант. Война за единство славян, откуда бы она ни шла, из Познани или из Боснии, приветствую тебя! Гряди! Гряди дивный хоровод с девой Словией, как предводительницей горы. Священная и необходимая, грядущая и близкая война за попранные права славян, приветствую тебя! Долой Габсбургов! Узду Гогенцоллернам!»

Что это? Портрет России, написанный вчера вечером человеком, уже надышавшимся местью и войной? Нет, это озарение провидца художника Велимира Хлебникова. Предсказание, сделанное шесть лет назад. Воззвание к славянам студентам, вывешенное в петроградском университете в 1908 г.

Дружина поэтов, имеющая такого воина, уже вправе требовать первенства в царстве песни.

Понятно, отчего короли слова первые раскрыли сердце алым семенам войны.

Россия борется за то, чтоб не стать хлебным мешком Запада. Если до сегодняшнего дня Германия не сделала попыток обрубить рост России, то только потому, что видела в нас спеющую колонию, которая, налившись, сама упадет в ее зубастую пушками пасть.

Если же на мощную Россию-государство и то смотрели, как на колонию Европы, то Россию-искусство вовсе считали какой-то безнадежной Калугой. Дирижеры вкуса — столицы Берлин, Париж, Лондон.

Удивительный человек русский!

Покупает самую обыкновенную иголку — и ни за что не возьмет ту, на которой марка «Иванов с С-ми», а обязательно потребует пышное клеймо «Excelsior».

Если у русского косца, когда он взмахивает сталью, горит немецкое «Solingen», если даже автомобили, тяжко громыхающие на Запад, окрещены — «Sauer», то, конечно, никому и в голову не придет протестовать, что, например, на русской живописи до последнего бунта молодых лежала лапа тупого мюнхенства.

Шишкины, Айвазовские — жертва.

Русские до того не уважают себя, что только тогда начинают признавать за человеком место большого

художника, когда он совершит путешествие с поклоном в Мекку за границу.

Что приобретается?

Вместо чувства русского стиля, вместо жизнерадостного нашего лубка — легкомысленная бойкость Парижа или гробовая костлявость Мюнхена.

Пора знать, что для нас «быть Европой» — это не рабское подражание Западу, не хождение на помочах, перекинутых сюда через Вержболово, а напряжение *собственных* сил в той же мере, в какой это делается *там*!

Я далек, конечно, от мысли, что все не наше — дрянь.

Но какой позор, например, когда из русских театров выкинули немецкий репертуар всех этих Вагнеров, Гауптманов, и мы чуть не остались без театра!

И это в то время, когда плеяда молодых русских художников — Гончарова, Бурлюк, Ларионов, Машков, Лентулов и друг. — уже начала воскрешать настоящую русскую живопись, простую красоту дуг, вывесок, древнюю русскую иконопись безвестных художников, равную и Леонардо и Рафаэлю.

Общество обязано, бросив вчерашний смешок, изменить свое отношение к этим художникам и их строительству храма новой русской красоты.

Русская литература (новейшая) числит в себе непревзойденные образцы слова.

Это та литература, которая, имея в своих рядах Хлебникова, Крученых, вытекала не из подражания вышедшим у «культурных» наций книгам, а из светлого русла родного, первобытного слова, из безымянной русской песни.

Ему дорогу!

[*1914*]

БЕЗ БЕЛЫХ ФЛАГОВ

Газета «Новь» дала место голосу молодых поэтов.

Я знаю, что среди большой публики, читающей газету, у нас едва ли наберется полсотни сторонников, да и эти немногие смотрят на нас, как на людей, стоящих только накануне того шага, после которого наше искусство может стать великим, но может стать и смешным.

Я ни разу не льстил себе мыслью, что руководители газеты «Новь», принимая мои статьи, стихи, отобранные мною, делают это из сочувствия нашим идеям, из уверенности в нашей правоте.

Мы для газеты — калишские беглецы.

Оказав гостеприимство, хозяин просто не может быть жесток с принятыми, увидев в них людей иных взглядов. Это мелочь. Важнее знать, отчего мы сделались беглецами: оттого ль, что, позорно удирая с плохо укрепленных позиций, решили эксплоатировать доверие добрых или с уверенностью в правоту своего дела, бившиеся до последней капли крови, только на секунду поддались перед численно сильнейшим врагом?

Я знаю, что мы бойцы. Поэтому спокойно и радостно отвечу на вопрос: «Кто вы?»

Первое сомнение, на которое хочется ответить, — Алексея Порошина: «Мне кажется — слишком много старчества оплетено другом этой молодости. В чем тут слова молодой силы?»

Для общественного деятеля молодость в правде идей, для него нет физической старости.

Для поэта молодость не в красоте убеждений, а в теле, в силе передачи того, что чувствует.

Стихи, вышедшие на страничке «Траурное ура», «Бельгия», «Мама и убитый немцами вечер» и др. по своему комплексу идей не молоды. Действительно, кому нужны в минуту общественного подъема идеи о «дороге слез», проложенной бельгийскими дочерьми, о матери, «вплакавшейся в орущих о побитом неприятеле?» Речь политического борца может быть теперь только одна: «Не важны страдания одного человека, когда выковывается свободная судьба государств». Для поэта же и слезы и даже бессилие могут петь и молодость и всё, что необходимо сегодняшнему дню. Для поэта важно не что, а как. Есть слезы и слезы.

Андреев говорит, что есть слезы, от которых только «краснеет лицо и намокает платочек», а есть и такие, которые «выжигают города, и дикие звери даже разбегаются» от них. Если и пролиты в наших стихах, то только эти, последние слезы. Мы считаем за стариков людей, пишущих не в нашем лагере, не потому, что они не выкрикивают кличей, соответствующих духу времени — этого у них много — а потому, что творят их старческими, притупленными нервами.

Они могут только описывать: «Бросали польки хризантемы ротам русских радостных солдат», — это не горение творящего художника, а хладнокровная, бесчувственная запись немки-стенографистки. А рядом разве не образ жгучей печали, скорбная, ждущая Варшава, с расплакавшимся на шее, обагренным ранами заката, вечером?

Разве не вечный призыв к мести убийцам сказка о вплетенной в брабантские кружева печали, которая в волнах бальных платьев разнесется по всей Европе.

Но печаль молодого только потому самая скорбная из печалей, что гроза его самая громовая из гроз!

Возьмите боевые кличи нашего Хлебникова, разве это не славословие мощи, гордости и побед.

Вот:

От Грюнвальда я: истуканы,
С белым пером на темени,
В рубахах белых великаны
Бились с рожденным на Немане.

От Коссова я: дружины свой бег
Правят победно на трупах.
Я и колол, и резал, и сек
Павших от ужаса, глупых!

Тот же К. Большаков в стихе «Дифирамб войне» прославляет гром пушек:

За то, что вместо душ болиды
Вложил в бестрепетную грудь,
Часам твоей святой корриды
В глазах вовеки не уснуть.

Вот потому-то, что равно отдаются наши нервы и печали похорон и венчанию победами, я считаю вправе ответить на первый упрек:

«Нет! Мы молодые!»

Но молодости мало.

Надо еще показать, что жестокость и неверность нашей речи — не косноязычие юнцов, а обдуманная измена новаторов.

Здесь придется потратить минуту на сообщение о посещении футуризма Николаем Раевским.

Он прямо говорит: «Ничего нового».

Доказательство такое: приводит стихотворение «Мама... Дым. Дым. Дым еще» и заявляет: «Это набор слов, ничего не понимаю»; потом приводит строчки дряхлейшего декадента: «Всходит месяц обнаженный при лазоревой луне» и тоже заявляет: «Это набор слов, ничего не понимаю».

Заключение г. Раевского: «Раз я ни там, ни тут ничего не понимаю, значит это одно и то же. Значит, футуристы не новаторы. Долой!»

Позвольте, г. Раевский, раз вы две вещи *одинаково* не понимаете, то сами-то вещи от этого не становятся *одинаковыми*.

Одно из главных положений футуризма — «слово — самоцель». Критик замечает, что об этом говорили и в шестидесятых годах и наши предшественники, декаденты. Верно. Например, Брюсов писал:

Быть может, все в жизни лишь средство
Для ярко певучих стихов,
И ты с беспечального детства
Ищи сочетания слов

На первый взгляд кажется, что слову отведена здесь решающая роль. На самом же деле от слова, как показывают стихи поэтов этой группы, взята только внешняя, звуковая оболочка.

Например, Бальмонт:

Я вижу Толедо, я вижу Мадрид.
О, белая Леда,
Твой блеск и победа
Различным сияньем горит.

Таким же нанизыванием красивеньких, но праздных звуков занимаются футуристы? Нет.

Нам слово нужно для жизни. Мы не признаем бесполезного искусства. Каждый же период жизни имеет свою словесную формулу. Борьба наша за новые слова для России вызвана жизнью. Развилась в России нервная жизнь городов, требует слов быстрых, экономных, отрывистых, а в арсенале русской литературы одна какая-то барская тургеневская деревня. Мы же берем каждый живущий сейчас предмет, каждое вновь родившееся ощущение и смотрим — правильное ли соотношение между ними и именами. Если старые слова кажутся нам неубедительными, мы создаем свои. Ненужные сотрутся жизнью, нужные войдут в речь. Например, Хлебников, пользуясь соответствующими выражениями в других глаголах, дал около пятисот производных от глагола «любить», — совершенно правильные по своей русской конструкции, правильные и необходимые.

Это-то творчество языка для завтрашних людей — наше новое, нас оправдывающее.

Нет нужды, если даже в этой задаче мы сблизимся с какой-нибудь мыслью старых. Ведь когда египтяне или греки гладили черных и сухих кошек, они тоже могли добыть электрическую искрv, но не им возносим мы песню славы, а тем, кто блестящие глаза дал повешенным головам фонарей и силу тысячи рук влил в гудящие дуги трамваев.

[*1914*]

ВОЙНА И ЯЗЫК

«Железовут», «льтец», «льтица». Неправда, какие нерусские слова?

Встреться они вам в литературном произведении — и вы сейчас же забракуете последнее, как футуристическую чепуху.

Отчего?

Оттого ли, что они и на самом деле не нужны и логически бессмысленны, или, доверясь протесту вашего консервативно настроенного уха, вы хотите задержать необходимейшее развитие речи.

Возьмите две пуговицы на спине вашего сюртука. Вы тщательнейше следите за ними. Именно без этих-то двух пуговиц вы не берете сюртука у портного... А в сущности зачем они вам? Затем, чтоб было чему отрываться? Когда-то, когда ваши отдаленнейшие предки полжизни проводили на лошадях, они пристегивали к ним путающиеся фалды, но ведь теперь вас носят трамваи, — так зачем вам эти пуговицы? Конечно, вы оправдаетесь, — вам некогда спороть, а так они не мешают. Может быть, на сюртуке и нет, а на каком-нибудь другом предмете или ощущении — да!

Возьмите какой-нибудь факт!

Ну, скажем, проводят рельсы, берут вагон, прицепят коней. Если подобный факт облечь в звуковой костюм, получится слово «конка». Жизнь работает.

Коней заменят электричеством, а люди, не умеющие придумать нового названия, еще долго говорят

«электрическая конка». На словесной одежде «электрический» слово «конка» — это две ненужные пуговицы.

Вы скажете, что так теперь уже никто не говорит. Возьмите другое общеупотребительное выражение «красные чернила».

Очевидно, то, что называется «чернила», было раньше только черное. Теперь появилось красное, лиловое. Название этому предмету придумать не могли, и вот склеили два слова, друг друга исключающие. На слове «*красные*» слово «*чернила*» — это та же мешающая пуговица.

Конечно, может быть, еще два месяца назад вы, невозмутимо сидя в столовой, могли два часа вести разговор, чтоб дать словесное выражение какому-нибудь пустяку. Но теперь в скучающие дни войны мы, как американцы, должны помнить «время — деньги». Мы должны острить слова. Мы должны требовать речь, экономно и точно представляющую каждое движение. Хотим, чтоб слово в речи то разрывалось, как фугас, то ныло бы, как боль раны, то грохотало б радостно, как победное ура.

Люди по трехлетней привычке бранят футуристов и их новшества, но что же ценное можно получить от старой, уже бывшей в употреблении, литературы? Вот, напр., «Универсальная библиотека», чтоб удовлетворить потребность разговаривать войной, выпустила сборник «Война в русской лирике».

Вы накинетесь, вам интересно знать, как чувствуют жизнь те, уже слышавшие и пение пуль и нытье шрапнелей, и вдруг наталкиваетесь на стих Рылеева (хорошо, что еще «Слово о полку Игореве» не напечатали):

В лесу дремучем, на поляне
Отряд наездников сидит.

Послушайте! «Дремучая поляна» и «сидящие наездники» — ведь это же для сегодняшнего дня настоящая «электрическая конка»! Боже меня сохрани говорить скверно о Рылееве, но в чью безумную голову вкралась мысль красоту сегодняшней жизни аргументировать этим столь далеким прошлым?

Или Валерий Брюсов:

> Не вброшены ль в былое все мы,
> Иль в твой волшебный мир, Уэльс?
> Не блещут ли *мечи* и *шлемы*
> Над *стрелами* звенящих рельс?

«Мечи», «шлемы» и т. д., разве можно подобными словами петь сегодняшнюю войну! Ведь это язык седобородого свидетеля крестовых походов. Живой труп, право, живой труп.

Ненужность, старость этих поэтов в том, что они словесную оболочку, звуковое платье берут истрепанные. Поймите! Каждое чувство, каждый предмет вырастает вон из одежды слова. Одежда треплется. Надо менять.

Возьмите какое-нибудь слово. Вот сейчас все треплют слово «ужас». Какое истрепанное слово! Кто из вас не говорит на каждом шагу: «Я ужасно люблю фиалки», «Ужас, как хочется чаю». Вот поэтому-то понятно, отчего Толстой, прочтя андреевский «Красный смех», начинающийся словами: «Безумие и ужас...», сказал, улыбаясь: «Он пугает, а мне не страшно». Не страшно потому, что «безумие», «ужас» — это слова писательские, не связанные с настоящей жизнью. Очевидно, когда-то слово «ужас» соответствовало какому-то цельному ощущению, а теперь это слово обветшало, впечатление, вызываемое когда-то им, надо назвать другим именем. Что делать?

На одной лекции г. Шкловский приводил такой грубый, но очень умный пример. Один математик все время звал ученика: дурак, дурак и дурак. Ученик привык, смотрел тупо и равнодушно. Но когда раз вместо ожидаемого «дурак» учитель ему бросил «дура», мальчик расплакался. Отчего? Оттого, что, *изломав* слово, математик заставил понять, что оно ругательное.

Эти житейские примеры в теории языка показывают, что слова надо менять, ломать, изобретать ежедневно новые определения, новые сравнения.

Вот почему мне ничего не говорит слово «жестокость», а «железовут» — да. Потому что последнее звучит для меня такой какофонией, какой я себе представляю войну. В нем спаяны и лязг «железа»,

и слышишь, как кого-то «зовут», и видишь, как этот позванный «лез» куда-то.

Для меня величайшим чувством веет поэтому от таких строчек В. Хлебникова:

Железовут играет в бубен,
Надел на пальцы шумы пушек.

Если вам слово «железовут» кажется неубедительным, бросьте его. Придумайте что-нибудь новое, яснее выражающее тонкие перепутанные чувства. Мне дорог пример из Хлебникова не как достижение, а как доро́га.

Это — первое требование жизни.

Второе — сделать язык русским. Конечно, это не имеет ничего общего с желанием называть калоши мокроступами, потому что делается это не произвольно, а сообразно общим законам рождения слов.

Пример:

В жизнь вводится совершенно новая сила — воздухоплавание. Отчего имена всем его возможностям даны иностранные?.. Авиатор, авиационный день. Если слов, определяющих эти новые предметы, раньше не было, то обязанность поэта ввести их в речь.

Возьмите глагол «крестить», от него производное день крещения — «крестины»; в сходном глаголе «летать» день летения, авиационный день, должен называться — «летины».

Читать — чтец, чтица. Летать — льтец, льтица.

Повторяю. Я предлагаю эти слова не как единственное разрешение задачи (глаголы «читать» и «летать» разнятся — они разны по залогам), а как путь словотворчества.

Русский язык — второе требование жизни.

Пересмотр арсенала старых слов и словотворчество — вот военные задачи поэтов.

На вчерашней странице стояло Петербург. Со слова Петроград перевернута новая страница русской поэзии и литературы.

[*1914*]

БУДЕТЛЯНЕ

(Рождение будетлян)

Будетляне — это люди, которые *будут*.

Мы накануне.

Еще месяц, год, два ли, но верю: немцы будут растерянно глядеть, как русские флаги полощутся на небе в Берлине, а турецкий султан дождется дня, когда за жалобно померкшими полумесяцами русский щит заблестит над вратами Константинополя!

Довольные вернутся работники к земле и фабрикам, спокойно помня, что в Эссенской губернии когда-то страшный Крупп миролюбиво и полезно выделывает самовары.

Но кто из пепла снова вознесет города, кто опять заполнит радостью выгоревшую душу мира, кто этот новый человек?

Неужели это тот, вчерашний, с позвоночником, искривленным от двухлетнего танго? Неужели это тот самый, что, позевывая, шел на «Ревность» или на лекцию об аборте, а потом до нового тусклого дня дремал в трактирах всех разрядов с куском недоеденной капусты, запутавшимся в бороде, с усами, обмокшими в водке?

Нет, радуйтесь! Эти уже вымирают!

Знайте: под серым пиджаком обывателя вместо истасканного и пропитого тельца наливаются мощные мускулы Геркулеса!

История на листе, длиной от Кронштадта до Баязета, кровавыми буквами выписала матери-России метрическое свидетельство о рождении нового человека.

Он еще мал.

В нем еще много вчерашних, дурных привычек: он пьет политуру, ходит к Незлобину на премьеры Арцыбашева, но ищите — и вы найдете черты здорового созидателя завтрашнего дня.

За ним!

Не бойтесь! Этот новый человек не таинственный иог, за которым надо гоняться по опасной Индии; это не одинокий отшельник, для новизны бегущий в пустыню.

Он здесь же, в толкучей Москве!

Он — извозчик, пьющий на Кудрине чай в трактире «Бельгия»; он — кухарка Настя, бегущая утром за газетой, вдохновенный поэт, пишущий стихи только для себя, потому что сегодня каждая мелочь его работы, даже та, которая кажется только лично полезной, на самом деле часть национального труда, а русская нация, та единственная, которая, перебив занесенный кулак, может заставить долго улыбаться лицо мира.

Стать делателем собственной жизни и законодателем для жизни других — это ль не ново для русского человека, заклейменного слепой литературой, как байбак и тысячелетний Обломов?!

Ведь раньше Россию делили на «мыслящую» и «серую». Первая — самовлюбленный конклав нытиков, как ночной сторож, оберегавший бессловесную серую. Толпа и герои. Бедная толпа, со всех сторон кто-нибудь правит! Сейчас центр тяжести главенства переместился. Каждый — носитель грядущего. Судьбу России решает войско, а ведь войско — мы все: кто уже сражается, кто идет на смену павшим, с малиновыми ополченскими знаменами, кто завтра, достигнув предельного года, призовется в свой черед. А солдат теперь не мясо. Военная теория последних дней вычеркнула движение громадных колонн, заменив стадное подчинение свободной инициативой миллиардов отдельных. Каждый должен думать, что он — тот последний, решающий исход борьбы... Осознание в себе правовой личности — день рождения нового человека. Это — основа, на которой рождается личный героизм. Но кому нужны теперь громкие поступки! Дело не мирится с ними. Да сейчас и не заметят героя оттого, что нет оттеняющей его серой массы. Силу надо

лить в другое. Раньше личный героизм стоял обособленно. В лучшем случае он был «безумством храбрых», уничтожающим саму личность. Но сегодняшняя буря такова, что под ней не пройдешь, слегка придерживая шляпу одним пальцем. Нет, надо схватиться всеми руками, иначе ветер сорвет ее вместе с головой. Общность для всех людей одинаковой гигантской борьбы, уничтожившей на сегодня и мнения, и партии, и классы, создала в человеке «шестое» чувство, чувство, что ваше биение, даже помимо воли, есть только отзвук миллионно-людных ударов сердца толпы.

Помните слова генералиссимуса Жоффра:

«Слава богу, у меня нет героев!»

История в последней войне ввела новую силу — *сознательную* жизнь толп. Явления приобретают необычайный масштаб. Если один человек еле выносит удар кулака, то он среди тысяч таких же вынесет сокрушающие молоты громаднейших гор. Мозг, расширившись, как глаза у испуганного зверя, приучается воспринимать раньше невыносимую катастрофичность.

Сознание, что каждая душа открыта великому, создает в нас силу, гордость, самолюбие, чувство ответственности за каждый шаг, сознание, что каждая жизнь вливается равноценною кровью в общие жилы толп, — чувство соли́дарности, чувство бесконечного увеличения своей силы силами одинаковых других.

Все это вместе создает нового человека: бесконечно радостного оптимиста, непоборимо здорового!

Теперь вы понимаете, почему сегодня утром почтальон, принесший открытку, так гордо держал голову?..

Вчера вернулся с войны один мой товарищ — санитар. Маленький, но бесконечно любящий красоту артист. Кажется, единственное, что он умел, тонкими пальцами щелкать, как кастаньетами. У нас на вечеринке я попросил его выщелкать какой-то мотив. Начал и замялся. Я осмотрел его пальцы. Изуродованы. «Осколками шрапнели, — объяснил он, — когда вынимаешь у раненого, торопишься и царапает». Он говорил, как стлались снаряды, как ему, упавшему от трехдневных бессонных перевязок, принесли кружку кровавой воды из Вислы...

Я удивился. Ведь это не его «профессия», ведь даже убить могут? Возмутился:

Нет, не могут. Когда полк идет в атаку, в общем мощном «ура» ведь не различишь, чей голос принадлежит Ивану, — так и в массе летящих смертей не различишь, какая моя и какая чужая. Смерть несется на всю толпу, но, бессильная, поражает только незначительную ее часть. Ведь наше общее тело остается, там на войне дышат все заодно, и поэтому там — бессмертие.

Так из души нового человека выросло сознание, что война не бессмысленное убийство, а поэма об освобожденной и возвеличенной душе.

Сравните эту душу с душой десять лет назад.

Андреевский «Красный смех». Война рассматривается только как ужас, как липкая, одуряющая кровь. Это — оттого, что Андреев, выразительнейший сын своего времени, видел войну только как больной крик одного побитого человечка. Он не знал, что каждый может стать гигантом, удесятерив себя силой единства.

Вот почему все старые писатели: Сологуб, Андреев и др.— возвеличивали смерть, возвеличивали страдание, кончину, а великая, но до сегодняшнего дня не принятая народная песня поет радость. В то время как писатель печален — «идем на смерть», народ в радости — «идем на ратный подвиг».

Изменилась человечья основа России. Родились мощные люди будущего. Вырисовываются силачи будетляне.

Пока они поселились в старом доме, где от прабабушек остались пропахшие временем безделушки «изящной» литературы, где еще не умолкли сплетни теток Вербицких, где по стенам картины вывезенных неумными барами «заграничных» европейцев, но еще один этап времени, — и создадут мощную обстановку здоровому телу.

И вот, борясь с насилиями прошлого, с тупой силой изжитых авторитетов, — перед этим сегодня начавшимся новым человеком благоговейно снимаю шляпу.

[*1914*]

КАК БЫ МОСКВЕ НЕ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ХУДОЖНИКОВ

Мюнхен: двадцать шесть тысяч регистрированных художников!..

Париж: пятьдесят тысяч художников!..

Что это? Мировые оранжереи искусства? Нежнейшие орхидеи, умеющие рождаться только под небами Ницц?

Ничего подобного! Это самые обыкновенные русские!

Один мой приятель скульптор, колеся по немецкому искусству, остановился перед каким-то его «шедевром», кажется, медной дебелой дамой, именуемой «Бавария». Моему приятелю, человеку порядочному, конечно, не оставалось ничего лучшего, чем отозваться несколько крепко по адресу этого бездарного безвкусия. Человек деликатный, он сделал это по-русски, щадя национальное самолюбие дюжины джентльменов с рисовальными папками, расположившихся вокруг. Велико было его смущение, когда в ответ — гомерический хохот: все эти, попыхивающие трубками, были наши соотечественники, ученики немецких академий.

Заграничные поездки, освященные, как высшая награда, всеми нашими академиями, университетами, консерваториями, сделали то, что русские котируются на мировой бирже искусства не как великие, обновляющие мир, а как вечные ученики.

Опять и опять приходит на язык эпиграмма Хлебникова:

Новаторы до Вержболова,
Что ново здесь, то там не ново!

Господа, неужели вас не гнетет:

Величайший *русский* скульптор Паоло Трубецкой не умеет говорить по-русски!

Л. Бакст получил звание академика в Петрограде за то, что в салоне Пуаре дает лучшие выкройки парижских мод!

Я знаю наверное, что, конечно, многие из будущих талантов каким-нибудь из бесчисленных августов гуляли по этой самой Москве в чаянии найти место, где можно учиться у родных родному искусству, и над потертой плисовой курткой добродушно смотрело русское веснушчатое лицо туляка или калужанина.

Кто же их тянет к Штукам и Кормонам?

Тянет их то, что в Москве нет академии художеств.

Есть только худосочная маленькая школка, называющаяся Училище живописи, ваяния и зодчества.

Найти это затерянное на Мясницкой учреждение было б даже немыслимо, если б его не спасло одно незначительное обстоятельство: училище против известного всем почтамта. Поэтому-то только и не потерялось. Говоришь извозчику: «Мясницкая, против почтамта», он и находит.

Чем же в этом таинственном училище занимаются? На этот вопрос ответить очень легко..., но лучше сначала узнайте, чем в нем не занимаются.

Прежде всего в нем никто и никогда не писал картин, да и не мог писать. Писание картин — это знание о том, как расположить на холсте красочные пятна, какую дать этим пятнам форму и как их отнести друг к другу. Это первая, главная наука, называющаяся композицией, — так вот классов, посвященных ей, нет совершенно. Даже домашние эскизы сделали обязательными только какой-то месяц назад.

Отсюда (пройдите по ежегодным отчетным выставкам училища или по ученической, открывающейся 25-го)

потрясающая одинаковость: не изучая основ чужого стиля, нельзя найти и своего лица.

Далее: нет классов, изучающих движение как анатомическое (отсюда безграмотность), так и движение взгляда на задачи искусства вообще (отсюда мертвость идей красоты и неспособность найти, наконец, искусство, характеризующее Россию).

Нет работы по изучению материалов, т. е. того, что, бальзамируя картины, делает художника бессмертным.

В то время как Веласкеца можно видеть всего, до последнего кокетливого рубина, у Врубеля за несколько лет «Демон» из лилового сереет вследствие полного изменения краски.

Нет... Одним словом, нет ничего, чему *можно* учить. Нет науки искусства.

Чему же учат?

Как раз тому, чему нельзя учить:

Вкусу искусства.

Копируют, копируют, без конца копируют натуру, но так как нет ученой подготовки, то на это списывание приходится смотреть не с точки зрения школы, а как на искусство. Прилагая же критерий «красиво» вместо «верно», преподаватели вкладывают в еще беззубый рот ученику свой пережеванный вкус, совершенно не заботясь о том, не покажется ли после этого несчастному даже радостная вкусная весна коричневой и горькой, как пастернак?

Что это именно так, доказывается фактом: после смерти В. А. Серова класс портрета передали... Коровину.

Позвольте, как Коровину!.. Ведь он в жизни портретов не писал. Раз попробовал написать Шаляпина, выставил на «Союзе» красочный этюд, где к кулаку-голове были приставлены ноги, громадные, как у памятника Пушкину, — так даже безобидные ученики смеялись!

В том-то и дело, что училище, ставя задачей «вкус», считает себя вправе дать в руководители портретистам пейзажиста-декоратора.

Что делать ученику?

В лучшем случае он может усвоить недурной чужой вкус, да и то не чей-то собственный, большой, русский, а вывезенный из-за границы: теперь, когда заинтересовались идеями национального искусства, ведь видят, что Шишкин, например, добросовестнейший немец, рабски подражавший Мюнхену. Далеко ли время, когда и у остальных спросят: «Простите, вы русский?» Тогда придется переломать в училище гипсы, снести в подвал копии с иностранцев (как это сделали в Мюнхене с Шишкиным) и вернуться к изучению народного творчества.

Идти от жизни, а не от картин.

До сих пор «свободные художники» училища внимательно следили за добрым настроением училищных умов: лишили ученика всякой борющейся самостоятельности.

Запрещено выставлять картины на общих выставках (еще бы, неумелости-то без людей спокойнее), запрещено выступать на всяких публичных собраниях, посвященных искусству (еще бы, вдруг догадаются, что какой-нибудь «маститый» просто фотограф Фишер).

Конечно, с этим не мирились, и каждый год десятки изгнанных или ушедших добровольно выправляют заграничные паспорта.

Расчет верный: если все равно приходится учиться чужому, то хоть брать его из первых рук.

И...

Мусатов признан был только проштемпелеванный Парижем...

Гончарову повозили за границей (кажется, признавать начинают?!).

Бялыницкий-Бируля подписывается по-французски.

Разъездились!

Но кому нужно это проглаженное Европой искусство?

Печально, а все-таки прав Щукин, который, собрав громадную галерею, не купил ни одной картины русского художника.

Хоть теперь, когда граница закрыта, надо откопать живописную душу России, надо вместо лириков,

пейзажистов с настроением — оружейных мастеров знания.

Молодые!

Боритесь за создание новой свободной академии, выйдя из которой, могли бы диктовать одряхлевшему Западу русскую волю, дерзкую волю Востока!

А то, что это за

«Мясницкая, против почтамта!»

[*1914*]

ПОЭЗОВЕЧЕР ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА

О поэзии Игоря Северянина *вообщё* сказано много. У нее много поклонников, она великолепна для тех, чей круг желаний не выходит из пределов:

Пройтиться по Морской с шатенками.

Но зачем-то ко всему этому притянута война? Впечатление такое: люди объяты героизмом, роют траншеи, правят полетами ядер, и вдруг из толпы этих «деловых» людей хорошенький голос: «Крем де виолет», «ликер из банана», «устрицы», «пудра»! Откуда? Ах да, это в серые ряды солдат пришла маркитантка. Игорь Северянин — такая самая маркитантка русской поэзии.

Вот почему для выжженной Бельгии, для страдальца Остенде у него только такие «кулинарные» образы:

О, город прославленных устриц!

Поэтому и публика на лекции особенная, мужчины котируются как редкость: прямо дамская кофейная комната у Мюра и Мерилиза.

Публики для военного времени много.

Нетерпеливо прослушан бледный доклад Виктора Ховина, ополчившегося на воинственный итальянский футуризм и пытавшегося теоретически обосновать воспевание «гурманства» и «трусости», о которой дальше проскандировал Северянин:

Да здравствует святая трусость
Во имя жизни и мечты!

После вышел «сам». Рукоплескания, растущие с каждым новым стихотворением. Еще бы: «это — король мелодий, это — изящность сама». Увлекаются голосом, осанкой, мягкими манерами, — одним словом, всем тем, что не имеет никакого отношения к поэзии. Да в самом деле, не балерина ли это, ведь он так изящен, ну, словом —

Летит, как пух из уст Эола:
То стан совьет, то разовьет
И быстрой ножкой ножку бьет.

[*1914*]

БЕГОМ ЧЕРЕЗ ВЕРНИССАЖИ

Для москвичей рождественская неделя — неделя верниссажей. Чуть ли не над каждой квартирой, способной вместить пятьсот полотен, взвиваются всецветные флаги, как будто в город въехали посольства каких-то фантастических государств. Теперь время, когда к каждому государству, даже когда-то дружелюбному, приглядываешься с опаской — как бы не ограбило; вот почему и к этим послам красочных держав подходишь забронированный недоверием.

Только, пожалуйста, не подумайте, что я — критик.

Я видел одного «критика» на вернисcаже «Союза»: он так пристально уткнулся в пейзаж Жуковского, что я его заботливо попросил: «Пожалуйста, отойдите немножко, вы же нос можете в его голубеньких красочках вымазать, если картина не засохла».

Ужас профессиональной критики в том, что она в лучшем случае видит только саму картину, ни с чем ее больше не сравнивает; и так вот из года в год пишут: «В этом году Л. О. Пастернак написал себя в шубе, художник превосходно почувствовал мягкий рисунок каракуля; это, мол, хорошо: видно, что двигается вперед, а то в прошлом году он себя писал в сером пиджаке, а в позапрошлом — на балконе». Так высохла критика и стала бесстрастным каталогом картин.

В картинах запутались, как пошехонец в трех соснах, и не видят за ними леса — искусства.

Вот публика — это дело другое.

Она смотрит на искусство не как на массу безделушек,

годных только для коллекционирования, а как на пророка, диктующего миру светлые законы грядущей жизни.

Что же нужно человеку и что ему дают?

Сейчас человек вышел из норок какого-то самоедского пережевывания самого себя, — ему нужно искусство, отмеченное сегодняшней всечеловеческой трагедией, чтобы под него, как под вдохновляющий боевой марш, стоило сражаться, не заботясь о себе.

Посмотрите идущих на вернисcажи: вот девушка, ее помогающая рука отмечена благородным крестом; мужчины — в мундирах войны, а со стены плакаты с криком: «Помогите раненым» опять напоминают, что много уже художников пало под пулями и много траурных вдов!

Открывает ли им какую-нибудь радость, заменяет ли хоть одну потерю чем-нибудь великим сегодняшний художник?

Берите блиндированный авто и — по выставкам! «Союз».

Это — самое ласковое государство и самое крепкое.

«Союз» — это накипь после все-таки бунтовавшей в свое время «Передвижной», слегка подмешанная вульгарными правилами западного импрессионизма: голубенький воздух, целые краски.

Но если у «Передвижной» была в прошлом борьба, вызов, брошенный академии уходом не желавших подчиняться изжитому классицизму молодых, то у этих не было никакого искания... Это — эклектики. Взяли готовые, нравящиеся публике приемы от всех течений и приспособили их к выделыванию хорошеньких картинок.

Единственный больной нерв этих художников — боязнь не понравиться.

Впрочем, с этим нервом они великолепно справились, выставляя в продолжение двенадцати лет одинаковые, совершенно одинаковые картины. Эта общая признанность куплена ими ценою низведения живописи до обойного ремесла.

Скучны и этот вечный «дачник» С. Ю. Жуковский и аленький с розовеньким К. Коровин, перенесший

в станковую живопись «Гайда, тройка» декоратора. Да, под этим флагом — «зеленый с белым» — примостились послы вульгарного вкуса из державы прочного благополучия.

«Передвижная».

Проходишь по унылым залам, как по газетной передовице: все мораль и идеи.

Конечно, быть строгим на этой выставке неуместно. Невольно вспоминаешь строчки из автобиографического стихотворения Бальмонта:

Но в расцвете не забудьте, что и смерть, как жизнь, прекрасна
И что царственно величье холодеющих могил.

Возвышенные столицы это поняли и посылают передвижникам только скучающих институток под надзором классных дам.

Но вот беда.

«Передвижная» двигается. Единственная кочующая по всем городам России. Вдруг где-нибудь в Таганроге подумают, что эти три приторные и сальные очередные львицы Бодаревского и есть настоящее лицо ищущей красоты России.

Флаг «желтый, лиловый и белый».

Смотришь на его древко и боишься — вдруг зашатается, выползет из-под него костлявый мертвец и завоет по Гоголю:

«Ох, душно мне, душно!»

Думаешь рассеять чувство скуки хоть выставкой «Московского общества художниц»: все-таки молодое общество, к тому же феминизм, принимающий такие размеры, ведь должен же дать что-нибудь яркое.

Может быть, осуществилась мечта Северянина:

Въезжает дамья кавалерия
Во двор дворца под алый звон!

Идешь. Есть хорошие картины. Смотришь каталог: Илья Машков, Казимир Малевич.

Позвольте, да это ж мужчины! А все остальное — букетики в круглых золоченых рамочках.

Грустно, если

> Так процветает Амазония,
> Вся состоящая из дам!

Отчего нет значительного молодого искусства?

Ведь есть же юноши, еще не тронутые ни жаждой быть украшением гостиной, ни сединой маститых.

Вот они!

Выставка Училища живописи, ваяния и зодчества.

Сначала удивляешься, отчего вернисаж — в первый день праздников: ведь в этот день люди делятся обычно на визитеров и сидящих дома. Спросил облеченного в вельвет ученика.

— Эх! — мрачно махнул он рукой. — Все равно к нам настоящая публика не пойдет.

Отчего?

Оттого, что ежегодная чистка училища от сколько-нибудь проявляющих самостоятельность учеников сделала ученические картины или робкими классными этюдами с натурщика, или более или менее добросовестной копией с профессора.

Рассматривать их можно только по группам: вот группа под К. Коровина, вот — под А. Васнецова.

Под этим «зеленым с желтым» флагом — ненужная, уже должная быть пройденной, азбука.

Конечно, есть на выставках подтверждающие критику исключения: Крымов — в «Союзе», Келин — портреты на «Передвижной», Машков... хорошо, но случайно.

Придут молодые, сильные художники и заставят отозвать послов из этих враждебных хорошеньких государств.

А пока ненужно и старчески зло смотрят эти вывески ушедшей молодости.

«Передвижная» — 43 года.

Ученическая — 36 лет...

[*1914*]

О РАЗНЫХ МАЯКОВСКИХ

1

Милостивые государыни и милостивые государи!

Я — нахал, для которого высшее удовольствие ввалиться, напялив желтую кофту, в сборище людей, благородно берегущих под чинными сюртуками, фраками и пиджаками скромность и приличие.

Я — циник, от одного взгляда которого на платье у оглядываемых надолго остаются сальные пятна величиною приблизительно в дессертную тарелку.

Я — извозчик, которого стоит впустить в гостиную, — и воздух, как тяжелыми топорами, занавесят словища этой мало приспособленной к салонной диалектике профессии.

Я — рекламист, ежедневно лихорадочно проглядывающий каждую газету, весь надежда найти свое имя...

Я —...

Так вот, господа пишущие и говорящие обо мне, надеюсь, после такого признания вам уже незачем доказывать ни в публичных диспутах, ни в проникновенных статьях высокообразованной критики, что я так мало привлекателен.

Таков вот есть Владимир Владимирович Маяковский, молодой человек двадцати двух лет.

Желающих еще больше укрепить уверенность в справедливости моих слов прошу внимательно изучить прилагаемую при этой статье фотографическую карточку: микроцефала с низким и узким лбом слабо украшает пара тусклых вылинявших глаз.

К этому убийственному заключению я пришел вовсе не для того, чтоб лишить честного заработка своих же товарищей по перу, а просто это так и есть.

Но, черт возьми, какое вам до всего этого дело?

Когда вы смотрите на радугу или на северное сияние, — вы их тоже ругаете? Ну, например, за то, что радугой нельзя нарубить мяса для котлет, а северное сияние никак не пришить вашей жене на юбку? Или, может быть, вы их ругаете вместе и сразу за полное равнодушие к положению трудящихся классов Швейцарии?

Считая вас всех за очень умных людей, полагаю, что вы этого не должны были бы делать.

Не делаете потому, что у радуг есть свои определенные занятия, выполняемые ими талантливо и честно.

Так, пожалуйста, изругав нахала, циника, извозчика двадцати двух лет, прочтите совершенно незнакомого поэта Вл. Маяковского.

2

Милостивые государыни и милостивые государи!

Не правда ли, только убежденный нахал и скандалист, исхищряющий всю свою фантазию для доставления людям всяческих неприятностей, так начинает свое стихотворение:

Вы мне — люди,
И те, что обидели,
Вы мне всего дороже и ближе.
Видели,
Как собака бьющую руку лижет?

А не для того ли только нож хулигана заносится над детищами тех поэтов, которые не мы, — чтоб от

упивания сюсюканьем расслабленных каждый из вас перешел к гордости и силе?

Нам, здоровенным,
С шагом саженьим,
Надо не слушать, а рвать их,
Их,
Присосавшихся бесплатным приложением
К каждой двуспальной кровати.
Нам ли смиренно просить — помоги мне,
Молить об гимне, об оратории?
Мы сами творцы в горящем гимне,
Шуме фабрики и лаборатории.

Рекламист?! Разве он не только для того позволяет назвать себя Заратустрой, чтоб непреложнее были слова, возвеличивающие человека?

Слушайте!
Проповедует, мечась и стеня,
Сегодняшнего дня крикогубый Заратустра!
Мы,
С лицом, как заспанная простыня,
С губами, обвисшими, как люстра,
Мы,
Каторжане города — лепрозория,
Где золото и грязь изъязвили проказу,
Мы чище венецианского лазорья,
Морями и солнцами омытого сразу.
Плевать, что нет у Гомеров и Овидиев
Людей, как мы —
От копоти в оспе.
Я знаю,
Солнце б померкло, увидев
Наших душ золотые россыпи.
Жилы и мускулы просьб верней.
Нам ли вымаливать милостей времени?
Мы каждый держим в своей пятерне
Миров приводные ремни.

Подумайте, если не устает непонимаемый и непринятый вытачивать и вытачивать строчки, — то не потому ли только, что знает: ножами будут они в ваших руках, когда крикнут:

Идите, голодненькие, потненькие, покорненькие,
Закисшие в блохастом грязненьке,
Идите!

Понедельники и вторники
Окрасим кровью в праздники.
Пускай земле под ножами припомнится,
Кого хотела опошлить,
Земле, обжиревшей, как любовница,
Которую вылюбил Ротшильд.

Что же? — и освистанным быть не обидно ведь:

Я, проходящий у сегодняшнего племени,
Как длинный скабрезный анекдот,
Вижу идущего через горы времени,
Которого не видит никто.

И если для его прихода надо, чтоб:

Это взвело на Голгофу аудиторий
Петрограда, Москвы, Одессы, Киева,
И не было ни одного, который
Не кричал бы:
Распни,
Распни его!

все равно нахалу, цинику, извозчику и рекламисту одна радость знать —

Когда, приход его мятежом оглашая,
Выйдете радостные,
Вам я
Душу вытащу,
Растопчу,
Чтоб большая,
И окровавленную дам, как знамя.

Милостивые государыни и милостивые государи!

Строчки стихов взяты из второй трагедии поэта Маяковского — «Облако в штанах».

Всю книгу, обрадованные, прочтете, когда выйдет.

Выйдет в октябре.

Страшно заинтересованные читатели, которым, конечно, трудно будет ждать до октября, могут читать журнал «Взял», он выйдет значительно раньше.

Это будет великолепный журнал российского футуризма.

Не правда ли, какой тонкий переход от поэта Маяковского к молодому человеку двадцати двух лет?

Все-таки как будто такой развязный тон недостоин поэта? А мне какое дело? Вы, которые думаете иначе,

Как вы смеете называться поэтом
И, серенький, чирикать, как перепел?
Сегодня надо кастетом
Кроиться миру в черепе.

[*1915*]

КАПЛЯ ДЕГТЯ

«РЕЧЬ, КОТОРАЯ БУДЕТ ПРОИЗНЕСЕНА ПРИ ПЕРВОМ УДОБНОМ СЛУЧАЕ»

Милостивые государи и милостивые государыни!

Этот год — год смертей: чуть не каждый день громкою скорбью рыдают газеты по ком-нибудь маститом, до срока ушедшем в лучший мир. Каждый день тягучим плачем голосит петит над множеством имен, вырезанных Марсом. Какие благородные и монашески строгие выходят сегодня газеты. В черных траурных платьях похоронных объявлений, с глазами, блестящими кристальной слезой некролога. Вот почему было как-то особенно неприятно видеть, что эта самая облагороженная горем пресса подняла такое непристойное веселье по поводу одной очень близкой мне смерти.

Когда запряженные цугом критики повезли по грязной дороге, дороге печатного слова, гроб футуризма, недели трубили газеты: «Хо, хо, хо! так его! вези, вези! наконец-то!» (страшное волнение аудитории: «Как умер? футуризм умер? да что вы?»)

Да, умер.

Вот уже год вместо него, огнеслового, еле лавирующего между правдой, красотой и участком, на эстрадах аудиторий пресмыкаются скучнейшие когано-айхенвальдообразные старики. Год уже в аудиториях скучнейшая логика, доказывание каких-то воробьиных истин вместо веселого звона графинов по пустым головам.

Господа! да неужели вам не жалко этого взбалмошного, в рыжих вихрах детины, немного неумного,

немного некультурного, но всегда, о! всегда смелого и горящего. Впрочем, как вам понять молодость? Молодые, которым мы дороги, еще не скоро вернутся с поля брани; вы же, оставшиеся здесь для спокойного занятия в газетах и прочих конторах; вы — или неспособные носить оружие рахитики или старые мешки, набитые морщинами и сединами, дело которых думать о наиболее безмятежном переходе в другой мир, а не о судьбах русского искусства.

А знаете, я и сам не очень-то жалею покойника, правда из других соображений.

Оживите в памяти первый гала-выход российского футуризма, ознаменованный такой звонкой «пощечиной общественному вкусу». Из этой лихой свалки особенно запомнились три удара под тремя криками нашего манифеста.

1. Смять мороженницу всяческих канонов, делающую лед из вдохновения.

2. Сломать старый язык, бессильный догнать скач жизни.

3. Сбросить старых великих с парохода современности.

Как видите, ни одного здания, ни одного благоустроенного угла, разрушение, анархизм. Над этим смеялись обыватели как над чудачеством сумасшедших, а это оказалось «дьявольской интуицией», воплощенной в бурном сегодня. Война, расширяя границы государств, и мозг заставляет врываться в границы вчера неведомого.

Художник! тебе ли тоненькой сеточкой контуров поймать несущуюся кавалерию. Репин! Самокиш! уберите ведра — краску расплещет.

Поэт! не сажай в качалку ямбов и хореев мощный бой — всю качалку разворотит!

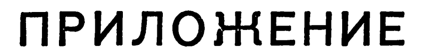
Изламыванье слов, словоновшество! Сколько их, новых во главе с Петроградом, а кондуктрисса! умрите, Северянин! Футуристам ли кричать о забвении старой литературы. Кто за казачьим гиком расслышит трель мандолиниста Брюсова. Сегодня все футуристы. Народ футурист.

Футуризм мертвой хваткой ВЗЯЛ Россию.

Не видя футуризма перед собой и не умея заглянуть в себя, вы закричали о смерти. Да! футуризм умер как особенная группа, но во всех вас он разлит наводнением.

Но раз футуризм умер как идея избранных, он нам не нужен. Первую часть нашей программы — разрушение мы считаем завершенной. Вот почему не удивляйтесь, если сегодня в наших руках увидите вместо погремушки шута чертеж зодчего, и голос футуризма, вчера еще мягкий от сентиментальной мечтательности, сегодня выльется в медь проповеди.

[*1915*]


ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕКСТЫ ДЛЯ ИЗДАТЕЛЬСТВА «СЕГОДНЯШНИЙ ЛУБОК»

ЛУБКИ—ПЛАКАТЫ

1

Сдал австриец русским Львов,
Где им зайцам против львов!

Да за дали, да за Краков
Пятить будут стадо раков!

2

Австрияки у Карпат
Поднимали благой мат.

Гнали всю Галицию
Шайку глуполицую.

3

Шел австриец в Радзивилы,
Да попал на бабьи вилы.

4

У Вильгельма Гегенцоллерна
Размалюем рожу колерно.

Наша пика — та же кисть,
Если смажем — ну-ка счисть!

5

В славном лесе Августо́вом
Битых немцев тысяч сто вам.

Враг изрублен, а затем он
Пущен плавать в синий Неман.

6

1. Обвалилось у Вильгельма
Штыковое рыжеусие,
Как узнал лукавый шельма
О боях в восточной Пруссии.

2. Опустив на квинту профиль,
Говорит жене — Виктории:
Пропадает наш картофель
На отбитой территории.

3. Как же вышло это, ишь ты,
Что сижу теперь в галоше я?
А сулили Конопишты
Предприятие хорошее.

4. Рим надул нас, подло бросив,
Плох союз с турецким пекарем.
Чую — дядя Франц-Иосиф
Будет в Киеве аптекарем.

5. Женка! Эх! Уйдем в безбурье!
Я набрел на мысль прекрасную:
Мы откроем в Петербурге
Королевскую колбасную.

6. Так и вышло. В Пятой роте
Продает мясное крошево.
«Эй, ребята! Аль зайдете!
Право купите задешево!»

7

Выезжал казак за Прут,
Видит — немцы прут да прут.

Только в битве при Сокáле
Немцы в Серет ускакали.

8

Эх и грозно, эх и сильно
Жирный немец шел на Вильно,

Да в бою у Оссовца
Был острижен, как овца.

9

Подошел колбасник к Лодзи,
Мы сказали: «Пан добродзи!»

Ну, а с Лодзью рядом Радом,
И ушел с подбитым задом.

10

Глядь, поглядь, уж близко Висла:
Немцев пучит — значит, кисло!

И

Под Варшавой и под Гродно
Били немцев как угодно.

Пруссаков у нас и бабы
Истреблять куда не слабы!

12

Масса немцев пеших, конных
Едут с пушками в вагонах,

Да казаки на опушке
Раскидали немцам пушки.

И под лих казачий гомон
Вражий поезд был изломан!

13

Ну и треск же, ну и гром же
Был от немцев подле Ломжи!

14

Немец рыжий и шершавый
Разлетался над Варшавой,

Да казак Данило Дикий
Продырявил его пикой.

И ему жена Полина
Шьет штаны из цепелина.

15

Немцы! Сильны хоша вы,
А не видеть вам Варшавы.

Лучше бы в Берлин поперли,
Все пока не перемерли.

16

Эх ты немец, при да при же,
Не допрешь, чтоб сесть в Париже.

И уж братец — клином клин:
Ты в Париж, а мы в Берлин!

17

Вильгельмова карусель

«Под Парижем на краю
Лупят армию мою,

А я кругом бегаю,
Да ничего не сделаю».

18

У союзников французов
Битых немцев полный кузов,

А у братцев англичан
Драных немцев целый чан.

19

Эх, султан, сидел бы в Порте,
Дракой рыла не попорти.

20

Плыли этим месяцем
Турки с полумесяцем.

Как бы турки у Синопа
Не увидели потопа.

21

Англичан у Гельголанда
Сторожила немцев банда,

Да сломали чресла у
«Гебена» и «Бреслау».

А турки в Константинополе
Взяли и заштопали.

Как бы с этого у турка
Не облезла штукатурка.

22

1. Хвастал Кайзер на параде —
Выпью чаю в Петрограде.

2. Едет с ситным и с закуской,
Да подметил немца русский,

3. И у Равы Русы
Ему выдрал усы.

4. Эх, пустить бы эту птицу
Пить сибирскую водицу.

ЛУБКИ—ОТКРЫТКИ

1

Живо заняли мы Галич,
Чтобы пузом на врага лечь.

2

Эх, и милый город Лык,
Поместился весь на штык!

3

Как заехали за Лык —
Видим — немцы прыг да прыг!

4

Не ходи австриец плутом —
Будешь битым русским кнутом.

5

По утру из Львова вышли,
Заночуем в Пржемышле.

6

Как австрийцы да за Краков
Пятят, будто стадо раков.

7

Скоро, скоро будем в Краков —
Удирайте от казаков!

8

Как орда Вильгельма, братцы,
Стала в поле спотыкаться.
Да в бою под Ковно
Вся была подкована.

9

Выезжали мы из Ковны,
Уж от немцев поле ровно.

10

Ах ты, милый город Люблин,
Под тобой был враг изрублен.

11

Эх ты, немец! Едем в Калиш,
Береги теперь бока лишь.

12

Как к Ивану-городу
Смяли немцу бороду.

13

Эх, и поле же у Торна,
На Берлин итти просторно!

14

Русским море по колено:
Скоро нашей будет Вена!

15

Немцу только покажи штык,
Забывает, бедный, фриштык.

16

С криком: «Deutschland über alles!»
Немцы с поля убирались.

17

Франц-Иосиф с войском рад
Взять у сербов Белоград.
Только Сербия — она им
Смяла шею за Дунаем.

18

Вот как немцы у Сувалок
Перепробовали палок.

19

Подходили немцы к Висле,
Да увидев русских — скисли.

20

Как начнет палить винтовка,
Немцу будто и не ловко.

21

Выезжали мы за Млаву
Бить колбасников на славу.

22

Хоть у немца пушки Круппа,
Обернулось дело глупо.

23

Шел в Варшаву — сел у Пылицы.
Хоть ревет, а драться силится.

24

И без шляпы и без юбок
Убежала немка в Любек.

25

Жгут дома, наперли копоть,
А самим-то неча лопать.

26

Немцы, с горя сев в Берлин,
Раздувают цепелин.

27

Как казаки цепелину
Ободрали пелерину.

28

Неужели немец рыжий
Будет барином в Париже?
Нет уж, братцы,— клином клин,
Он в Париж, а мы в Берлин.

29

Хочет немец, зол и рыж,
У французов взять Париж.
Только немцы у француза
Положили к пузу пузо.

30

Ах, как немцам под Намюром
Досталóсь по шевелюрам.

31

Турки, севши у Димотики,
Чешут с голоду животики.

32

Немка турка у Стамбула
И одела, и обула.

[*1914*]

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

О НОВЕЙШЕЙ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

I. Борьба за освобожденное искусство и поэзия.

1) Философия искусства и философия жизни — два различных мира. Философия жизни — математическая логика, философия искусства — непосредственная интуиция.

2) Живопись и поэзия первые сознали свою свободу.

3) Аналогичность путей, ведущих к постижению художественной истины, у живописи и поэзии.

4) Цвет, линия, плоскость — самоцель живописи — живописная концепция, слово, его начертание, его фоническая сторона, миф, символ — поэтическая концепция.

II. Пройденные этапы русской поэзии.

1) Литературность поэзии.

2) Боязнь индивидуализма.

3) Аполлон и аполлонизм — рассадники духовного филистерства.

III. Наши достижения — основа свободной поэзии.

1) Связь нашей поэзии с мифом, в частности с русским, культ языка как творца мифа.

2) Свойства слова — поэтический импульс.

3) Возрождение первобытной роли слова.

[*1912*]

ПРИШЕДШИЙ САМ

I. Слово — самоцель поэзии (рождение и развитие поэтического произведения обусловливается внутренней жизнью самого слова).

1) Слово против содержания.

2) Слово против языка (литературного, академического).
3) Слово против ритма (музыкального, условного).
4) Слово против размера.
5) Слово против синтаксиса.
6) Слово против этимологии.

II. У нашей поэзии нет предшественников.

Поэзия до нас.
1) Литературность поэзии.
2) Пушкин, Достоевский, Толстой, разница количественная, а не качественная.
3) Отсутствие импрессионизма.
4) Бальмонт: парфюмерия мысли.
5) Брюсов: бумажный оруженосец XX века.

III Мы.

1) Возрождение истинной роли слова (народная песня).
2) Кубизм в слове.
3) Футуризм в слове.
4) Мы и эго-футуристы.
5) Мы и критики («Аполлон», ощипанный посланец античного мира).

[*1913*]

ПЕРЧАТКА

1) Ходячий вкус и рычаги речи.
2) Лики городов в зрачках речетворцев.
3) Berceuse [1] оркестром водосточных труб.
4) Египтяне и греки, гладящие черных сухих кошек.
5) Складки жира в креслах.
6) Пестрые лохмотья наших душ.

[*1913*]

ДОСТИЖЕНИЯ ФУТУРИЗМА

I. «Завтрашний день весь в футуризме».

1) Квазимодо. Критика.
2) Газеты и журналы так милы в смехе.
3) Критика в хвосте поэзии.

---

[1]) Колыбельная *(франц.)*

Образцы вульгарной критики.
Корней Чуковский, Сергей Яблоновский, Валерий Брюсов и другие.

4) Основы научной критики.

II. Мы в микроскопах науки.

1) Взаимоотношение сил жизни.
2) Город дирижер.
3) Группировка художественных сект.
4) Задача завтрашнего дня.
5) Достижения футуризма сегодня.

Литературный параллелизм. Запад и мы.
Маринетти. Толстый роман, звукоподражание.
Самостоятельность русского футуризма.
Люди кулака драки, наше презрение к ним.

6) Русские футуристы Д. Бурлюк, Н. Бурлюк, Крученых, Лившиц, Хлебников и Каменский Вас.
7) Различие в достижениях, позволяющее говорить о силе каждого.
8) Идея сегодняшнего футуризма как ценный вклад в идущую историю человечества.

[*1913*]

БАБУШКАМ АКАДЕМИЙ

1) Вчерашние достижения и сегодняшний день.
2) Группировки художественных сил в России.
3) «Бубновый валет» (переход на амплуа «домашние»).
4) Гончарова, Ларионов (би-ба-бо лучизма).
5) «Союз Молодежи».
6) Знатные иностранцы.
7) Матисс, Пикассо, Бочиони.
8) Сказки о русских подражателях.
9) Параллелизм в искусстве.
10) Завтрашний день — футуристы!

[*1913*]

ПЕРВАЯ ОЛИМПИАДА РОССИЙСКОГО ФУТУРИЗМА

Поведет состязающихся Владимир Маяковский

I. Мы.

Новые гунны.

О меди и о мясе.

Гений без костюма.

Зачем узоры на лицах и галстуки из аршина весны?

Если есть Давид Бурлюк, значит «стальные грузные чудовища» нужнее Онегина, а если пришел Игорь Северянин, значит Crême de violettes глубже Достоевского.

Я какой?

II. *Состязаются*:

Вадим Баян (стихи)

Игорь Северянин (поэзы)

Давид Бурлюк (стихи)

Владимир Маяковский (стихи и куски трагедии. Шла в Петербурге, Театр Комиссаржевской).

[*1914*]

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «НОВЬ»

Под кличкой «русские футуристы» — группа, объединенная ненавистью к прошлому, но люди различных темпераментов и характеров. Оставляя в стороне слоновью игривость с фразами «тухлые яйца», «перронный букет», мы высказываем свое мнение о встрече Ф. Маринетти и наших к нему литературных отношениях. Отрицая всякую преемственность от итало-футуристов, укажем на литературный параллелизм: футуризм — общественное течение, рожденное большим городом, который сам уничтожает всякие национальные различия. Поэзия грядущего — космополитична.

Вот и вся сказка об учителе и учениках.

Авторами письма от 5 февраля были гг. Д. Бурлюк и В. Каменский, подписями же остальных, очевидно, воспользовались как цитатой. Насколько это допустимо, обратитесь к совести авторов.

Константин Большаков,
Владимир Маяковский,
Вадим Шершеневич.

[*1914*]

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «БИРЖЕВЫЕ ВЕДОМОСТИ»

М. Г. г. Редактор!

Не откажите в любезности напечатать следующее письмо.

В только что вышедшем под редакцией А. Беленсона втором сборнике «Стрелец» мне пришлось выступить рядом с распоясавшимся В. Розановым. Правда, об участии в сборнике В. Розанова мне было заявлено А. Беленсоном раньше, но прошлое «Стрельца», сборника с чисто-литературными устремлениями, а также фамилия редактора казались мне достаточной гарантией отсутствия

каких бы то ни было науськивающих строчек. К сожалению, именно такими строками полна статья Розанова «Из последних страниц истории русской критики». А. Беленсон в своем стихотворении «Автопортрет», помещенном в той же книге редактируемого им сборника, пишет: «Глаз осмысленно прищурен». Едва ли. Если бы глаз был прищурен осмысленно, не трудно было бы увидеть, насколько не идет охотно-рядская гримаса симпатичному лицу «Стрельца». Появление столь неприятного соседа заставляет меня считать себя впредь не имеющим к «Стрельцу» никакого отношения.

Примите уверения в совершенном почтении.

В. Маяковский.

21 августа 1916 года.

ВАРИАНТЫ
И
РАЗНОЧТЕНИЯ

Я сам (стр. 7)

«Новая русская книга»:

Заглавие отсутствует (напечатано в разделе «Писатели — о себе»).

Гл. «Главное». Вместо «Грузия» — «Г. С. Р.»

Гл. «Состав семьи». После слов «Мама: Александра Алексеевна. Сестры: а) Люда б) Оля» — «Живут К. Пресня, д. 44 кв. 6а. Есть еще тетя Анюта».

Гл. «2-ое воспоминание». Вместо «Б. П. Глушковский» — «В. Глушковский». Вместо «Боря...», «Борю...» — «Вася...», «Васю». Вместо «Я и считал» — «Я считал».

Гл. «3-е воспоминание». Вместо «Утром бросился бежать бегом» — «Утром бросился бегом».

Гл. «Корни романтизма». Вместо «Мечталось — это Россия» — «Мечталось о России».

Гл. «Необычайное». «Клепочный завод князя Накашидзе» — отсутствует.

Гл. «906-й год». Вместо «С тех пор терпеть не могу» — «С тех пор терпеть не люблю».

Гл. «Чтение». «Но главным образом марксизм» — «но» отсутствует.

Гл. «Партия». Вместо «1908 год» — «1907 год».

Гл. «Так называемая дилемма».— Вместо «Нелегальным, казалось мне, не научишься» — «Нелегальным не научишься».

Гл. «Начало мастерства». Вместо «Поэт почитаемый» — «Поэт читаемый».

Гл. «Веселый год». После «овладение словом» — «(1 часть первого тома)».

Гл. «Война». Упоминание о заказных плакатах отсутствует.

Гл. «Призыв». Вместо «Цензура в него дула» — «Цензура раздула».

Гл. «18-й год». Вместо абзаца «Отчего не в партии?..» — «Дисциплина заставила б меня что-нибудь «делопроизводить». А это все равно, что броненосец на велосипед переделывать».

Гл. «22-й год». Вместо «Организую» — «Организовываю». После слов «Будет показано искусство через 500 лет» — «Задумано: О любви. Громадная поэма. В будущем году кончу.

На очереди 2 пьесы: а то их мало и дрянь.

З а к л ю ч е н и е

Сказанным не думал исчерпаться. Кроме всего изложенного, люблю, напр., астрономию. «Розовый фонарь» закрыли после чтения мной «Через час отсюда». Бродячую тоже чуть не за «Вам, проживающим». Но на это надо уже романы писать. А я поэт. И это — так наз. автобиография. Все».

«13 лет работы»:

Гл. «Главное». Вместо «Грузия» — Г.С.Р.

Гл. «Состав семьи». После слов «Мама: Александра Алексеевна. Сестры а) Люда. б) Оля» — «Живут К. Пресня д. 44 кв. 6а. Есть еще тетя Анюта».

Гл. «2-ое воспоминание». Вместо «Б. П. Глушковский» — «В. П. Глушковский». Вместо «Боря...», «Борю...» — «Вася», «Васю».

Гл. «3-е воспоминание». Вместо «Утром бросился бежать бегом» — «Утром бросился бегом».

Гл. «Необычайное». «Клепочный завод князя Накашидзе» — отсутствует.

Гл. «906-й год». Вместо «С тех пор терпеть не могу» — «С тех пор терпеть не люблю».

Гл. «Чтение» «Но главным образом марксизм» — «но» отсутствует.

Гл. «Так называемая дилемма». Вместо «Нелегальным, казалось мне, не научишься» — «Нелегальным не научишься».

Гл. «Начало мастерства». Вместо «Поэт почитаемый» — «Поэт читаемый».

Гл. «Веселый год». После «овладение словом» — «(I часть первого тома)».

Гл. «Война». Упоминание о заказных плакатах отсутствует.

Гл. «Призыв» вместо «Цензура в него дула»—«Цензура раздула».

Гл. «22-й год». См. варианты «Новой русской книги».

Сб. «255 страниц»:

Гл. «Главное». Вместо «Грузия» — «Г.С.С.Р.»

Гл. «Состав семьи». После слов «мама: Александра Алексеевна. Сестры а) Люда б) Оля» — «Живут: К. Пресня, д. 44, кв. 6а. Есть еще тетя Анюта».

Гл. «3-е воспоминание». Вместо «Утром бросился бежать бегом» — «Утром бросился бегом».

Гл. «Так называемая дилемма». Вместо «Нелегальным, казалось мне, не научишься» — «Нелегальным не научишься».

Гл. «Война». Упоминание о заказных плакатах отсутствует.

Гл. «22-й год». Окончание главы и заключение см. варианты «Новой русской книги».

Кроме приведенных выше имеются варианты общие для всех трех упомянутых изданий, а также для 1 тома Сочинений:

Гл. «Тема». Вместо «Об остальном» — «Люблю ли я, или я азартный, о красотах кавказской природы также».

Гл. «Состав семьи». В первых трех изданиях — «Есть еще тетя Анюта», в 1 томе Сочинений — «Была еще тетя Анюта».

Гл. «Первое воспоминание». Вместо «Дядя с тетей» — «Мужчина с тетей».

Гл. «Социализм». Вместо «Фигурой нравился Лассаль» — «Фигурой понравился Лассаль».

Гл. «Партия». «Здесь работать не пришлось — взяли» — отсутствует.

Гл. «Арест». «29 марта 1908 г.»— отсутствует. Вместо «Возможно, провел» — «Провел». Со слов «И опять кратковременная сидка» до конца главы — отсутствует.

Гл. «Третий арест». В заглавии «Второй арест». После слов «Живущие у нас» — «(Коридзе [нелегальн. Морчадзе], Герулайтис и др.)»— отсутствует. После слов «Меня забрали» — «Дома нашли револьвер и нелегальщину».

Гл. «11 бутырских месяцев». Вместо «Махмудбеков отхлопотал меня у Курлова» — «друг отца Махмудбеков заявил, что револьвер его, и отхлопотал меня у Курлова».

Гл. «Пощечина». Вместо «Вдвоем дали имя и выпустили» — «дал имя и выпустил».

Гл. «Война». В первых трех изданиях слова «Плакаты заказные и, конечно, вполне военные. Затем»...— отсутствуют. В 1 томе Сочинений вместо этих слов — «Рисование заказных плакатов».

Гл. «Призыв». Во фразе — «Теперь итти на фронт не хочу» — «теперь» отсутствует.

Гл. «18-й год». Во фразе — «В искусстве и просвещении пока соглашатели» — «пока» отсутствует.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Ночь (стр. 33)

«Пощечина общественному вкусу»:

11 И каждый хотел протащить хоть немножко.

Утро (стр. 34)

«Пощечина общественному вкусу»:

8—10 Нее, легко встающих звезд оперлись
Ноги.

30 костров

Порт (стр. 36)

«Садок судей»:

Заглавие — Отплытие.

1—6 Простыню вод под брюхом крылий
порвал на волны белый зуб
был вой трубы как запах лилий
любовь кричавших медью труб.
И взвизг сирен забыл у входов
недоуменье фонарей.

Уличное (стр. 37)

«Садок судей»:

Заглавие отсутствует.

8 Скрестили синих молний копья
9 В резной руке единый глаз
12 Безглазым ликом Василиска.

Из улицы в улицу (стр. 38)

Листовка «Пощечина общественному вкусу»:

Заглавие отсутствует.

18—19 Пестр как фо-
рель-сы
Н

42—43 С улицы синий чулок

«Требник троих»:

Заглавие — Разговариваю с солнцем у Сухаревой башни.

18—19 Пестр как фо-
Рель-сы-
Н

23 Тянет из пасти трамваев
27 Лифт
28 Души
42—43 С улицы синий чулок

А вы могли бы? (стр. 40)

Автограф

6 Прочел я зовы вещих губ,
10 на флейтах водосточных труб?

«Требник троих»:

Заглавие отсутствует

1 Я стер границы в карте будня
3 И показал на блюде студня
6 Прочел я зовы вещих губ
10 На флейтах водосточных труб?

В тексте альманаха сначала следуют строки 5—10, потом строки 1—4.

Фонографическая запись:

10 на флейтах водосточных труб

Вывескам (стр. 41)

«Требник троих»:

Заглавие отсутствует.

2—5 Под флейтой золоченной буквы
Копченые выползут сиги
И нежные головы брюквы.
И если с веселостью песьей
9—10 Когда же узрите в парче вен
Светилен махровые знаки

Кое-что про Петербург (стр. 43)

«Требник троих»:

Заглавие отсутствует.

6 Туда где моря блещут блюда
8 Реки двугорбого верблюда

«Простое как мычание»:

Заглавие — Кое-что про Петроград.

За женщиной (стр. 44)

«Требник троих»:

Заглавие отсутствует.

5 В расплавах меди домов полуда
13—16[1] Спугнув . . . .
19 И вырвав солнце из черной сумки

[1] Здесь и далее в подобных случаях точками обозначаются цензурные изъятия.

«Простое как мычание», «Все сочиненное», «13 лет работы»:
20 ударил злобно по ребрам крыши

Кроме того «Простое как мычание»:
14 арканом в небе поймали...

Я (стр. 45)

Сборник «Я!»:
4 Бьют жестких фраз пяты
15 Города-
вые

«Дохлая луна»:
15 городо-
вые

Несколько слов о моей жене (стр. 46)

Сборник «Я!», «Дохлая луна» (1 и 2 изд.):
6—8 Крикливо тянется любовь созвездий пестрополосая
Венчается с автомобильным гаражем
Целуется с газетными киосками
14 В шелках озерных ведь ты же висла
19—20 Ведь это ж дочь твоя моя же песня

«Простое как мычание»:
7 Венчается с автомобильным гаражем
8 целуется с газетными киосками

Несколько слов о моей маме (стр. 47)

Сборник «Я!», «Дохлая луна» (1 изд.):
Заглавие — О моей маме.
7 Что опять увижу
25—26 Кто же приласкает золотые руки
Вывеской изломанные
У витрин Аванцо?

«Дохлая луна» (2 изд.):
Заглавие — О моей маме.

Несколько слов обо мне самом (стр. 48)

Сборник «Я!», «Дохлая луна» (1 изд.):
Заглавие — Теперь про меня.
2—3 Вы прибоя смеха
Мглистый вал
Заметили б за слоновьим хоботом

7—8 А полночь промокшими пальцами щупала
12 Скакал сумасшедше топор
13 Я вижу он сквозь город бежал
17 Слов исступленных вонзая кинжал
21 сжалься ж хоть ты и не мучай
23—24 Это ж душа моя клочьями порванной тучи
31 Я ж одинок как последний глаз

«Дохлая луна» (2-е изд.):

Заглавие — Теперь про меня.
3 заметили б за тоски слоновьим хоботом
7—8 А полночь промокшими пальцами щупала
12 скакал сумасшедше собор
13 Я вижу... сквозь город бежал
21 Сжалься ж хоть ты и не мучай
23—24 Это ж душа моя клочьями порванной тучи
30 в божнице уродца века
31 я ж одинок, как последний глаз

Исчерпывающая картина весны (стр. 50)

Автограф:

Листочки
Лес поставил после
точки строчек лис
точки.

«Дохлая луна» (1 и 2 изд.):

1—3 Лис-
Точки
После
Точки
Строчек
Лис-
Точки.

В 1 издании альманаха заглавие — Весна.

От усталости (стр. 51)

«Дохлая луна» (1 и 2 изд.), корректура «Для первого знакомства»:

11—12 Сестра в богадельнях идущих веков

Любовь (стр. 52)

«Дохлая луна» (1 изд.):

1 Женщина пугливо куталась в болото
3—5 В шпалах копошился рыжеватый кто-то

И упорно в буклях проходили локомотивы
Но в облачные пары сквозь солнечный угар
8 А женщина поцелуи кидает как окурки

«Дохлая луна» (2 изд.), корректура «Для первого знакомства»:
5 Но в облачные пары сквозь солнечный угар
8 А женщина поцелуи кидает как окурки

«Простое как мычание»:
4 укорно в буклях проходили локомотивы.
8 а женщина поцелуи бросает как окурки.

Мы (стр. 53)

«Дохлая луна» (1 изд.):
Заглавие отсутствует.
1 Ле-
Зем
Зем
Ле
3—4 На губах каналов дредноутов улыбки поймать
10 Черные перья дьяволов бросим любимым на шляпы

«Дохлая луна» (2 изд.):
1 Ле-
Зем
Зем-
Ле
3—4 На губах каналов дредноутов улыбки поймать
11 Перья линяющих бросим любимым на шляпы

Шумики, шумы и шумищи (стр. 54)

«Дохлая луна» (1 и 2 изд.):
Заглавие отсутствует.
5 Проносят девочки крохотные шумики
6 И ящики гула пронесет грузовоз
8 И трамвай расплещет перекаты гроз,
9 И все на площадь сквозь тоннели пассажей
12 На царство толкучек коронован шум.

Адище города (стр. 55)

«Молоко кобылиц»:
Заглавие — Зигзаги в вечер.
3 Как рыжие дьяволы скакали автомобили
7 И заплакал когда в вечернем смерче
9 А в дырах небоскребов где горела руда.

«Простое как мычание»:

3 Как рыжие дьяволы, вздымались автомобили,

Нате! (стр. 56)

«Рыкающий Парнас»:

5 Вот вы, мужчины — у вас в усах капуста
7—9 Вот вы, женщины: у вас белила густо,
Вы смотрите устрицами из раковин вещей.
И все вы на бабочку поэтиного сердца
11 Толпа озвереет и будет тереться,
13 А если сегодня мне, неотесанному гунну,
17 Бесценных слов я — транжир и мот.

«Для первого знакомства»:

6 где то недокушанных щей
11 Толпа озвереет и будет тереться

«Простое как мычание», «Все сочиненное», «13 лет работы», «Избранный Маяковский»:

6 где-то недокушанных щей;

Ничего не понимают (стр. 57)

«Рыкающий Парнас»:

Заглавие — Пробиваясь кулаками.

1 Я подошел к зеркалу,
Сказал спокойно:
3 Гладкий парикмахер вдруг сделался хвойный,
8 Ругань врывалась от писка до писка.

«Для первого знакомства»:

1 Я вошел к парикмахеру сказал спокойный
3 Гладкий парикмахер сделался сразу хвойный

В авто (стр. 58)

«Кофта фата»:

14—15 «О»
«S»

Кофта фата (стр. 59)

«Первый журнал русских футуристов», корректура «Для первого знакомства»:

В журнальном тексте заглавие отсутствует. В корректуре сборника заглавие — «Желтая кофта».

3—4 И желтую кофту из трех аршинов заката

И по Невскому мира по лощенным полосам его
9 На глади асфальта мне
«хаашо грасировать»
11 А земля мне любовница в праздничной чистке
«Простое как мычание»:
13 Острые и нужные, как зубочистки!

Послушайте! (стр. 60)

«Первый журнал русских футуристов»:
Заглавие отсутствует.
8—9 Торопится на небо боится что опоздал
10—11 Плачет и целует жилистую руку
12—13 И просит чтоб обязательно была звезда
14—15 Клянется что не перенесет эту беззвездную муку
16—18 А после ходит тревожный и
Спокойный наружно
19—21 И говорит кому то ведь теперь ничего не страшно.
Фонографическая запись:
6 Надрываясь
11—15 И целует ему жилистую руку
и просит —
чтобы обязательно была звезда! —
Клянется —
что не перенесет эту беззвездную муку!

А все-таки (стр. 62)

«Первый журнал футуристов»:
Заглавие — Еще я.
1 Улица проваливалась как нос сифилитика
7—8 Одев на голову как рыжий парик
А людям страшно что у меня изо рта
10—13 . . . .
15—20 Ведь меня одного сквозь горящие здания
Проститутки как... на руках понесут
И покажут... в свое оправдание
И... заплачет над моей книжкой
Не слова а судороги смешивая комом
И побежит по... с моими стихами под мышкой
Корректура «Для первого знакомства»:
1 Улица проваливалась как нос сифилитика
7 надев на голову рыжий парик
11 Как пророку цветами устелят след

12—13 Ведь все эти провалившиеся носами знают
Что я их поэт
15 Ведь меня одного сквозь горящие здания
19 Не слова, а судороги, слившиеся комом

Сборник «Для первого знакомства»:

1 Улица проваливалась как нос сифилитика
7 Надев на голову как рыжий парик
11 Как пророку цветами устелят след
13 Я их поэт
19 Не слова а судороги слившиеся комом

Еще Петербург (стр. 63)

«Первый журнал русских футуристов»:

Заглавие — Утро Петербурга.

7 А с крыш смотрела какая то дрянь

«Простое как мычание»:

Заглавие — Еще Петроград.

Война объявлена (стр. 64)

Журн. «Новая жизнь», альм. «Война»:

5—6 Громадную морду обернула кофейня,
Зверем рыча из окровавленного грима...
21 Вздуваются на площади за ротой рота
25 Газетчики надрывались: «Вечернюю! Вечернюю!»
27 А из ночи, черно очерченной черную

«Весеннее контрагентство муз»:

Посвящение — Светлой О.В.Р.— эти стихи.

27 А из ночи, черно очерченной черную,

После 28—20 июля 1915 г. (см. примечания)

«Простое как мычание», «Все сочиненное», «13 лет работы»:

5 Морду разбила кофейня,
27 Из ночи, черно очерченной черную,

Мама и убитый немцами вечер (стр. 66)

Беловой автограф, «Новь», «Весеннее контрагентство муз», «Простое как мычание»:

28 как мертвый кулак с зажатой обоймой.

«Весеннее контрагентство муз»:

Посвящение: Светлой О.В.Р.— эти стихи.

После 49 — Октябрь 1915 г. (см. примечания)

Скрипка и немножко нервно (стр. 68)

Беловой автограф:

Заглавие — Немножко нервно и скрипка.

6—7 А сам больной, не дослушал скрипкиной речи,
19—21 Когда контрабас меднорожий и потный
27—28 и шатаясь пошел через ноты
и сгибающиеся под ужасом пюпитры
29 *отсутствует*
34—35 Я вот тоже кричу,
44 *отсутствует*
45 Будемте жить вместе

«*Театр в каррикатурах*»:

Те же разночтения, кроме строк 44 и 45, совпадающих с основным текстом.

«*Простое как мычание*»:

45 будемте жить вместе!

Я и Наполеон (стр. 72)

Беловой автограф:

16 Уличные толпы небесной влаге
22 А бульварный цветник истекает кровью
60 Он раз [к] чуме приблизился троном
62 Я ж каждый день иду к зачумленным
73 За мной же изъеденные бессонницей

«*Весеннее контрагентство муз*»:

Посвящение — Светлой О.В.Р.— эти стихи.

16 Уличные толпы небесной влаге
20 ..... церковка бульварному изголовью
22 А бульварный цветник истекает кровью,
32—34 Через секунду, встречу я неб....
62 Я ж каждый день иду к зачумленным
73 За мной же изъеденные бессонницей!

После 92 — Москва 1915 г.

«*Простое как мычание*», «*Все сочиненнсе*», «*13 лет работы*»:

16 Уличные толпы небесной влаге

Вам! (стр. 75)

Альм. «Взял».

Заглавие — Вам которые в тылу.

3 как вам не стыдно о представленных Георгию
5—7 Вот вы прохвосты бездарные многие

Все думаете нажраться лучше как
А может быть сейчас бомбой ноги
9 Если бы он . . . .

Гимн судье (стр. 76)

«Новый сатирикон»:

Заглавие — Судья.

2 С трудом выгребая галеру,
6 Где птицы, танцы и бабы,
15 Глаза у судьи — как пара жестянок
38—39 И зря ему дали галеру,
Ведь судьи мешают и птице, и танцу,

«Простое как мычание»:

Заглавие — Судья.

13 И птиц, и танцы, и всех перуанок
17—18 На хвост павлиний оранжево синий
взглянул он строгий, как пост,
39 Ведь судьи мешают и птице, и танцу,

«Кофта фата»:

Заглавие — Судья.

6 Где птицы, танцы и бабы
39 Судьи ж мешают и птице и танцу

Фонографическая запись:

15 Глаза у судьи, как пара жестянок
37 А все-таки, знаете, жаль перуанца
39 Ведь судьи мешают и птице, и танцу.

Гимн ученому (стр. 78)

«Новый сатирикон», «Кофта фата»:

Заглавие — Ученый.

3 Ощетинив щетину и выперев перья,—

Военно-морская любовь (стр. 80)

Фонографическая запись:

12 убежала миноносица

Гимн здоровью (стр. 81)

«Новый сатирикон»:

2 С трудом поворачивая шею бычью,
15 Голодных самок накормим желания,

Гимн критику (стр. 82)

Список, сделанный К. И. Чуковским с черновой рукописи:

1 От страсти извозчика к разговорчивой прачке

3 Ребенок не мусор: не вывезешь на тачке
5 Отец разговаривал, вспоминая родословную
7 Такое воспитание, изящное и салонное,
8 Оберегало ребенка от уклона в свинство.
9 Как роется дворником к белошвейке сапа
11 От нее ребенок унаследовал запах.
12 И способность легко проникать, как мыло
13 И когда он вырос приблизительно с полено
14 I И веснушки выступили как рыжики на блюде
II И веснушки высыпали, как рыжики на блюде.
16 Вывели на улицу, чтобы вышел в люди.
17 Много ли человеку нужно: клочек,
18 небольшие брюки и что нибудь из хлеба
19 Он носом, прицепленным, как подстрочный пятачок,
20 обнюхал серенькое газетное небо.
22 нежнейший в дверь услыхал стук
24 Выдоил и брюки, и (недописано) галстук.
25 Хорошо ему было, обутому и одетому
26 молодых искателей наблюдать (недописано) игры
27 хорошо бы вцепиться ну хотя бы этому
28 скверными зубенками в шальные икры.
29—32 Зато если (недописано)
Как велик был (недописано) или Дант,
Так и кажется, что разлагается в газете
Огромный и жирный официант.
33—34 отсутствуют
35—36 Имя его пер (недописано) голубя белей
первым засияет на поднесенном портсигаре.
38 Писатели! Нас много, соберемте миллион
40 Ежедневно прополаскивать на газетной странице.

«Новый сатирикон», корректура «Для первого знакомства»:

5 Отец в разговорах вспоминал родословные,
12 И способность вникать легко, как мыло.
16 Провели на улицу, чтоб вышел в люди.
17 Много ли человеку нужно? — Клочок,
23 Скоро критик из именитого вымени
27 И думать, как хорошо, ну, хотя бы этому
37 Писатели, нас много! Соберемте миллион

«13 лет работы», «Маяковский улыбается, Маяковский смеется, Маяковский издевается»:

37 Писатели, нас много. Соберемте миллион.

Гимн обеду (стр. 84)

«Новый сатирикон»:

6 Тысячу Реймсов разбить удалось бы —
14 Их зря отец твой выделал,
21 Лежи спокойней, безглазый, безухий,

«Для первого знакомства»:

4 и тысячи блюдищ всякой пищи
6 тысячу Реймсов разбить удалось бы
14 их зря отец твой выделал
21 лежи спокойней, безглазый, безухий

Теплое слово кое-каким порокам (стр. 86)

«Новый сатирикон»:

Подзаголовок отсутствует.

29 Игроческие глаза из ночи
31 Я разгружал какого-то, как настойчивый рабочий
37 И когда говорят мне про труд и еще и еще,
40 «А вы покупаете к пятерке?»

Вот так я сделался собакой (стр. 88)

«Новый сатирикон», «Для первого знакомства»:

Подзаголовок — Нам. Вам. Им.

1 Ну, это уже совершенно невыносимо.
38 большой и собачий!
41 Ко второму прибавился третий и четвертый.
46—47 огромная и злая,—
50 Гав! Ав! Ав!

«Простое как мычание»:

1 Ну, это уже совершенно невыносимо.
50 Гав! Ав! Ав!

Кое-что по поводу дирижера (стр. 90)

«Новый сатирикон», «Для первого знакомства»:

2 Кресла облиты в человечью мякоть,
4 Приказав музыкантам плакать.
7 Труба, изловчившись, в спокойную морду
9 И еще не успел он между икотами
11 Его, избитого тромбонами и фаготами
15 Приказав музыкантам завыть по-зверьи —
19 Дул и слушал — раздутый, удвоенный,
21 А когда наутро, от злобы не евший,

«Простое как мычание», «Все сочиненное», «13 лет работы», «Избранный Маяковский»:

3 Обиженный выбежал дирижер,

Пустяк у Оки (стр. 91)

«Новый сатирикон»:

7 Звезда, как вы хорошая, будто не звезда, а девушка...
12 Как вы прекрасно картавите,
14 А она: «Ну, зачем вы давите

«Кофта фата», «Все сочиненнсе» и «13 лет работы»:

14 Она: «Ну, зачем вы давите

Великолепные нелепости (стр. 92)

«Новый сатирикон»:

10 Громок хозяина бас как
46 скажут, что не было ни ядр, ни фугасов.

Гимн взятке (стр. 94)

«Новый сатирикон», «Все сочиненнсе», «13 лет работы»:

15 Россия сверху — прямо как огород

Внимательное отношение к взяточникам (стр. 95)

«Новый сатирикон»:

21—22 Ведь, может быть, у пристава дети.
Но ведь лишний труд — доить поодиночно,
27 Берите и деньги, и драгоценности мамашины,
40 Берите, милые! Чего там!

«Кофта фата»:

21 может, у пристава дети.
27 берите и деньги и драгоценности мамашины
40 Берите, милые! Чего там!

«Маяковский улыбается, Маяковский смеется, Маяковский издевается»:

Заглавие — Гимн взятке.

Чудовищные похороны (стр. 97)

«Новый сатирикон»:

15 И вдруг из гроба прыснула гримаса,
27 Это большой и носатый,
30 А за ним, ободранная и куцая,
34—35 Но еще и еще откуда-то плачики,
39 Сплошной обрыдавшийся Гаршин
42—44 Размокло лицо и стало — кашица,
Смятая морщинами на выхмуренном лбу,
А если кто и смеется,— кажется,

«Простое как мычание»:
45 ему разодрали губу

Мое к этому **отношение** (стр. 99)

«Новый сатирикон»:
Подзаголовок отсутствует
31 Но этому взял бы да и дал по роже:
«Кофта фата»:
Подзаголовок отсутствует.

Эй! (стр. 101)

«Новый сатирикон»:
Посвящение — Михаилу Александровичу Гринкругу.

Ко всему (стр. 103)

«Стрелец»:
Заглавие — Анафема
11 я ж из ящиков не выкрал серебряных ложек
16 Похотливо взлазил на рожок рожок
28 «постель как постель
42—43 . . . .
После 47 — ма-ра-ла
55 пощады нет
58 клянусь моей звериной силой
72 *отсутствует*
76 Об землю обточатся зубов ножи еще
77 Собакой забьюсь...
85 Белым быком возрос
88 над нею смерчи мух.
98—101 . . . .
103 Иссохните реки
жажду утолить не дав ему
107 *отсутствует*
110 . . . .
118 От окон жидкое солнце льется на спящий город
131 Вам завещаю сад фруктовый
«Простое как мычание»:
Заглавие — Ко всей книге. Посвящение — Л.Ю.Б. [Л. Ю. Брик.]
47—48 «Марала!
Марррала!
Мааарррааала!»

64 . . . .
100—101 . . . .
106 Когда

«13 лет работы»:

Заглавие — Анафема.

Лиличка! (стр. 107)

Беловой автограф:

13 I В жуткой передней долго не влезет
II В мутной передней долго не влезет
35 I у меня
II Мне

Никчемное самоутешение (стр. 110)

«Новый сатирикон»:

Заглавие — Не говорите глупостей.
12 сошедшего с козел,
15 Если скажут мне:
21 глазом смерить их...
22—23 О, кому охота помнить номер
26 что они лошадей не пóят,
После 32 Орет орава!
Толстая,
на вате,
красная
— клюквы воз — щека.
Некоторые без лошадей еще,
и разве хватит
лошадей на стольких извозчиков
34—35 только вы еще остались,
40 отборной руганью исхлестывая город.
41 Меж тысяч извозчиков,
42 шляпу на нос надвинув,
иду
47 медлительный и мечтательный пешеход.

Надоело (стр. 112)

«Новый сатирикон»:

Заглавие — Лучше не называть.
Перед 1 Надоело]
13 Осторожно подымаю глаза;
54 Где розы есть нежнее и чайнее?

«13 лет работы», «Маяковский улыбается, Маяковский смеется, Маяковский издевается»:

63 в 1914 году

Дешевая распродажа (стр. 115)

«Новый сатирикон»:

12—13 Через столько-то и столько-то лет
— словом, я не выживу —
22 и будет
24 что то молоть . . . . . .
30 облысевшую голову мою разрисует она
37 знаю я,
54 пыля проспекты,
топча рожь,

Мрак (стр. 118)

«Новый сатирикон»:

3 и травятся,
12 кому же теперь писать?
После 18 Я знаю,
32 я подожду.
36 Вспомнит опять толпа о половом вопросе.
37 Дальше,— больше скудеет ум ее.
38 Пойдет на лекцию Поссе:
41 Станет, как Чита.

Следующий день (стр. 121)

«Новый сатирикон»:

23 Здо-о-оро-воо!!»
33 Что рюмки!
35 Пока не покажется дно —
44 просила

Хвои (стр. 124)

«Новый сатирикон»:

27 железные чудовища лазят.
28 А с этих чудовищ
32 Не говорите же.
52 что ж с того!

«Кофта фата»:

27 железные чудовища лазят
32 Не говорите же.

52 Что ж с того

«Все сочиненное», «13 лет работы»:

32 Не говорите же.

Себе, любимому, посвящает эти строки автор (стр. 126)

«Весенний салон поэтов»:

25 Душу одной зажечь!

37 дрожью б объял земли одряхлевший скит.

«Все сочиненное»:

37 дрожью б объял земли одряхлевший скит.

«Избранный Маяковский»:

11 на цыпочки волн б встал.

37 дрожью б объял земли одряхлевший скит.

Братья писатели (стр. 132)

«Новый сатирикон»:

10 глазенки в чай канув,

20 А знаете вы,

28 Из чего писать

34 неужели не наскучило —

43 Лучше открою лавочку.

52 Причесываться?

«Кофта фата»:

20 А знаете вы,

28 Из чего писать

52 «Причесываться?
но зачем же!

Революция (стр. 134)

Черновой автограф (отрывки):

Заглавие отсутствует.

8—13 Тебе сапожищем затоптанная
тебе окровавленная молимся
грязная мать земля
I Расстрелянными телами по ули ⟨цам⟩
II Расстрелянными телами в площадях раскиданных
I Скажи им
II клянемся
I очистим землю
II искупи⟨м⟩ вину
III искупи⟨м⟩ все.

или вместе поляжем,
смертию грех замоля.

14—21 За царево иго
за войны за голод карающую руку
подъемлет народ.
Вбежал командир,
грохнулся заколот.
В город вырвалась буря рот.

После 21 «9 часов» отсутствует

22 На своем постоянном посту

26—27 За слухом слух
волненье колет

29—30 И вот

35 двуглавый орел самодержца

37—38 Злей и орлинее.

39—52 И звери и люди
и памятники
и дома
и моя казарма
двинулись по улице
толпами
по сто.
Звенит мостовая шагами ломаемая
Уши крушит нечеловечья поступь.
И вот неизвестно,
из пенья ли толпы
из рвущейся меди ль труб гвардейцев

54 сияньем раззолачивая пыль

56—57 Горит и рдеется

64—66 Знамена — крылья
стоглавой лавой
из кратера города вверх взлетела

115 Будто улицы

117 призывами зарев зовут Россию

125—129 Разбиты каторг глухие двери
и в (*недописано*) пожарище выев
обрывками орлиных перьев
убитые падают городовые

159 I Или (*недописано*)

II Громче радуйтесь или

164 Слава нам!

165—168 I Это мы без родины без имени без отчества
II Это нами без родины без имени без отчества
III Мы миллионы без имени без отчества
I Сегодня творится религия иная
II Днесь созидается религия иная
I Несем скрижали нового пророчества
с нашего закоптелого Синая
II Сегодня скрижали нового пророчества
сносим с нашего закоптелого Синая
169—179 Мы русские
Нам и француз и англичанин родной.
Нам и турки и немцы и негры братья.
Мы на нашей планете
воины одной
I жизнь создающей рати
II жизнь охраняющей рати
Вариант 169—175 записанный отдельно:
Мы русские
Нам
каждый
земли поселянин родной.
Мы все по земле по станкам и по шахтам братья.
181 И держав бытие
180—182 И громы неб и земель ураганы
послушны нашим волям.
185—189 Наши небес алмазные копи.
Мы никогда, никогда никому, никому не позволим
196 для всех мало?
198—201 Это наши пушки грохочут в кровавых спорах.
Это наши руки штыки гранят.
Мы этими же руками рассыпем порох
и детям раздарим мячи гранат.
203 не вопли тех, кому есть нечего,
206—207 в величие сердца человечьего.
Это над взбитой боями пылью

Газ. «Новая жизнь»:

Подзаголовок — Хроника.

Посвящение — Л.Ю.Б.

14 И первому

21 Вырвалась в город буря рот.

После 21 «9 часов» отсутствует

29—30 И видим в окно:
33 дворцов иззубренной линией
39—43 И котелки,
и рабочие,
и лошади,
и дома,
49 уши крушит тысяченогая поступь.
50—51 Неведомо откуда
из пенья ль толпы
66 из кратера города ввысь взлетела
После 68 Горе двуглавому!
71 Сегодня пересматривается мира основа.
79 Пусть в небо толпы вбивают топот!
80 Пусть флоты злобу сиренами вырычут.
81 *отсутствует*
87 обгоняем погони пуль.
88 Взрывом рожков рассыпаемся в городе.
95 жужжа прокатилось за купол Думы.
101 ждать нам
114 И вновь взвиваются, искры рассея.
115 Будто,
улицы
После 121—123 Зажми
и дни
и лун лучи
красными пальцами тысячерукого Марата!
126 вломись
143 В сердце цельте!
159 Громче трубите!
164 Слава нам!
176—178 Мы все на земле воины одной
186 Мы никогда
После 197 Сегодня
204—206 Это народа освобожденного
громовое:
«Верую
в величие слова человечьего!»
207 Это
над взбитой боями пылью,
После 211—17 апреля, Петроград.

«Газета футуристов», альм. «Ржаное слово», «Все сочиненное», «13 лет работы», «Стихи о революции», 1 и 2 изд., «Избранный Маяковский»:

178 воины одной

Сказка о красной шапочке (стр. 142)

Газ. «Новая жизнь»:

Заглавие — Сказочка.

Подзаголовок — Цвету интеллигенции посвящаю.

3—5 Кроме этой шапочки, пришедшейся кадету,
ничего в нем красного не было и нету.
Прослышит кадет — революция где-то

8 и внук кадетов и кадетов дед

11 И стал он черный. Видевшие это

Список, сделанный Л. Ю. Брик:

Заглавие отсутствует,

4 Ни черта на нем красного не было и нету

11 И остался он черный. А увидевшие это

15 Когда будете делать революцию, дети

«Все сочиненнсе»:

4 Ни черта на нем красного не было и нету.

К ответу! (стр. 143)

Черновой автограф:

3 I За сыном сына
II Детей земли

8—10 голодна и раздета
выпарили человечество кровавой бансю

14 разжился Албани<ей>

15 I Сцепились громады человечьих свор
II Сцепилась злость человечьих свор

16 опускается на мир за ударом удар

22—24 у земли
не будет неполоманного ребра.
I Душу вытащат
II И душу вытащат

25 I и задушат там ее
II и прикончат там ее

30—31 О во имя чего же
солдат сапог

37 О когда же встанешь во весь свой рост

40 О когда же в лицо им бросишь вопрос

Нетрудно, ландышами дыша... (стр. 145)

Беловой автограф:

25 I разнесут взрывы задорного хохота.
II раскатят взрывы задорного хохота.

Интернациональная басня (стр. 147)

Черновой автограф:

Заглавие — Басня
7 обкрадывать вменялось вору в обязанность
17 I навертывается мораль
II навертывается и мораль
18—20 I по шее догу не пора
II туда же догу не пора

«Все сочиненное», «13 лет работы»:

17 навертывается и мораль:

Ешь ананасы... (стр. 148)

Журн. «Соловей»:

1 Ешь ананасы и рябчиков жуй.

ТРАГЕДИЯ, ПОЭМЫ

Владимир Маяковский. Трагедия (стр. 151)

Цензурный экземпляр:

В списке действующих лиц:

1) Владимир Владимирович Маяковский, поэт 20—2(?) лет.

Отсутствуют — Человек с растянутым лицом, человек с двумя поцелуями.

Вместо женщины со слезинкой, женщины со слезой, женщины со слезищей — 7), 8), 9) женщины со слезинками и слезанькими.

10) Мужчина со слезищей

Газетчик, мальчик, девочки и др.

19—21 И небо плачет безудержно и звонко
53—54 И лягу светлый
Перед 60 Весело. (Сцена представляет собой город и улицы. Праздник. Пока один поэт).
После 68 Гладит. Весь борода.— *отсутствует*
69 Поэт продолжает —
Найдите жирных в домах скорлупах
71 Схватите за ноги тупых и глупых

После 76 Тупые. Стали беспорядком, едят дальше.—*отсутствует*
89 [забили] шопоты зорь.
93 Хотят стереть нас бездушные вещи
94 I А с неба на вой человечьей орды
II А сверху на вой человечьей орды
95 I Глядит обезумевший бог
II Прорвавшись сквозь звездный чертог
98—99 I Сам бог вам кричит о жестокой расплате
II Сам он кричит о жестокой расплате
103 И гладьте сухих и черных кошек!
108 Наловите молний мигающих вспышки
111—112 Вольем в провода электрической тяги
113—114 Заскачут трамваи и пламя светилен.
116 И мир зашевелится в радостном гриме
117 I цветы распавлинятся в каждом окошке
II цветы испавлинятся в каждом окошке
120 Все кошки и кошки и черные кошки
123 Бросайте квартиры
129—130 Женщина с черными пещерами век
131—132 Мечется и кидает на тротуары плевки
135—136 Люди столпились и табуном бежали
137—139 А там в обоях меж фруктов и вина
После 140 (Присутствующие на сцене окружают его)
142—143 Схватишься за ноту руку окровавишь
После 145 (Сцена в волнении)
159—160 А тоска моя растет непонятно и тревожно
После 161 Люди тревожнее
162—164 Человек со стертым лицом:
Вот видите
Вещи надо убить
В каждом диване вижу врага я
167 Ведь многие вещи сшиты наоборот
168—169 И сердце не сердится к злобе глухо
После 171 Поэт выходит на середину сцены
173—174 Вас я сейчас как детей моих
176—178 Ведь вы без меня лишь бубенцы
I И погремушки из рога
II звенящие по грязным дорогам.
179—189 Я с крестом исканий
Обошел моря и сушу
Разевал глазами тело темноты

Я искал никем невиданную душу
(Взращивал адовы цветы)

194 *отсутствует*

197—198 I Она вышла ко мне в голубом капоте
II Вышла в голубом капоте

203—204 Вы ведь знаете я разницу стер

205 В мертвых моргах искал сестер

208—209 А сегодня в желтый костер

211 Брошу бледный стыд сестер

214 Это вам молящийся век

После 214 (Сдергивает покрывало. Люди видят громадную женщину. Толпятся около нее боязливо. Вбегает обыкновенный молодой человек суетится.) Поэт продолжает:

215—219 Если я так устал
как устал человек.
Обыкновенный молодой человек подбегает к каждому и хватает за одежду.

229 Ведь мозг людей остер

232 Из сокровищ вер и книг

235 А у меня есть знакомый

245 Станьте на коробочку!

После 245 Голос из толпы

После 252 Где-то нарастает тревога. За сценой слышен гудок автомобиля. Слышны слова: Штаны, штаны.

После 262 Падает на колени

После 266 (Тревога за сценой растет. Выстрел. Еще два выстрела один за другим. Начинает медленно тянуть одну ноту гобой, немножко позднее вступает контрабас).

После 274 В мелодию за стеной вступает барабан.

После 277 Волнение за стеной достигает последних размеров. Гром барабанов. Выстрелы. Люди столпились на сцене вокруг громадной женщины. Взваливают ее на плечи. Тащат к выходу. Кричат все вместе—

279—280 I Где за святость распяли пророка
II За чертой городского порога

281 Тела отдадим обнаженному плясу

283 Поставимте памятник красному мясу

После 283 Дотаскивают женщину до дверей. Но вдруг все

безумие за сценой обрывается. Приближающиеся шаги. Вбегает калека (в крови) радостный. Кричат. Люди столпились в углу. Женщина брошена. Калека.

288 У всех одни и те же лица

310 Сами плеснули на днище фляжек

311—312 От мертвого портного сбежали штаны

318 Вывалился из столовой комод.

319—320 И корсеты слезали боясь упасть
из вывесок платий мод

322—323 Чулки как кокотки игриво щурятся

330—332 Старые, потные, обрюзгшие враги

333—334 Ведь сегодня в целом мире не найдете человека

335—338 У которого две одинаковых ноги.

После 338 Скучно. Сцена — площадь в новом городе. Сидит поэт. Переоделся в греческую тогу. Услужливо склонился калека. За дверью шаги многих ног.

345 И перед каждым положен наземь.

347—348 Что же подведите
пусть войдут

После 348 Робко входят женщины со странными узлами Их много. Кланяются.

353—355 Вот она белая в тряпках из нитей

После 356 Поэт (с некоторым беспокойством)

После 358 обращается к следующей—

360—363 Это пустяки
Сын умирает
Мне не тяжко
Вот вам еще слезинка

371 Вот вам и моя слезанька

После 373 Поэт отходит испуганно. Дрожит. Старается скрыть волнение

377 И кто этот очаровательный шатен

После 377 Врываются и пробегают гуськом газетчики

После 380 Давно уж показавшийся человек приближается.

После 380 Толпа шушукается. В ней уже давно человек без головы. Человек с растянутым лицом и друг. Толпа переговаривается

389 Т э э э

После 389 Показавшийся человек. На плечах ноша.
Стал против поэта. Слова громко

393	Девушки неб тоже до золота падки
394	И им только деньги и деньги
После 395	Показавшийся человек
396	Деньги и деньги
После 396	Показавшийся человек размахивает руками. Бегает по площади. В толпе голоса — Тише, тише Потом снимает мешок, достает два мячика. Один большой, другой меньше, оба продавленные. Говорит и тихо начинает танцевать —
413	И одел как калошу
424	Мамочка, (мамочка)
427—428	И понес чтобы вставить в голубенькую рамочку.
429—430	И пока он долго рылся в пыли по чемоданам
433—437	Огромный, жирный, вырос, бесится
442—444	И пока висел он гладкий и жалконький
449—450	И большие и маленькие
После 451	Показавшийся человек устал. Остановился. С ним поэт. Вбегают несколько детей, в руках кулечки. Кружатся вокруг площади. Кричат —
452	Да, нас много выпустили
455	Пока здесь кажется 8
456—458	Вот братец мой — Митя просим
После 458	Все складывают слезы перед поэтом, их так много. Поэт отходит. Голос жалкий
459	Господа, господа
После 463	Толпа угрожающе обступает его. Крики
464—465	Вы поговорите еще там мы из вас сделаем рагу
После 466	Старик с одной кошкой ощипанной—
467	Ты один только умеешь песни петь
После 468	Показывает на груду слез. Поэт опускается на стул —
469—470	Хорошо Пустите дайте сесть
После 470	Минута пауза. Поэт встает
После 471	Выходит на самый край сцены. Говорит
472—473	Думал, что радостный буду
475—476	Сяду на трон как изнеженный сердцем грек
480	Я не забуду
485—486	Душу на шпилях домов

488 Луна будет рядом идти
492 На секунду примеряет мой котелок
493—494 Я с моей ношей
504—505 Рвет свою грудь океан изувер
507—508 И усталый в предсмертном бреду
511 К истоку звериных вер.
Эпилог — *отсутствует.*

Первое издание:

В списке действующих лиц:
Владимир Владимирович Маяковский (поэт 20—25 лет).
Женщины со слезинками, слезаньками и слезищами.
Мужчина с двумя поцелуями.

В тексте:

12—14 Замечали вы как качается в каменных аллеях
19—21 И небо плачет безудержно и звонко
27 Солнце изласкало вас с назойливостью овода
31 И с душой натянутой как нервы провода
44 Я вам только голову пальцами трону
53—54 И лягу светлый
95 Глядит обезумевший
98—99 Он сам кричит о жестокой расплате
103 и гладьте сухих и черных кошек
113—114 Заскачут трамваи и пламя светилен
116 И мир зашевелится в радостном гриме
120 Все кошки и кошки и черные кошки
123 О бросьте квартиры
125 И гладьте сухих и черных кошек
129—132 Женщина с черными пещерами век
мечется и кидает на тротуары плевки
135—136 Люди столпились и табуном бежали
После 140 Окружают его. Продолжает.
После 145 Сцена в волнении. Дальше.
148—149 С утра мне в душу.
160 непонятно и тревожно
После 161 Люди тревожнее
163 Вещи надо губить
167—168 Ведь многие вещи сшиты наоборот
И сердце не сердится
После 171 выходит на средину города
173—174 Вас как детей моих
176—178 Ведь все вы люди лишь бубенцы

На колпаке у

179—180 Я ж с ногой распухшей от исканий

184 В домино и маске темноты

После 189 Пауза

После 202 Пауза

203—204 Я поэт разницу стер

После 214 Сорвал покрывало. Громадная женщина. Около нее боязливо. Вбегает обыкновенный молодой человек. Суетится. Маяковский продолжает.

После 219 Подбегает к каждому и хватает за одежду

229 Ведь мозг людей остер

230 Но пред тайнами

235—236 А у меня есть знакомый он уже 25 лет

245 Станьте на коробочку

247 А то ведь вас совсем не видно.

252 Вы ведь все хотите съесть

После 252 Тревога. Гудок автомобиля. С л о в а: штаны, штаны.

254 Если б вы только как я голодали,

После 262 На колени.

После 266 Тревога выросла. Выстрел. Начинает медленно тянуть одну ноту водосточная труба. Железо крыш.

270 И растлили

После 274 Вступают удары тысяч ног в натянутое брюхо площади.

275—277 А ведь из моей души тоже можно сшить такие нарядные юбки

После 277 Волнение не помещается. Люди вокруг громадной женщины. Взваливают ее на плечи. Тащат к выходу. Кричат все вместе.

279—280 Где за

281 Тела отдадим обнаженному плясу

После 283 Дотаскивают до дверей, но безумие надорвалось. Шаги. Калека в крови. Радостный. Люди в углу. Женщину бросили.

298 тысяче-верстные жилы.

302 Поднимался на лысом темени времен.

318—320 Вывалился из столовой комод.
И корсеты слезали боясь упасть
Из вывесок платий мод.

322—323 Чулки как кокотки игриво щурятся

330—338 Жирные старые обрюзгшие враги
Ведь сегодня в целом мире не найдете человека,
У которого две одинаковых ноги.
После 338 Скучно. Площадь в новом городе. Маяковский переоделся в тогу. Лавровый венок. Услужливо калека. За дверью многие ноги.
345 И перед каждым положен наземь.
После 356 Беспокоится.
363 Вот еще слезинка.
369—370 Помоюсь буду чище
После 377 Крики.
После 380 Гуськом газетчики. Пришедшая толпа.
388—389 И и ии иии
Т э э ээ
394 и им только деньги и деньги
405—408 Город весь в празднике возносил в соборах аллилуйи
Люди выходили красивое одеть.
413 И одел как калошу
423 И тоненьким голосочком крикнул
427—433 И понес чтобы вставить в голубенькую рамочку
И пока он долго рылся в пыли по чемодану
Оглянулся
А поцелуй лежит на диване
Огромный
436 *отсутствует.*
442—444 И пока висел он гадкий и жаленький
447 Миллионами выкидывали поцелуи
449—450 И большие и маленькие
После 451 Дети как поцелуи
452 Да нас много выпустили
455 Пока здесь кажется восемь
После 458 Слезы перед поэтом Маяковским.
После 463 Крики.
464—465 Вы поговорите еще там
Мы из вас сделаем рагу
467—468 Ты один только умеешь песни петь
Отнеси это твоему красивому богу
После 467 Показывает на груду слез.
Строки 469—470 *следовали в обратном порядке.*
После 469 *ремарка отсутствует.*
469—471 Хорошо

Пустите сесть.
Дайте дорогу
473 Что радостный буду
476 Как изнеженный телом грек
480—481 Я не забуду ваши ноги худые
487 Оставляя как локон клок за клоком
492 На секунду примерить мой котелок
493—494 Я с моей ношей.
504—505 Рвет свою грудь океан изувер
507 И усталый
510 Старому богу гроз
После 511 Милостивые государи!
515 У меня нет груди
517 А теперь я немного высох
519—523 Но зато кто и где бы
человеку дал океанских мыслей простор.
526—527 И кричал оно вор
528—530 А теперь мне иногда кажется
Что я петух голландский
Или я вдруг

Поправки, внесенные Маяковским в 1915 г. в первое издание.

72 И дуйте в уши им, как в дыры флейте
После 80 I Старик с кошками.
II Ария старика с черными сухими кошками.
87 И сотни крохотных горь
123 Бросьте квартиры,
125 Гладьте сухих и черных кошек.
129—130 Женщина. Черные пещеры век
160 Непонятна и тревожна
203—204 Я разницу стер
318 Вывалился из спальни комод

«Простое как мычание»:

Перед 60 Весело. Город в паутине улиц. Праздник нищих. Один В. Маяковский. Приходящие приносят еду: железного сельдя с вывески, огромный золотой калач, складки нарисованного бархата.
72 дуйте в уши им, как в дырки флейте!
74 я горящий булыжник дум ем.
После 76 Сцена наполняется. Человек без уха. Человек без ноги и другие. Тупые. Стали. Беспорядок.

87 и сотни крохотных горь.
90 Мягкие луны не властны над нами,
93 Лезут стереть нас бездушные вещи
95 глядит обезумевший....
98—99 Бог
кричит о жестокой расплате,
121 Мы солнца приколем любимым на платья,
178 на колпаке . . . . .
230 но пред тайнами мира ник;
231 а вы зажигаете костер
287 бремя
322 Чулки, как кокотки,

«Все сочиненное», «13 лет работы»:
Перед 220 Подбегает каждому. Цепляется
230 но пред тайнами мира ник;

Облако в штанах (стр. 173)

Черновой автограф:
Черновой автограф
Небо какао
От лета запах
I обожженного верблюда
II паленного верблюда.
Шаги азартны
Как игроки в макао
I А шляпа вокзала
II А шляпа бульвара
Вся в перьях люда
717—724 Небо! Снимите поношенную шляпу.
Я иду!
Глухо
Вселенная устало положила на лапу
с клещами звезд [кос<матое?>] мохнатое ухо!

Отрывки в альм. «Стрелец»:
535 Явись, Мария!
575 Как в зажиревшее ухо втиснуть им нежное слово?
580—582 А я человек простой,
выброшенный чахоточной ночью в грязную руку Пресни
584 Пусти!
589—590 Открой! Мне больно!

597 Мокроживотые женщины потной горою сидят
599 миллионы огромных и чистых любовей
607 на престол сумасшествия восходящих цариц
612 Быть может, я с сердцем до мая не дожили
624 Отдайся Мария!
625 *отсутствует*

Отрывки в «Журнале журналов»:

279 с шагом саженным
284—286 Нам ли смиренно просить — помоги мне
Молить об гимне, об оратории
321 Солнце б померкло, увидев
323 Жилы и мускулы просьб верней,
329 Это возвело на Голгофу аудиторий
336—337 Вы мне — люди.
342—343 Я проходящий у сегодняшнего племени.
360—363 Когда приход его мятежом оглашая
выйдете радостные

1-е издание поэмы:

Посвящение — Тебе, Лиля.
Перед 1 — Пролог
15 чтоб были одни сплошные губы.
28 и мной опять славословятся
64 Откуда большая у тела у такого
68 и любит звоночки коночек
73 обрызганный громом мирового прибоя.
131 а я только видел
185 Глаза наслезенные бочками выкачу
203 К трясущимся людям
228 И пока выкипячивают рифмами пиликая
240 и топорщились застрявшие поперек горла
250—253 . . . .
262—263 И поэты размокшие в плаче и всхлипе
323—335 . . . .
339 вы мне всего дороже ближе.
348—355 . . . .
360—363 . . . .
401—402 Из сигарного дыма ликерною рюмкой
419—420 от которых в столетья слеза лилась
429 И вся земля поляжет женщиной
431—432 вещи оживут и губы вещины
438 подняло на небе ужасную качку

447 вытянул руки кафе
449 нежный как будто
456—459 . . . .
467 Пускай земле . . . . . . припомнится
474—475 . . . .
481 а на небе красный как марсельеза
494 И эту ночь глазами не проломаем
500 глазами в сердце въелась . . . .
501—505 . . . .
517—518 мальчики отцы и девочки забеременели
523 только именами моих стихов.
526—527 в самом обыкновенном . . . .
тринадцатый . . . .
532 может быть . . . . . . нюхает
601—603 не бойся что снова в измены ненастие
620—623 . . . .
630 . . . .
652 липнет цветами пыли кителя
653 тысячу раз опляшет Иродиадою
659 дому моего отца.
661 грязный от ночевок в канавах
665 послушайте
666—708 . . . .
724 с клещами звезд громадное ухо.

Список цензурных изъятий в экземпляре О. М. Брика:

323 Жилы и мускулы молитвы верней
351 грядет который-то год.
352 Вам плакать больше незачем и нечем
354 На каждой капле. Его предтеча
355 я распял себя на кресте
360—362 И когда приход мятежом оглашая
502 Сияньем трактирную ораву
695 чтоб у каждого была голова
707 Я его пропахшего ладаном

Список цензурных изъятий в экземпляре Л. Ю. Брик:

351 грядет который-то год.
352 Вам плакать больше незачем и нечем
355 распят я как на кресте
695 чтоб у каждого была голова

«Простое как мычание»:

Посвящение — Тебе Лиля.

15 чтоб были одни сплошные губы!
28 Мной опять славословятся
49 Чего может хотеться этакой глыбе?
73 обрызганный громом мирового прибоя.
185 глаза наслезенные бочками выкачу.
321 солнце померкло бы, увидев
323 Жилы и мускулы — просьб верней.
351 грядет который то год.
374 голову отчаянием занавесила
401 Из сигарного дыма,
420 в столетья слеза лилась,
443 небье лицо секунду кривилось
445 Кто-то,
447 вытянул руки кафе,
448—449 будто по-женски,
нежный, как будто
475 . . . .
500 глазами в сердца въелась . . . .
503—504 видишь . . . .
519 Новым рожденным дай обрасти
521—522 Придут они,—
будут детей крестить
532 может быть . . . . нюхает
570 сочилось сквозь трещины сало.
621—623 . . . .
630 величием равное . . . .
655 . . . .
659 дому моего отца
664 и скажу вам на ухо:
665 Послушайте . . . . !
672 . . . . .ты будешь в кажлом шкапу
675 хмурому . . . .
676 . . . .
680 я натащу к тебе.
687 за тобою . . . .
689 . . . . я был им —
693 . . . . ты выдумал пару рук.
695 чтоб у каждого была голова,—
699—700 . . . .
704—707 . . . .
724 с клещами звезд громадное ухо.

Отрывки в журн. «Новый сатирикон»:

357 Я выжег душу, где нежность растили.
443 небье лицо секунду кривилось
445 Кто то
448—449 будто по женски,
нежный как будто
456 Выньте, гуляющие, руки из брюк
467—471 идут после строки 482
После 471 Июль 1915 г.

2-е издание поэмы:

Посвящение — Тебе Лиля.
295 кошмарней, чем фантазия Гете!
374 голову отчаянием занавесила
401 Из сигарного дыма
443 небье лицо секунду кривилось
445 Кто-то
447 вытянул руки кафе,
448 будто по-женски,
449 нежный, как будто
500 глазами в сердца въелась богоматерь
519 Новым рожденным дай обрасти
521—522 Придут они,—
будут детей крестить
570 сочилось сквозь трещины сало
600 и миллионы миллионов маленьких грязных любят
652 липнет цветами пыли кителя
659 дому моего отца

«Все сочиненное»:

401 Из сигарного дыма,
500 глазами в сердца въелась богоматерь
652 липнет цветами пыли кителя

«13 лет работы»:

185 Глаза наслезенные бочками выкачу.
448 будто по-женски,
449 нежный, как будто,
450 будто бы пушки лафет
459 пришел чтоб, бился лбом бы!
481 А на небе, красный, как марсельеза
494 И эту ночь глазами не проломаем
522 будут детей крестить
652 липнет цветами пыли кителя.

«Избранный Маяковский»:

185 Глаза наслезенные бочками выкачу.
401 Из сигарного дыма,
448 будто по женски,
449 нежный, как будто,
450 будто бы пушки лафет.
459 пришел чтоб, бился лбом бы!
481 А на небе, красный, как марсельеза
494 И эту ночь глазами не проломаем
652 липнет цветами пыли кителя.

3-е издание поэмы:

401 Из сигарного дыма
500 Глазами в сердца въелась богоматерь
652 липнет цветами пыли кителя.

Флейта-позвоночник (стр. 197)

Отрывки в альм. «Взял»:

Посвящение — Лиле Юрьевне Брик.
34 Голову вымозжу каменным Невским.
35—36 . . . .
37 А он такую из пекловых глубин
41 . . . . доволен
44 . . . . потирает ладони ручек.
45 Думает. . . . . . .
69—75 . . . .
81 . . . . инквизитор!
85 Привяжи меня кометам как к хвостам лошадиным
90—91 И выйдет на суд твой выхмурясь тупенько.

1-е издание поэмы:

Посвящение — Лиле Юрьевне Б.
17—20 . . . .
23 Какому . . . . Гофману
34 голову вымозжу каменным Невским
35—36 . . . .
37 а. . . . . . такую из пекловых глубин
41 . . . . доволен
43 человек одичал и вымер
44 . . . . потирает ладони ручек
45 Думает . . . .
69—81 . . . .
85 Привяжи меня кометам как хвостам лошадиным

88—94 . . . .
104 Какому. . . . . . . Гофману
114—121 . . . .
122 . . . . немцы!
166 и скалю гнилые зубы
178—185 . . . .
188 велю . . . .
213 И смятеньем разбита разума ограда
248 как апостол во время оно
261 *отсутствует.*
294 ослепительную царицу . . . . евреева

1-е издание с правкой Маяковского:
19 Я вам буду играть как на флейте
36 I Говорил что бога нет
II врал что бога нет
90 и станет на суд твой

«Все сочиненное»:
Заглавие — Флейта позвоночника.
85 Привяжи меня кометам, как хвостам лошадиным
261 *отсутствует.*

«13 лет работы», «Лирика»:
В сборнике «Лирика» посвящение — Лиле.
4 чашей вина в застольной здравице,
85 Привяжи меня кометам как хвостам лошадиным
119 от крови качающийся Бахус,
261 *отсутствует.*
289 от плача моего, хохота,

Война и мир (стр. 209)

5-я часть в журн. «Летопись»:
893 Так мальчик
924—925 песни тебе
возносит в пламенном гимне!
933 дары свои принесла вам!
950 праздничных мимо я
иду
975 в каждом юноше страсть Маринетти
1007 огонь изрыгав они
1040 открой их?!
1044 Люди,
враги,

Пролог в журн. «Летопись»:
23—24 Трус.
Боишься!
31 я первый буду
4-я часть в альм. «Чудо в пустыне»:
581 Лодочки ручек спрячьте в карман!
603 взвела меня
640 Видите —
688—690 это я
Маяковский
в подземелье Севильи
702—704 . . . .
голодом выголодал земли неметчины
735—748 *отсутствуют.*
3-я часть в газ. «Новая жизнь»:
398 Дантова ада кошмарами намаранней
429 Загорается.
500 и бросили в окоп.
511 мясо и платье.
Корректура 1-го издания:
640 Видите
669—670 I а я,—
уже!
II это я,—
Маяковский
709 I Тушами на штык навешены материки.
II Тушами на штыках материки.
727—729 I Христа ради,
простите меня!
II Христа ради,
ради Христа
простите меня!
После 754 *вычеркнуто:*
Пусть одни проклятья привык реветь —
забудьте!
Умер я,
отвратительный и грубый!
Отныне некому и не на кого выкрикивать
в славословие сложенные губы!
Вижу
нового солнца лучи.

С тела на тело!
И вот я светлых гор достиг.
Слышите,—
как с неба голос звучит:
имя человечье несите в гордости!
Славься, человек!
Славься, сияние новых весен!
Вся вселенная со всеми живыми радуйся!
893—894 I Так мальчик
II Мальчик
924—925 I песни тебе
возносит в пламенном гимне!»
II сердце свое
раскрыла в пламенном гимне!»
933 I дары свои принесла вам!»
II дары принесла вам!»
950 I праздничных мимо я
иду:
II праздничных мимо я
967 I Смеются.
II Смеяться.
975 I В каждом юноше страсть Маринетти,
II В каждом юноше порох Маринетти
1007 I огонь изрыгав, они
II смерть изрыгав, они

1-е издание:

35 набатом будущих годин
190 и нету сил удержаться голому
376 вздрогнула от окрика грудь дивизий
429 Загорается.
511 мясо и платье.

«Все сочиненное» и 2-е издание:

35 набатом будущих годин
331 Негров непроглядны пятна.
429 Загорается.
511 мясо и платье.

«13 лет работы»:

429 Загорается.
511 мясо и платье.

Сб. «255 страниц» и 3-е издание:

После 60 «Лиле»— *отсутствует*

35 набатом будущих годин
331 Негров непроглядны пятна.
511 мясо и платье.

Сочинения, т. I:

35 набатом будущих годин
429 Загорается.
511 мясо и платье.

Человек (стр. 243)

Черновой автограф (отрывки):

51—54 Никто не догадался намекну<ть>
неделикатной и недалекой звезде
170—174 Из золота весь город лит
сияет весь
и улица
В разливе золота юлит
ликует и июлится
301—304 Вытянется самку собой олелеяв
Хоче<шь> блестку из млечного скопа
305—307 I И вот легион головасты<х> Галилеев
II И вот для него легион Галилеев
308 I Ловит звезды в глаза телескопов
II Елозит за звездами в глаза телескопов
805—808 И вновь над домами по риску откоса
лучи собираешь и вяжешь их в копны

Автограф (отрывок, не вошедший в окончательный текст):

После 32 Прямо в разинутый зев
I Брось
II Напрасно
Мне
не нужен никто
Ни жена
ни еда
ни стих
В дверь ни в одну не войду веселящ и беспечен
Мне надоело
из дома в дом нести
остроумие
I похоть
II блуд

I и вином размытую печень
II вином размытую печень
I Брось
II Напрасно.
Не сломишь плечистого
Зря таращишь глазиша блюд
Также пронесу
бережно
чисто
мальчишеское мое
«люблю»
Тобой живу
и никому
тебя
любовь
не выдам
С тобой пойду
в трущобы мук
скитаться вечным жидом.

1-е издание поэмы и «Лирика»

Подзаголовок — Вещь.
Посвящение — Тебе Лиля.

87 обовьюсь вокруг.
337 Надменно лес бровей навис.
407—408 Аптекары!
Аптекары!
Аптекарь,
753—754 Сладко чувствовать
вот
775 В страшном волненьи взираю с него я
848 К окну
887 чужая жена
925 Только

Кроме того в сб. «Лирика»:

892 хохлатый

«Все сочиненное»:

Подзаголовок — Вещь.

«13 лет работы», «Избранный Маяковский»:

Подзаголовок — Вещь.
87 и обовью вокруг


ПРИМЕЧАНИЯ

ПРИЖИЗНЕННЫЕ ИЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В. МАЯКОВСКОГО, ВОШЕДШИХ В ПЕРВЫЙ ТОМ

Я! М. 1913, 15 стр. (Изд. автора.)

Владимир Маяковский. Трагедия в двух действиях с прологом и эпилогом. Изд. «Первого журнала русских футуристов», М. 1914, 44 стр.

Для первого знакомства. Корректурные листы нескольких стихотворений и сверстанный экземпляр сборника «Новый сатирикон», П. 1915. (В свет не вышел.)

Облако в штанах. Тетраптих, П. 1915, 64 стр. (Изд. О. М. Брика.)

Флейта-позвоночник. Изд. «Взял», П. 1916, 16 стр.

Простое как мычание. Изд. «Парус», П. 1916, 116 стр.

Война и мир. Изд. «Парус», П. 1917, 48 стр.

Облако в штанах. Тетраптих, 2-е изд. без цензуры, изд. «Асис», П. 1918, 61 стр. (вышло в Москве).

Человек. Вещь. Изд. «Асис», П. 1918, 61 стр. (вышло в Москве).

Кофта фата. Изд. В. М. Ясного, П. 1918, 31 стр. (сверстанный корректурный оттиск [ЦГАЛИ]. В свет не вышел).

Война и мир. Поэма, 2-е изд., изд. «ИМО», П. 1919, 37 стр.

Все сочиненное Владимиром Маяковским (1909—1919). Изд. «ИМО», П. 1919, 280 стр.

13 лет работы, тт. 1 и 2, изд. Вхутемас, М. 1922, 304 стр. и 464 стр.

255 страниц Маяковского. Книга 1-я, ГИЗ, М. 1923,

Для голоса. ГИЗ, Берлин, 1923, 61 стр.

Избранный Маяковский. Изд. «Накануне», Берлин, 1923, 256 стр.

Лирика. Книга стихов, изд. «Круг», М. 1923, 91 стр.

Маяковский улыбается, Маяковский смеется, Маяковский издевается. Изд. «Круг», М. 1923, 190 стр.

Стихи о революции. Изд. «Красная новь», 1 и 2-е изд., М. 1923, 98 стр. и 124 стр.

Война и мир. ГИЗ, Л. 1924, 3-е изд., 54 стр.

Американцам для памяти. Изд. «Нью-Уордл пресс», Нью-Йорк, 1925, 32 стр.

Облако в штанах. Изд. «Огонек», М. 1925, 3-е изд., 31 стр.

Сочинения, т. 1 и 2, ГИЗ, М. 1928, 359 и 345 стр.

Школьный Маяковский. ГИЗ, 1929, 104 стр.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

БММ — Библиотека-музей В. Маяковского.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.

Я САМ (стр. 7.)

Журн. «Новая русская книга», Берлин, 1922, № 9; «13 лет работы», т. 1; «255 страниц Маяковского»; листы того же сборника с правкой Маяковского (БММ); Сочинения, т. I.

В первых трех изданиях автобиография заканчивалась 1922 годом. В апреле 1928 года Маяковский дописал «Я сам» для первого тома собрания сочинений, выпускавшегося Госиздатом, и довел изложение событий до 1928 года. В текст первого тома сочинений в настоящем издании внесены поправки, которые Маяковский сделал на отдельных листах текста «Я сам». Эти поправки, уточняющие даты и события, сделаны были, очевидно, тогда же и, повидимому, по случайным обстоятельствам не были внесены в печатный текст.

Следует учитывать, что автобиография «Я сам» в ряде оценок современных поэту литературных явлений носит ярко выраженный полемический характер.

Главное. В. В. Маяковский родился 7/19 июля 1893 года в селе Багдади — теперь Маяковски Грузинской ССР.

Состав семьи. Мать поэта — Александра Алексеевна (1867—1954); сестры Людмила Владимировна (род. 1884) и Ольга Владимировна (1890—1949).

1-е воспоминание. Как вспоминает Л. В. Маяковская, «Отец любил петь по-французски Марсельезу «Allons, enfants de la patrie». Дети не понимали по-французски. Тогда он пел: «Алон занфан де ля по четыре» и спрашивал: «Ну, а теперь понятно?»

Дурные привычки. *Как-то раз перед толпою соплеменных гор...* — из стихотворения Лермонтова «Спор».

Первая книга. *«Птичница Агафья»* — сентиментальный рассказ для детей Клавдии Лукашевич.

Экзамен. Маяковский держал экзамены в старший приготовительный класс Кутаисской гимназии в мае 1902 года, осенью начал посещать гимназию.

Гимназия. *Какой-то бородач стал во мне обнаруживать способности художника...*— Первые уроки рисования Маяковский брал в Кутаиси у художника Краснухи (см. воспоминания Л. В. Маяковской, журнал «Молодая гвардия», 1936, № 9).

Нелегальщина. *Опомнись, товарищ...* — из широко распространенной в эпоху первой русской революции песни неизвестного автора «К солдату». *А не то путь иной...*—из сатирического стихотворения неизвестного автора «Как у нас в городке...» (написанного в форме пародии на стихотворение А. К. Толстого «У приказных ворот...»).

905-й год. *Для меня революция началась так... убили генерала Алиханова...*— очевидная ошибка памяти; генерал Алиханов был убит в середине 1907 года (через год после переезда Маяковского в Москву). Можно предположить, что речь здесь идет о событии, которое имело широкий отклик по всей Грузии — об убийстве в Тифлисе Арсеном Джорджиашвили генерала Грязнова в январе 1906 года.

Социализм. *«Буревестник»* — издательство, выпускавшее социал-демократическую литературу.

«Долой социал-демократов!»— Так называлась агитационная брошюра В. Бракке, разоблачавшая буржуазную клевету на рабочее движение и излагавшая идеи социал-демократии.

«Экономические беседы» — Н. Карышева.

«Эрфуртская» — Эрфуртская программа германской социал-демократии (принятая на съезде в Эрфурте в 1891 году).

Демосфен — древнегреческий политический деятель (IV век до н. э.); по преданию, стремясь овладеть ораторским искусством, он, чтобы исправить изъян произношения, говорил речи на берегу моря, набрав камни в рот.

Рион (Риони) — река, на которой стоит город Кутаиси.

Реакция. *Бауман* Н. Э.— видный деятель Коммунистической партии, был убит в Москве черносотенцами 18 октября 1905 года. Похороны Баумана превратились в огромную политическую демонстрацию.

906-й год. *Умер отец...*— Владимир Константинович Маяковский умер 19 февраля 1906 года. В июле 1906 года семья Маяковского переехала в Москву.

Московское. Воспоминания В. Канделаки о встречах с

Маяковским в годы 1906—1910 см. в сборнике «Маяковский в Грузии», Тбилиси 1936.

Работа. *Бем* Е.— модная в то время художница-акварелистка, писавшая в ложнорусском стиле.

Гимназия. *Перевелся в 4-й класс пятой гимназии...* — в августе 1906 года. Выбыл из гимназии 1 марта 1908 года.

Чтение. Маяковский говорит о предисловии К. Маркса «К критике политической экономии». «*Две тактики*» — работа В. И. Ленина «Две тактики социал-демократии в демократической революции».

Партия. Маяковский вступил в РСДРП (большевиков) в начале 1908 года. *Держал экзамен в торгово-промышленном подрайоне...*— Не следует понимать буквально. Видимо, речь тут идет о выполнении Маяковским первых партийных поручений.

Поволжец (В. Вегер) — в 1908 году член Московского комитета большевиков.

Смидович П.— В 1908 году член Московского комитета большевиков.

Арест. Маяковский был арестован 29 марта 1908 года засадой полиции в подпольной типографии Московского комитета РСДРП (большевиков). При нем нашли 70 экземпляров прокламации «Новое наступление капитала», 76 экземпляров газеты «Рабочее знамя» и 4 экземпляра «Солдатской газеты». После допроса следователем Вольтановским 9 апреля был выпущен до суда под ответственность матери.

«*Санин*» — роман М. Арцыбашева, проповедовавший культ эротических наслаждений. Получил скандальную известность.

...Кратковременная сидка...— Второй раз Маяковский был арестован на улице 18 января 1909 года и выпущен на свободу 27 февраля. Никаких обвинений при этом ему предъявлено не было.

«*Кресты*» — тюрьма в Петербурге. В то время, о котором говорит Маяковский, С. Махмудбеков был чиновником московского почтамта.

Третий арест. В связи с побегом женщин-политкаторжанок из Новинской тюрьмы Маяковский был арестован 2 июля 1909 года, заключен сначала в Басманный, затем в Мясницкий полицейский дом, откуда вследствие «буйного поведения» был 18 августа переведен в центральную пересыльную (Бутырскую) тюрьму.

11 бутырских месяцев. *Во время сидки судили по первому делу...*— Заседание Московской судебной палаты по делу о тайной типографии МК РСДРП (большевиков) состоялось 9 сентября

1909 года. Суд признал Маяковского виновным, но совершившим преступление «без разумения». Постановил «отдать под ответственный надзор родителям». Маяковский был освобожден из-под ареста 9 января 1910 года.

Курлов П.— занимал пост товарища министра внутренних дел.

Так называемая дилемма. *Вышиблен даже из гимназии, даже и из Строгановского...*— Маяковский был учеником приготовительного класса Строгановского художественно-промышленного училища в 1908—1909 годах.

«В небеса запустил ананасом»— из стихотворения А. Белого «В горах».

Начало мастерства. *Учился у Жуковского...*— Маяковский учился в студии художника С. Жуковского около четырех месяцев в первой половине 1910 года. В середине года поступил в студию художника П. Келина и готовился к экзаменам в Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

Гольбейн — Ганс Гольбейн Младший, немецкий художник XVI века, один из крупнейших мастеров искусства эпохи Возрождения.

Саша Черный — поэт-юморист, сатирик. Его произведения рисовали русскую действительность эпохи реакции с мрачным сарказмом, высмеивали буржуазную и мещанскую мораль. Однако отсутствие идейной целеустремленности, бесперспективность ограничивали глубину его сатиры.

Последнее училище. *Сидел «на голове» год* — то есть учился рисовать голову. Маяковский поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества в августе 1911 года. Перед этим он пытался поступить в Высшее художественное училище при Академии художеств (Петербург), но оставил это намерение, видимо потому, что не мог получить свидетельство о политической благонадежности, без которого нельзя было поступить в Императорскую академию художеств.

Ларионов М.— художник-футурист, был исключен из Училища живописи в 1910 году. (О футуризме см. в прим. к гл. «Памятнейшая ночь».)

Машков И.— художник, также исключенный в 1910 году: входил в общество художников «Бубновый валет».

Давид Бурлюк. Д. Бурлюк — художник и поэт, футурист, участник и организатор вместе с В. Хлебниковым и В. Каменским первого футуристического альманаха «Садок судей» (1910).

В курилке. *«Остров мертвых»* — симфоническое произведение С. Рахманинова «Остров смерти»; исполнялось в «Благородном собрании» (теперь Колонный зал Дома Союзов) 4 февраля 1912 года.

П а м я т н е й ш а я н о ч ь. В этой и некоторых других главках автобиографии говорится о футуризме.

Маяковский видел в футуризме главным образом силу, способствующую крушению «старья в искусстве», ошибочно трактовал его как направление прогрессивное. В действительности же футуризм как художественное течение отражал общий кризис буржуазной культуры. Выступая против символистов и акмеистов, футуристы исходили из тех же субъективно-идеалистических концепций художественного творчества, порывали с реалистическими традициями.

Маяковский выступал вместе с футуристами, однако в сущности поэзия Маяковского, с ее гуманистическим пафосом, смелым и страстным революционным протестом против самих устоев эксплуататорского общества, уже в ранний период творчества решительно противостояла футуризму, как и всем другим декадентским течениям.

Т а к е ж е д н е в н о. *«Багровый и белый»* — начальные слова стихотворения Маяковского «Ночь», напечатанного в альманахе «Пощечина общественному вкусу».

П р е к р а с н ы й Б у р л ю к. *...Завез к себе в Новую Маячку...* — имение в Херсонской губернии, которым управлял отец Бурлюка. *Привез «Порт» и другое.* — «Порт» — одно из ранних стихотворений Маяковского.

«П о щ е ч и н а». *«Пощечина общественному вкусу»* — первый сборник русских футуристов с участием Маяковского; вышел в декабре 1912 года. В нем были напечатаны стихотворения Маяковского «Ночь» и «Утро».

П о ш е в е л и в а ю т с я. *Выставки «Бубновый валет». Диспуты...* —Имеются в виду диспуты о новой живописи, которые устраивало в 1912—1913 годах общество художников «Бубновый валет», стоявшее на позициях «искусства для искусства». Большинство художников «Бубнового валета» находилось под сильным влиянием французских импрессионистов. Маяковский на диспутах выступал против «Бубнового валета», обвиняя его в консерватизме.

Р а з у м е е т с я. Постановлением совета Училища живописи, ваяния и зодчества Маяковский и Бурлюк были исключены из Училища 21 февраля 1914 года.

А в г у с т. *Пошел записываться добровольцем...* — Маяковский подал заявление о принятии добровольцем в армию 24 октября 1914 года. 12 ноября на основании справки Охранного отделения о поли-

тической неблагонадежности Маяковского ему в этой просьбе было отказано. *Полковник Модль* — начальник Московского охранного отделения.

Зима. *«Ах, закройте, закройте глаза газет.»* — из стихотворения Маяковского «Мама и убитый немцами вечер», написанного в октябре 1914 года.

Куоккала. Живя первую половину лета 1915 года в Куоккала (теперь Репино), Маяковский бывал у писателя К. Чуковского, режиссера Н. Евреинова, художника И. Репина. ... *Ем репинские травки...* — И. Репин был вегетарианцем.

Мустамяки — дачная местность под Петроградом, где жил в то время М. Горький.

«Новый сатирикон» — еженедельный сатирический журнал, издававшийся с 1914 года в Петербурге под редакцией А. Аверченко. Выступая против бюрократического произвола, отдельных пережитков крепостничества, сатириконцы, однако, не выходили за рамки буржуазно-либеральной оппозиции.

Призыв. Маяковский был призван на военную службу 8 октября 1915 года. В письме к родным писал: «...Я призван и взят в Петроградскую автомобильную школу, где меня определили в чертежную как умелого и опытного чертежника». Маяковский прослужил в автомобильной школе до октября 1917 года.

16-й год. *Окончена «Война и мир»...* — В 1916 году отрывки поэмы «Война и мир», предназначенные для печати в журнале «Летопись», не были пропущены цензурой. Поэма появилась в печати только после революции (см. примечания к поэме).

26 февраля, 17-й год. *Гучковеет...* — от имени Гучкова, крупного московского промышленника, военного и морского министра во Временном правительстве. После 1917 года белоэмигрант.

«Большевики искусства». — С лекцией «Большевики искусства» Маяковский выступил в Москве 24 сентября 1917 года.

Август. *Ухожу из «Новой жизни»...* — «Новая жизнь»—полуменьшевистская газета; начала выходить в апреле 1917 года. В дальнейшем стала откровенно меньшевистской.

Январь. *Пишу киносценарии...* — В первой половине 1918 года Маяковский написал три киносценария: «Не для денег родившийся» (по роману Джека Лондона «Мартин Иден»), «Барышня и хулиган» (по повести Э. Амичис «Учительница рабочих») и «Закованная фильмой». Во всех трех картинах Маяковский снимался в главных ролях.

18-й год. *Заходил в Пролеткульт к Кшесинской...*— Маяковский неточно относит это к 1918 году. Известно о нескольких посещениях Маяковским Пролеткульта в первые месяцы его организации весной 1917 года. Общество пролетарских искусств (так назывался тогда Пролеткульт) помещалось в бывшем дворце придворной балерины Кшесинской (в Петрограде).

25 октября, 18-й год. *Окончил мистерию...*—Постановка «Мистерии-буфф» была осуществлена силами театральной молодежи, собранной по газетному объявлению. *Андреева М. Ф.*— заведующая театральным отделом Петроградского Совета.

19-й год. *В Выборгском районе организуется комфут...*— Речь идет о попытке создать литературную организацию «Коммунистов-футуристов».

...Издаем «Искусство коммуны»... — «Искусство коммуны» — еженедельная газета (орган Отдела изобразительных искусств Наркомпроса); выходила в Петрограде с декабря 1918 года по март 1919 года при участии Маяковского.

Пошел в агитацию РОСТА...— Маяковский работал в РОСТА (Российском телеграфном агентстве) над текстами и рисунками плакатов с октября 1919 года по январь 1921 года, после чего выпуск «Окон» был перенесен в Главполитпросвет (см. т. 3 наст. издания).

21-й год. *...Ставлю второй вариант мистерии...*— Второй вариант «Мистерии-буфф» написан был Маяковским в 1920—1921 годах; поставлен в Театре РСФСР Первом 1 мая 1921 года. В честь III конгресса Коминтерна «Мистерия-буфф» шла в переводе на немецкий язык в цирке в конце июня 1921 года.

Стал писать в «Известиях»...— Первое стихотворение Маяковского в «Известиях» — «Прозаседавшиеся» — было напечатано 5 марта 1922 года. Это стихотворение высоко оценил В. И. Ленин (В. И. Ленин. Сочинения, т. 33, стр. 197—198).

22-й год. *Организую издательство МАФ...*— В издательстве МАФ (Московская ассоциация футуристов) вышли книги Маяковского: «Люблю», «Маяковский издевается» и двухтомное собрание сочинений «13 лет работы».

Поэма «Пятый интернационал» не была завершена. Маяковский написал две части поэмы из задуманных восьми.

23-й год. *Организуем «Леф»...*— Левый фронт искусств — одна из литературных групп, существовавших в 20-е годы, возглавлявшаяся Маяковским, выпускала журнал «Леф», ответственным редактором которого был Маяковский. Всего в 1923—1925 годах вышло

7 номеров. В «Лефе» принимал участие ряд известных советских поэтов (Асеев, Каменский, Кирсанов, Пастернак и другие). Маяковский стремился объединить участников «Лефа» на платформе коммунистической идеологии, пафоса строительства революционного искусства, борьбы за утверждение, как он писал в заявлении по поводу издания журнала, «тенденциозного реализма, основанного на использовании технических приемов всех революционных художественных школ». При всей определенности исходных позиций Маяковского на страницах журнала находили место ошибочные «теории» лефовцев — вульгарно-социологического и формалистического характера.

В 1927 году начал выходить под редакцией Маяковского журнал «Новый Леф». В середине 1928 года Маяковский вышел из группы «Леф», считая, что «мелкие литературные дробления изжили себя». Объясняя свой уход из «Лефа», Маяковский говорил, что «Леф» — это эстетическая группа, которая приняла нашу борьбу как факт, как таковой, и сделала из революционной литературы замкнутое в себе новое эстетическое предприятие».

25-й год. Сборник «Сам пройдись по небесам» издан не был.

1927-й год. С июля 1927 года и до конца жизни Маяковский активно сотрудничал в «Комсомольской правде».

Книга «Универсальный ответ» не была написана.

1928-й год. *Пишу поэму «Плохо»...* — Поэма не была написана. Во второй половине года Маяковский написал пьесу «Клоп».

СТИХОТВОРЕНИЯ

Ночь (стр. 33). Альм. «Пощечина общественному вкусу», М. 1912 (вышел в декабре); «Простое как мычание»; «Все сочиненное»: «13 лет работы», т. I; Сочинения, т. I.

Об этом стихотворении Маяковский говорит в автобиографии: «первое профессиональное, печатаемое».

Утро (стр. 34). Альм. «Пощечина общественному вкусу», М. 1912 (вышел в декабре); «Простое как мычание»; «Все сочиненное», «13 лет работы», т. I; «Избранный Маяковский»; Сочинения, т. I.

Порт (стр. 36). Альм. «Садок судей», т. II, П. 1913 (вышел в феврале); «Простое как мычание»; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; Сочинения, т. I.

Написано в конце декабря 1912 г. (см. «Я сам»).

Уличное (стр. 37). Альм. «Садок судей», II, П. 1913: «Кофта фата»; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; Сочинения, т. I.

Из улицы в улицу (стр. 38). Листовка «Пощечина общественному вкусу», М. 1913 (вышла в феврале); альм. «Требник троих», М. 1913; «Простое как мычание»; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; Сочинения, т. I.

А вы могли бы? (стр. 40). Автограф (строки 5—10, ЦГАЛИ); альм. «Требник троих», М. 1913 (вышел в марте); «Для первого знакомства»; «Простое как мычание»; «Все сочиненное», фонографическая запись авторского чтения (1920); «13 лет работы», т. I; «Избранный Маяковский»; «Для голоса»; Сочинения, т. I.

Вывескам (стр. 41). Альм. «Требник троих», М. 1913; «Простое как мычание»; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; «Избранный Маяковский»; Сочинения, т. I.

Строка 6. *Созвездие «Магги»* — световая реклама бульонного экстракта, выпускавшегося фирмой «Магги».

Театры (стр. 42). Альм. «Требник троих», М. 1913; «Простое как мычание»; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; «Избранный Маяковский»; Сочинения, т. I.

Строка 6. *У блеклой женщины Карьера...*— Э. Каррьер — французский художник конца XIX века.

Кое-что про Петербург (стр. 43). Альм. «Требник троих», М. 1913; «Простое как мычание»; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; Сочинения, т. I.

За женщиной (стр. 44). Альм. «Требник троих», М. 1913; «Простое как мычание». «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; Сочинения, т. I.

В тексте альманаха вместо строк 13—16 четыре строки точек — очевидно, по требованию цензуры.

Я (стр. 45). Альм. «Дохлая луна», 1 и 2 изд., М. 1913, 1914; «Для первого знакомства»; «Простое как мычание»; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; Сочинения, т. I.

Это и следующие за ним три стихотворения составляют цикл стихов «Я!», который был выпущен литографированным изданием в мае 1913 г.

Несколько слов о моей жене (стр. 46). Сб. «Я!»; альм. «Дохлая луна», 1 и 2 изд., М. 1913, 1914; «Для первого знакомства»; «Простое как мычание»; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; Сочинения, т. I.

Несколько слов о моей маме (стр. 47). Сб. «Я!»; альм. «Дохлая луна», 1 и 2 изд., М. 1913, 1914; «Для первого знаком-

ства»; «Простое как мычание»; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; Сочинения, т. I.

Строка 26. *Аванцо* — магазин художественных изделий, находившийся в Москве на Кузнецком мосту.

Несколько слов обо мне самом (стр. 48). Сб. «Я!»; альм. «Дохлая луна», 1 и 2 изд., М. 1913, 1914; «Для первого знакомства»; «Простое как мычание»; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; Сочинения, т. I.

Строки 12 и 13. Разночтения в первопечатном тексте — очевидно, подцензурный вариант.

Исчерпывающая картина весны (стр. 50). Беловой автограф (ЦГАЛИ); альм. «Дохлая луна», 1 и 2 изд., М. 1913, 1914; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; Сочинения, т. I.

От усталости (стр. 51). Альм. «Дохлая луна», 1 и 2 изд., М. 1913, 1914; корректура «Для первого знакомства»; «Простое как мычание»; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; Сочинения, т. I.

Любовь (стр. 52). Альм. «Дохлая луна», 1 и 2 изд., М. 1913, 1914; корректура «Для первого знакомства»; «Простое как мычание»; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; Сочинения, т. I.

Мы (стр. 53). Альм. «Дохлая луна», 1 и 2 изд., М. 1913 и 1914; «Для первого знакомства»; «Простое как мычание»; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; Сочинения, т. I.

Строка 10. Разночтение в тексте альманаха — очевидно, подцензурный вариант.

Шумики, шумы и шумищи (стр. 54). Альм. «Дохлая луна», 1 и 2 изд., М. 1913, 1914; «Для первого знакомства»; «Простое как мычание»; альм. «Весенний салон поэтов», М. 1918; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; Сочинения, т. I.

Адище города (стр. 55). Альм. «Молоко кобылиц», М. 1914 (вышел в конце 1913); «Простое как мычание»; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I: Сочинения, т. I.

Нате! (стр. 56). Альм. «Рыкающий Парнас», П. 1914 (вышел в январе); «Для первого знакомства»; «Простое как мычание»; «Все сочиненное»; «13 лет работы»; «Избранный Маяковский»; Сочинения, т. I. Написано в середине октября 1913 года. Прочитано Маяковским на открытии Литературного кабаре «Розовый фонарь» в Мамоновском переулке в Москве, 19 октября 1913 года.

Ничего не понимают (стр. 57). Альм. «Рыкающий Парнас», П. 1914; «Для первого знакомства»; «Простое как мычание»; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; «Избранный Маяковский»; Сочинения, т. I.

В а в т о (стр. 58). «Кофта фата»; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; Сочинения, т. I.

Датируется 1913 годом предположительно.

К о ф т а ф а т а (стр. 59). «Первый журнал русских футуристов», М. 1914, № 1—2 (вышел в марте); корректура «Для первого знакомства»; «Простое как мычание»; «Все сочиненное»; «13 лет работы, т. I; «Избранный Маяковский»; Сочинения, т. I.

Строка 12. *Би-ба-бо* — кукла, надеваемая на руку.

П о с л у ш а й т е! (стр. 60). «Первый журнал русских футуристов», М. 1914, № 1—2; «Простое как мычание»; «Все сочиненное» — фонографическая запись авторского чтения (1920); «13 лет работы», т. I; «Избранный Маяковский»; Сочинения, т. I.

Строка 8. Разночтение в журнальном тексте — очевидно, подцензурный вариант.

А в с е - т а к и (стр. 62). «Первый журнал русских футуристов», М. 1914, № 1—2; «Для первого знакомства»; «Простое как мычание»; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; Сочинения, т. I.

Е щ е П е т е р б у р г (стр. 63). «Первый журнал русских футуристов», М. 1914, № 1—2; «Простое как мычание»; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; Сочинения, т. I.

В журнальном тексте разночтение в строке 7: «А с крыш смотрела какая-то дрянь» (вместо «А с неба») — очевидно, подцензурный вариант.

В о й н а о б ъ я в л е н а (стр. 64). Журн. «Новая жизнь», М. 1914, № 8; альм. «Война» (1 и 2 изд.), М. 1914; альм. «Весеннее контрагентство муз», М. 1915; «Простое как мычание»; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; Сочинения, т. I.

Посвящение в тексте альманаха: О. В. Р. — О. В. Розенблюм. Дата «20 июля 1915 г.» — очевидная ошибка, стихотворение написано в июле 1914 г.

М а м а и у б и т ы й н е м ц а м и в е ч е р (стр. 66). Беловой автограф (ЦГАЛИ); газ. «Новь», М. 1914, 20 ноября; альм. «Весеннее контрагентство муз», М. 1915; «Для первого знакомства»; «Простое как мычание»; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; Сочинения, т. I.

Строка 30. *Ковно* — Каунас, город в Литве.

Дата в тексте альманаха «Октябрь 1915 г.» — очевидная ошибка, стихотворение написано в первой половине 1914 года.

С к р и п к а и н е м н о ж к о н е р в н о (стр. 68). Беловой автограф (ЦГАЛИ); журн. «Театр в карикатурах», М. 1914, № 18,

30 ноября; «Простое как мычание»; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; «Избранный Маяковский»; Сочинения, т. I.

Строка 8. *Кузнецкий* — Кузнецкий мост, улица в Москве.

Мысли в призыв (стр. 70). «Кофта фата»; «Все сочиненное», «13 лет работы», т. I; Сочинения, т. I.

Датируется предположительно 1914 годом (первые месяцы войны).

Строка 33. *«Анатэма»* — мистическая пьеса Л. Андреева.

Строка 53. *Спарта* — древнегреческое государство, в котором весь строй жизни был организован на военный лад.

Я и Наполеон (стр. 72). Беловой автограф (БММ); альм. «Весеннее контрагентство муз», М. 1915 (вышел в мае); «Для первого знакомства», «Простое как мычание»; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; Сочинения, т. I.

Строка 26. *Уже у Ноева оранжереи...*—цветочный магазин Ноева, находившийся в Москве на Петровке.

Строка 54. *Солнце Аустерлица...*— слова, произнесенные Наполеоном на рассвете дня Бородинской битвы (под Аустерлицем в 1805 году Наполеон одержал крупную победу).

Строка 63. В Яффе в 1799 году Наполеон посетил чумный госпиталь.

Строка 67. *Аркольский мост* — мост в итальянском местечке Арколе, где в 1796 году произошло ожесточенное сражение французских войск под предводительством Наполеона с австрийскими войсками. Наполеон, возглавлявший одну из штурмовых колонн, едва не был убит.

Вам! (стр. 75). Альм. «Взял», П. 1915, декабрь; «13 лет работы», т. I; Сочинения, т. I.

Написано не позже первых чисел февраля 1915 года. 11 февраля Маяковский прочитал это стихотворение на вечере в артистическом подвале «Бродячая собака». Чтение вызвало взрыв возмущения буржуазной публики. В автобиографии Маяковский вспоминал, что «Бродячая собака» чуть не была закрыта за чтение «Вам!» (см. стр. 374).

Строка 9. В тексте альманаха вторая половина строки «если б он, приведенный на убой» была изъята цензурой.

Строка 12. *Северянин Игорь* — поэт-декадент, глава эгофутуристов.

Гимн судье (стр. 76). Журн. «Новый сатирикон», П. 1915, № 9, 26 февраля; «Простое как мычание»; «Кофта фата»; «Все сочиненное»; фонографическая запись авторского чтения (1920); «13 лет работы», т. I; «Маяковский улыбается, Маяковский смеется, Маяковский издевается»; Сочинения, т. I.

Гимн ученому (стр. 78). Журн. «Новый сатирикон», П 1915, № 12, 19 марта; «Кофта фата»; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; «Маяковский улыбается, Маяковский смеется, Маяковский издевается»; Сочинения, т. I.

Военно-морская любовь (стр. 80). Журн. «Новый сатирикон», П. 1915, № 25, 18 июня; «Все сочиненное»; фонографическая запись авторского чтения (1920); «13 лет работы», т. I; «Для голоса»; «Избранное из избранного»; Сочинения, т. I.

Гимн здоровью (стр. 81). Журн. «Новый сатирикон», П. 1915, № 27, 2 июля; «Для первого знакомства»; «Простое как мычание»; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; Сочинения, т. I.

Гимн критику (стр. 82). Список с черновой рукописи, сделанный К. Чуковским, 1915 (БММ); журн. «Новый сатирикон», П. 1915, № 28, 9 июля; корректура «Для первого знакомства»; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; «Маяковский улыбается, Маяковский смеется, Маяковский издевается»; Сочинения, т. I.

Гимн обеду (стр. 84). Журн. «Новый сатирикон», П. 1915, № 29, 16 июля; корректура «Для первого знакомства»; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; «Маяковский улыбается, Маяковский смеется, Маяковский издевается»; Сочинения, т. I.

Строка 6. В сентябре 1914 года германской артиллерией был разрушен Реймский собор — памятник французской архитектуры XIII века.

Теплое слово кое-каким порокам (стр. 86). Журн. «Новый сатирикон», П. 1915, № 30, 23 июля; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; Сочинения, т. I.

Вот так я сделался собакой (стр. 88). Журн. «Новый сатирикон», П. 1915, № 31, 30 июля; корректура «Для первого знакомства»; «Простое как мычание»; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; «Маяковский улыбается, Маяковский смеется, Маяковский издевается»; Сочинения, т. I.

Кое-что по поводу дирижера (стр. 90). Журн. «Новый сатирикон», П. 1915, № 32, 6 августа; корректура «Для первого знакомства»; «Простое как мычание»; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; «Избранный Маяковский»; Сочинения, т. I.

Пустяк у Оки (стр. 91). Журн. «Новый сатирикон», П. 1915, № 33, 13 августа; «Кофта фата»; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; Сочинения, т. I.

Великолепные нелепости (стр. 92). Журн. «Новый сатирикон», П. 1915, № 34, 20 августа; «Простое как мычание»; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; Сочинения, т. I.

Гимн взятке (стр. 94). Журн. «Новый сатирикон», П. 1915, № 35, 27 августа; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; Сочинения, т. I.

Внимательное отношение к взяточникам (стр. 95). Журн. «Новый сатирикон», П. 1915, № 35, 27 августа; «Кофта фата»; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; «Маяковский улыбается, Маяковский смеется, Маяковский издевается»; Сочинения, т. I.

Чудовищные похороны (стр. 97). Журн. «Новый сатирикон», П 1915, № 36, 3 сентября; «Простое как мычание»; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; «Маяковский улыбается, Маяковский смеется, Маяковский издевается»; Сочинения, т. I.

Мое к этому отношение (стр. 99). Журн. «Новый сатирикон», П. 1915, № 38, 17 сентября; «Кофта фата»; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; «Маяковский улыбается, Маяковский смеется, Маяковский издевается»; Сочинения, т. I.

Подзаголовок «Гимн еще почтее» впервые появился в сборнике «Все сочиненное». В этом сборнике «Мое к этому отношение» было напечатано после стихотворения «Теплое слово кое-каким порокам (почти гимн)».

Строка 12. *Сытин* — известный издатель и книгопродавец, крупный капиталист.

Строка 16. *Апухтин* А.— русский поэт второй половины XIX века. Был очень тучен.

Строка 30. *Спектакль-гала* — парадный спектакль.

Эй! (стр. 101). Журн. «Новый сатирикон», П. 1916, № 8, 18 февраля; «Кофта фата»; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; Сочинения, т. I.

В последний текст в строке 40 внесено исправление: вместо «С похмелья»—«С похмельем» (по текстам: «Новый сатирикон», «Все сочиненное», «13 лет работы»).

В строке 51: вместо «землю самое» — «землю саму» (ошибка — вследствие корректорской поправки).

Строка 16. *Капри* — остров близ Неаполя, одно из красивейших мест Италии.

Ко всему (стр. 103). Альм. «Стрелец», П. 1916; «Простое как мычание»; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; Сочинения, т. I.

В тексте альманаха цензурные пропуски: «под ношей креста Христос» (строки 42—43); «Я возьму намалюю на царские врата на божьем лике Разина» (строки 98—101); «в черных душах убийц и анархистов» (строка 110).

Лиличка! (стр. 107). Печатается по беловому автографу, датированному Маяковским: «26 мая 1916 г. Петроград». (Посвящено Л. Ю. Брик). Напечатано в альм. «С Маяковским», М. 1934.

Строка 3. *Глава в крученыховском аде...*— Имеется в виду поэма А. Крученых и В. Хлебникова «Игра в аду».

Издевательства (стр. 109). Журн. «Новый сатирикон», П. 1916, № 45, 3 ноября, с подзаголовком «Цикл из пяти». В этот цикл, кроме напечатанного в том же номере журнала стих. «Никчемное самоутешение», должны были, очевидно, войти следующие четыре стихотворения, появившиеся в ближайших номерах: «Надоело», «Дешевая распродажа», «Следующий день», «Братья писатели».

Никчемное самоутешение (стр. 110). Журн. «Новый сатирикон», П. 1916, № 45, 3 ноября; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; Сочинения, т. I.

Надоело (стр. 112). Журн. «Новый сатирикон», П. 1916, № 46, 10 ноября; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; «Маяковский улыбается, Маяковский смеется, Маяковский издевается»; Сочинения, т. I.

В последний текст в строке 62 внесено исправление: вместо «1914 году» — «в 1916 году» (по тексту журн. «Новый сатирикон»).

Строка 2. *Анненский И.*— поэт-декадент.

Строки 57—58. *Рябое прочту «Простое как мычание»...*— название вышедшего в то время сборника стихов Маяковского. «Рябое» от цензурных пропусков.

Дешевая распродажа (стр. 115). Журн. «Новый сатирикон», П. 1916, № 48, 24 ноября; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; Сочинения, т. I.

В последний текст в строке 57 внесено исправление: вместо «в Петербурге» — «в Петрограде» (по тексту «Нового сатирикона»).

Строка 11. *Пьерпонт Морган* — американский миллиардер.

Строки 56—58. *Сегодня в Петрограде на Надеждинской* — улица, на которой жил в то время Маяковский. Теперь улица Маяковского.

Мрак (стр. 118). Журн. «Новый сатирикон», П. 1916, № 49, 1 декабря; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; Сочинения, т. I.

Строка 7. *Сегодня на Верхарна обиделись небеса...*— Бельгийский поэт Эмиль Верхарн погиб под колесами поезда 14/27 ноября 1916 года.

Строка 13. *Шебуев Н.* — бульварный журналист.

Строка 25. «*Селект*» — гостиница в Петрограде.

Строка 26. С *Фадеем Абрамовичем сяду играть в око...* — Ф. А. Штейн — знакомый Маяковского. Око — карточная игра.

Строка 38. *Поссе* В.— журналист, сотрудничал в органах либерально-буржуазного направления, читал лекции на самые разнообразные темы.

Строка 42. *Театр Мосоловой* — театр миниатюр в Петрограде.

Строка 46. «*Задушевное слово*» — журнал для детей. На страницах журнала печатались слащаво-сентиментальные произведения.

Лунная ночь (стр. 120). Журн. «Новый сатирикон», П. 1916, № 49, 1 декабря.

Следующий день (стр. 121). Журн. «Новый сатирикон», П. 1916, № 50, 8 декабря; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; Сочинения, т. I.

Строка 11. *Пальмерстон* — фасон пальто.

В. Я. Брюсову на память (стр. 123). Журн. «Новый сатирикон», П. 1916, № 51, 15 декабря; «Кофта фата».

Хвои (стр. 124). Журн. «Новый сатирикон», П. 1916, № 52, 22 декабря; «Кофта фата»; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; Сочинения, т. I.

Себе, любимому, посвящает эти строки автор (стр. 126). Альм. «Весенний салон поэтов», М. 1918; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; «Избранный Маяковский»; Сочинения, т. I.

Датируется 1916 годом предположительно.

Строка 55. *Голиаф* — легендарный великан, о котором повествуется в библии.

Последняя петербургская сказка (стр. 128). «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; Сочинения, т. I.

Датируется 1916 годом предположительно.

Строка 1. *Стоит император Петр Великий...* — памятник Петру I на Сенатской площади в Петрограде — Петр на коне, попирающем копытами змею.

Строка 3. «*Запирую на просторе я!*» — перефразированная строка из поэмы Пушкина «Медный всадник»: «И запируем на просторе».

Строка 27. *Гренадин* — прохладительный напиток, который принято пить через соломинку.

России (стр. 130). «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; Сочинения, т. I.

Датируется 1916 годом предположительно.

Братья писатели (стр. 132). Журн. «Новый сатирикон», П. 1917, № 3, 12 января; «Кофта фата»; «Все сочиненное»; «13 лет работы, т. I; «Маяковский улыбается, Маяковский смеется, Маяковский издевается»; Сочинения, т. I.

Строка 2. *Бристоль* — литературное кафе в Петрограде.

Строка 23. *Франсуа Вийон* — французский поэт XV века, родоначальник новой французской поэзии. Существует версия, согласно которой Вийон в молодости был замешан в уголовном преступлении.

Строка 52. *Причесываться? Зачем же!..* — перифраз стихов Лермонтова: «Любить — но кого же? на время не стоит труда, а вечно любить невозможно».

Революция (стр. 134). Черновые записи строк 1—72, 115—118, 125—129, 159—212, 169—175 — в записной книжке № 1 (БММ); газ. «Новая жизнь», П. 1917, № 29, 21 мая; «Газета футуристов», М. 1918, 15 марта; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; «Стихи о революции», 1 и 2 изд.; «Избранный Маяковский»; «Американцам для памяти»; Сочинения, т. II.

Строка 7. *Волынский полк* — первый полк петроградского гарнизона, перешедший на сторону революции (февраль 1917 г.).

Строка 23. Маяковский служил в Военно-автомобильной школе, будучи призванным в армию, в 1915—1917 годах (см. в автобиографии: «Пошел с автомобилями к Думе...; Принял на несколько дней команду Автошколой»).

Строка 93. *Марсельский марш* — Марсельеза.

Строка 95. *Купол Думы* — купол Таврического дворца, где помещалась Государственная дума.

Строка 168. *Синай* — гора в Египте, где, по библейскому преданию, бог дал Моисею скрижали с десятью заповедями.

Подписи к плакатам издательства «Парус» (стр. 141). Плакаты с текстами и рисунками Маяковского были выпущены издательством «Парус» весной 1917 года.

Строка 1. *Саша* — жена Николая II Александра Федоровна.

Строка 3. *Коля* — Николай II.

Сказка о красной шапочке (стр. 142). Газ. «Новая жизнь», П. 1917, № 88, 30 июля; список, сделанный Л. Ю. Брик (1918); «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; «Маяковский улыбается, Маяковский смеется, Маяковский издевается»; Сочинения, т. II.

Строка 1. *Кадеты* — конституционно-демократическая партия либерально-монархической империалистической буржуазии в России.

Прикрываясь либеральными фразами, кадеты боролись против революции.

К о т в е т у! (стр.143). Черновой автограф в записной книжке № 1, (БММ); «Новая жизнь», П. 1917, № 96, 9 августа.

Характерно, что это стихотворение вызвало возмущенный отклик меньшевистской газеты «Единство» (11 августа 1917 г.). «Если до сих пор только скучные прозаики победно боролись с «империализмом» Милюкова, французов и англичан, то теперь за это дело взялся в стихах футурист Маяковский...»

Н е т р у д н о, л а н д ы ш а м и д ы ш а... (стр. 145). Написано летом 1917 года для сатирического журнала «Тачка», который предполагалось выпускать при газете «Новая жизнь». Издание журнала не осуществилось, и стихотворение осталось ненапечатанным. В конце 1919 года, работая в РОСТА, Маяковский переделал стихотворение и выпустил в виде «Окна сатиры» под заглавием «Первый вывоз» (см. т. III).

Печатается по тексту белового автографа в записной книжке № 1 (БММ).

Строки 21—23. *Нарвская, Выборгская, Охта* — промышленные окраины Петрограда.

И н т е р н а ц и о н а л ь н а я б а с н я (стр. 147). Черновой автограф в записной книжке № 1 (БММ); «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. I; Сочинения, т. II.

Датируется 1917 годом предположительно.

Строка 1. *Петух* — эмблема Франции («галльский петух»).

Строка 2. *Дог* — Англия.

Строка 3. *Вор* — Николай II.

Е ш ь а н а н а с ы, р я б ч и к о в ж у й... (стр. 148). Журн. «Соловей», М. 1917, № 1, 24 декабря; Сочинения, т. III (процитировано Маяковским в поэме «Владимир Ильич Ленин»); Сочинения, т. IV.

Написано в сентябре или октябре 1917 года.

В статье «Только не воспоминания» (1927) Маяковский рассказывает о происхождении этих строк: «К Привалу [1] стали приваливаться остатки фешенебельного и богатого Петербурга. В такт какой-то разухабистой музычке я сделал двустишие... Это двустишие стало моим любимейшим стихом: петербургские газеты первых дней Октября писали, что матросы шли на Зимний, напевая какую-то песенку: Ешь ананасы... и т. д.».

---

[1] «Привал комедиантов» — артистический кабачок.

Владимир Маяковский. Трагедия (стр. 151). Машинопись с правкой, представленная в драматическую цензуру (1913, ЦГАЛИ), 1-е изд. (1914); экземпляр 1-го изд. с правкой (1915, БММ). «Простое как мычание»; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. II; Сочинения, т. I.

Трагедия написана летом 1913 года в Москве и Кунцеве (под Москвой). Закончена в сентябре — октябре. Первоначальные варианты заглавия — «Железная дорога», «Восстание вещей». Поставлена была в декабре 1913 года в Петербурге в театре «Луна-парк» обществом художников «Союз молодежи». Декорации П. Филонова и И. Школьника. Все роли исполнялись учащимися и любителями. Режиссировал Маяковский. Он же исполнял заглавную роль. Спектакль, прошедший два раза (2 и 4 декабря), вызвал ряд резко отрицательных и издевательских рецензий буржуазной прессы. В автобиографии Маяковский говорит: «Просвистели ее (трагедию) до дырок».

Экземпляр трагедии, представленный в драматическую цензуру 9 ноября 1913 года, показывает, что Маяковский сделал для сцены ряд купюр и исправлений в местах, которые не могли быть разрешены цензурой (см. разночтения строк 94—95, 98—99, 176—178, 279—280).

Отдельным изданием трагедия вышла в марте 1914 года под маркой «Первый журнал русских футуристов». В тексте этого издания изъято слово «бог» в строках 95, 98: «глядит обезумевший бог», «Он бог, а кричит о жестокой расплате», и сняты строки 279—280; «Где за святость распяли пророка».

Старик с сухими черными кошками.— Объяснение этого образа см. в статье Маяковского «Без белых флагов»: «...Ведь когда египтяне или греки гладили черных и сухих кошек, они тоже могли добыть электрическую искру, но не им возносим мы песнь славы, а тем, кто блестящие глаза дал повешенным головам фонарей и силу тысячи рук влил в гудящие дуги трамваев».

Строка 150. *Матчиш* — эстрадный танец.

Облако в штанах (стр. 173). Черновой автограф не вошедшей в текст строфы и строк 717—724 (БММ); отрывки — в альманахе «Стрелец», П. 1915 (строки 21—26, 535—556, 575—611, 624—638); отрывки — в статье Маяковского «О разных Маяковских» — «Журнал журналов», П. 1915, август (строки 278—289, 304—347, 360—368, 404—409, 460—471); 1-е изд. поэмы; текст цензурных изъятий 1-го изд.—

в экземплярах О. М. Брика и Л. Ю. Брик (1915); «Простое как мычание»; отрывки — в журн. «Новый сатирикон», П. 1917, № 11, 17 марта (строки 342—368, 435—471, 476—482); 2-е изд. поэмы; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. II; «Избранный Маяковский»; 3-е изд. поэмы; Сочинения, т. I; отрывки — в сб. «Школьный Маяковский» (строки 217—368, 435—495).

Начало работы над поэмой относится к первой половине 1914 года. В автобиографии «Я сам» Маяковский говорит: «Начало 14-го года. Чувствую мастерство. Могу овладеть темой. Вплотную. Ставлю вопрос о теме. О революционной. Думаю над «Облаком в штанах». Закончена поэма была в июле 1915 года в Куоккала (под Петроградом). «...Вечера шатаюсь пляжем. Пишу «Облако» («Я сам»).

Выступая в марте 1930 года в Доме комсомола Красной Пресни, Маяковский вспоминал: «Оно («Облако в штанах») начато письмом в 1913/14 году и сначала называлось «Тринадцатый апостол». Когда я пришел с этим произведением в цензуру, то меня спросили: «Что вы, на каторгу захотели?» Я сказал, что ни в коем случае, что это никак меня не устраивает. Тогда мне вычеркнули шесть страниц, в том числе и заглавие. Это — вопрос о том, откуда взялось заглавие. Меня спросили — как я могу соединить лирику и большую грубость. Тогда я сказал: «Хорошо, я буду, если хотите, как бешеный, если хотите — буду самым нежным, не мужчина, а облако в штанах».

До выхода поэмы в свет отрывки из пролога и 4-й части появились в сборнике «Стрелец» (февраль 1915 г.) и несколько строф из 2-й и 3-й частей было процитировано в статье Маяковского «О разных Маяковских» в «Журнале журналов» (август 1915 г.). И в сборнике и в журнале поэма была названа «трагедией», а затем в отдельном издании Маяковский дал ей подзаголовок «тетраптих» (т. е. композиция из четырех частей).

Выход сборника «Стрелец» был отмечен вечером, устроенным в артистическом подвале «Бродячая собака» 25 февраля 1915 года. На этом вечере, где присутствовал М. Горький, Маяковский прочел отрывок из поэмы. Следует упомянуть также чтение отрывков поэмы Горькому в июле 1915 года.

Первое издание поэмы было выпущено О. М. Бриком в сентябре 1915 года. Оно содержало большое количество цензурных купюр. «Облако» вышло перистое. Цензура в него дула. Страниц шесть сплошных точек» (см. «Я сам»).

Цензурой были изъяты: во 2-й части строки 250—253, 323—335, 348—355, 360—363; в 3-й части — строки 456—459, слова «под

ножами» в строке 467 («Пускай земле под ножами припомнится»), 474—475, 501—505; в 4-й части — строки 620—623, 630, 668—708. Кроме того, в ряде строк были изъяты отдельные слова: «богоматерь», «евангелие», «апостол», «Иисус Христос», «господин бог».

В 1916 году поэма была перепечатана в сборнике «Простое как мычание» (изд. «Парус», руководимое М. Горьким) с меньшим, но все же значительным числом цензурных изъятий. После свержения самодержавия Маяковский напечатал в журн. «Новый сатирикон», № 11, 17 марта 1917 года не пропущенные ранее цензурой отрывки из 2-й и 3-й частей поэмы под заглавием «Восстанавливаю» и со следующим предисловием: «Моя книга «Облако в штанах» была послана в цензуру под первоначальным названием «Тринадцатый апостол». Помещаю из этой изуродованной в первом и кастрированной во втором издании книги — 75 строк».

Полностью с восстановлением всех изъятых цензурой мест поэма вышла в начале 1918 года в Москве под маркой организованного Маяковским издательства «Асис» (Ассоциация социалистического искусства). В предисловии к этому изданию Маяковский писал: «Облако в штанах» (первое имя «Тринадцатый апостол» зачеркнуто цензурой. Не восстанавливаю. Свыкся) считаю катехизисом сегодняшнего искусства; «Долой вашу любовь», «долой ваше искусство», «долой ваш строй», «долой вашу религию» — четыре крика четырех частей.

Строки 83—84. *Химеры Собора Парижской богоматери* — изваяния мифических чудовищ на здании собора.

Строка 132. *Джиоконда* — знаменитая картина Леонардо да Винчи — женский портрет. В 1911 году картина была украдена из Лувра; в 1913 году возвращена в музей.

Строки 144—145. *Помпея* — город, расположенный у подножия вулкана Везувий, был разрушен во время извержения Везувия в I веке до н. э.

Строка 202. «*Лузитания*» — пассажирский пароход, торпедированный германской подводной лодкой 7 мая 1915 года и сгоревший в открытом море.

Строка 307. *Заратустра* — мифический создатель религии в древнем Иране. У Маяковского это имя употреблено в нарицательном смысле — глашатай, проповедник.

Строка 312. *Лепрозорий* — изолированное убежище для прокаженных.

Строка 329 ...*Голгофы аудиторий*...— Маяковский имеет в виду свою поездку по городам России в конце 1913 — начале 1914 года.

Буржуазная пресса встречала выступления Маяковского руганью и издевательствами.

Строка 380—381. *Сквозь свой до крика разодранный глаз...*— Д. Бурлюк был слеп на один глаз.

Строка 395. *Пейте какао Ван Гутена...*— Маяковский имел в в виду факт, о котором писали тогда газеты: приговоренный к смерти согласился крикнуть в момент казни: «Пейте какао Ван Гутена!» За это рекламное выступление фирма Ван Гутен обещала большое вознаграждение семье казненного.

Строка 455. *Галифе* — генерал, жестоко расправившийся с парижскими коммунарами в 1871 году.

Строки 492—493. *Пирует Мамаем, задом на город насев...*— Здесь речь идет о победителях, которые пировали, сидя на досках, положенных на тела побежденных. В действительности так пировал не хан Золотой Орды Мамай, а полководцы Чингисхана после битвы на Калке в 1223 году.

Строка 495. *Азеф* — провокатор, работавший в эсеровском подполье. Имя его стало синонимом предательства.

Строка 505. *Варавва* — по евангельскому преданию, разбойник, осужденный в тот же день, что и Христос. Толпа требовала от судей помилования Вараввы и казни Христа.

Строка 582. *Пресня* — улица в Москве, где жил Маяковский.

Строка 616. *Тиана* — женское имя из одноименного стихотворения И. Северянина.

Строка 653. *Иродиада.* — По евангельскому преданию, танцевала вокруг блюда с головой казненного проповедника Иоанна Крестителя не Иродиада, а ее дочь Саломея.

Строка 674. *Ки-ка-пу* — модный в то время эстрадный танец.

Строка 692. *Севрские вазы* — вазы знаменитого фарфорового завода в Севре (Франция).

Флейта-позвоночник (стр. 197). Альм. «Взял», П. 1915, декабрь (строки 21—105), 1-е изд.; экземпляр 1-го изд., со вписанным рукою Маяковского текстом цензурных изъятий (1916, ЦГАЛИ); «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. II; «Лирика»; Сочинения, т. I.

Написана осенью 1915 года (закончена не позже ноября). Первоначальный вариант заглавия «Стихи ей».

В первой части поэмы, напечатанной в альм. «Взял», пропуски

(строки 35—36, 69—75 и в ряде строк слова «бог», «всевышний») — цензурного характера.

Отдельным изданием поэма вышла в феврале 1916 года, изд. «Взял». В тексте этого издания те же пропуски, что и в альманахе «Взял», и, кроме того, опущены строки 17—20, 76—81, 88—94, 114—121, 178—185.

Полностью с восстановлением всех цензурных изъятий поэма появилась в сборнике «Все сочиненное» под заглавием «Флейта позвоночника».

Строка 23. *Гофман* Эрнст Теодор Амадей—немецкий писатель и композитор XIX века. В своих произведениях рисовал фантастический мир, оторванный от реальной действительности.

Строка 119. *Бахус* — бог виноделия у древних греков.

Строка 125. *Гретхен* — уменьшительное от Маргарита — героиня драматической поэмы Гете «Фауст».

Строка 131. Имеется в виду героиня оперы Верди «Травиата», написанной на сюжет повести А. Дюма-сына «Дама с камелиями».

Строка 168. *Стрелка, Сокольники* — места загородных прогулок в Петрограде и Москве.

Строка 179. *Святая Елена* — остров, на который был сослан и где умер Наполеон.

Строка 254. *Пиррова победа* (от имени эпирского царя Пирра, воевавшего с римлянами) — победа, купленная ценою слишком больших потерь.

Строка 293. *Бялик* Х. Н.— поэт, писавший на древнееврейском языке.

Строка 298. *Король Альберт* — бельгийский король. Немцы, наступая на Францию в 1914 году, заняли всю Бельгию.

Война и мир (стр. 209). 5-я часть поэмы — журн. «Летопись», П. 1917, № 2—4; пролог — журн. «Летопись», П. 1917, № 7—8; 4-я часть — альм. «Чудо в пустыне», Одесса 1917; 3-я часть — газ. «Новая жизнь», П. 1917, № 100, 13 августа; корректурные листы 1-го изд. (строки 626—1056, ЦГАЛИ); 1-е изд., 5-я часть — в альм. «Ржаное слово», П. 1918; «Все сочиненное»; 2-е изд.; «13 лет работы», т. II; «255 страниц»; 3-е изд.; Сочинения, т. I; 3-я часть — в сб. «Школьный Маяковский».

В текст I тома внесены исправления: в строке 35 вместо «набатом будущих годин» — «набатом гибнущих годин» (по текстам «Летописи» и «13 лет работы»); в строке 429 вместо «Загорается» — «Разгорается» (по текстам сб. «255 страниц Маяковского», 3-го издания поэмы и сб. «Школьный Маяковский» (1929); в строке 511 вместо «мясо

и платье» — «и мясо и платье» (по тексту сб. «Школьный Маяковский»).

3-я часть поэмы написана была в самом конце 1915 года. Закончена поэма в течение 1916 года.

3-я часть поэмы была прочитана Маяковским в редакции журнала «Летопись» в присутствии М. Горького и принята к напечатаншо в журнале. Однако военная цензура запретила ее, и в № 9 журнала она значится в списке произведений, которые «не могут быть напечатаны по независящим от редакции обстоятельствам». Невозможны были и никакие публичные выступления с чтением поэмы. Только после революции Маяковский смог и публично прочитать ее и напечатать.

Отдельным изданием поэма вышла в ноябре 1917 года в изд. «Парус».

В заглавии поэмы слово «Мир» писалось через «і», т. е. вселенная.

Посвящение: Лиле — Л. Ю. Брик.

В начале 1-й части даны ноты аргентинского танго, популярного в те годы.

Строка 152. *Ной* — библейский патриарх, по преданию упился вином и был осмеян своим сыном Хамом.

Строка 254. *Бурши* — немецкие студенты.

Строка 269. *Митральеза* — скорострельная пушка.

Строка 289. *Нерон* — древнеримский император; любил развлекаться зрелищем кровавых боев в цирке.

Строка 307. *Колизей* — цирк в древнем Риме.

Строка 379. *Георгий Победоносец* — по христианскому верованию святой, олицетворявший воинскую доблесть.

Строка 402—403. *На Марне ядром отбивается Жоффр...* — Марна—река во Франции, место ожесточенных боев в 1914 году. Жоффр—главнокомандующий французской армией в первой мировой войне.

Строка 445. *Пегу* — французский летчик, погиб в воздушном бою с немцами в 1915 году.

Строка 494. *Ваганьково* — кладбище в Москве.

Строка 507. *За ны* — славянское «за нас».

Строка 508. *Пилат Понтийский* — наместник Рима в Иудее. При нем, по евангельскому преданию, был казнен Христос.

Строка 565. *Тальони* Мария — знаменитая итальянская балерина, выступала в 20-х—40-х годах XIX века.

Строка 798. *Лазарь* — по евангельскому преданию, был воскрешен Иисусом.

Строка 975. *Маринетти* — глава итальянских футуристов.

Человек (стр. 243). Черновые записи отдельных строф в записной книжке № 1 (строки 51—62, 170—174, 302—309, 808—811) и беловой автограф отрывка, не вошедшего в печатный текст (БММ); 1-е изд.; «Все сочиненное»; «13 лет работы», т. II; «Избранный Маяковский»; «Лирика»; Сочинения, т. I.

Поэма написана в 1916 — предположительно в первой половине 1917 года. В автобиографии Маяковский говорит, что она была закончена вслед за поэмой «Война и мир» — «немного позднее».

Отдельным изданием под маркой издательства «Асис» поэма вышла в феврале 1918 года. Подзаголовок — «вещь» (которым Маяковский заменил определение жанра: поэма — крупная вещь).

Строка 40. *Летний сад* — парк в Петрограде.

Строка 42. *Вифлеем* — селение, в котором, по евангельскому преданию, родился Христос.

Строка 46. *Волхвы* — восточные мудрецы. По евангельскому преданию, волхвы по звездам узнали о рождении Христа и пришли ему поклониться.

Строка 64. *Говорящая рыбешка.*— Маяковский имеет в виду золотую рыбку из «Сказки о золотой рыбке» Пушкина.

Строка 161. *Мекка* — город на западе Саудовской Аравии, религиозный центр, место паломничества мусульман.

Строка 221. *Брэм* — знаменитый немецкий зоолог XIX века, автор книги «Жизнь животных».

Строка 274. *Локк Уильям* — английский буржуазный писатель XIX — начала XX века, автор развлекательных романов с благополучной развязкой.

Строка 289. *Фидий* — древнегреческий скульптор.

Строка 487. «*Если красавица в любви клянется...*»— ария из оперы Верди «Риголетто».

Строка 516. *Здравствуйте, Абрам Васильевич!..* — А. В. Евнин, знакомый Маяковского.

Строка 833—835. *Из ниши головы кобыльей вылеп...*— в Петрограде, на улице Жуковского, в стене одного дома, в нише, была лепная голова лошади.

СТАТЬИ

Театр, кинематограф, футуризм (стр. 275). «Кине-журнал», М. 27 июля 1913 г., № 14. Как и все статьи этого тома, при жизни Маяковского не перепечатывалась.

Эта и следующие две статьи Маяковского написаны в связи с происходившей в то время в печати дискуссией о взаимоотношении театра и кинематографа.

Презрение... к существующим «журналам искусства», как, например, «Аполлон», «Маски»... — «Аполлон» — художественный и литературный ежемесячник, один из декадентских журналов, выходивший в Петербурге под редакцией С. Маковского. В тезисах доклада Маяковского «О новейшей русской поэзии» (20 ноября 1912 г.) он характеризуется как «рассадник духовного филистерства». «Маски» — журнал, посвященный вопросам театра; выходил в Москве при ближайшем участии Л. Андреева, Ф. Коммиссаржевского и других.

«Пер Гюнт» — драма Г. Ибсена, поставленная на сцене Московского Художественного театра в 1912 году.

Театр Обераммергау — мистерии, разыгрывавшиеся жителями селения Обераммергау (в Баварии) раз в десять лет в память избавления от чумы, свирепствовавшей в этом селении в XVII веке.

Уничтожение кинематографом «театра» как признак возрождения театрального искусства (стр. 278). «Кине-журнал», М. 24 августа 1913 г., № 16.

Из двух демонстрируемых на экране Давидом Бурлюком портретов публика не могла найти, который кисти К. Сомова и который «руки» фотографа... — Фотографии демонстрировались на диспуте о современной живописи 23 марта 1913 года в Петербурге. К. Сомов — живописец-стилизатор, входил в общество художников «Мир искусства».

К. Марджанов — режиссер «Свободного театра» в Москве; выезжал в Сорочинцы покупать волов для первой постановки театра — оперы Мусоргского «Сорочинская ярмарка».

Отношение сегодняшнего театра и кинематографа к искусству (стр. 281). «Кине-журнал», М. 18 сентября 1913 г., № 17. В этой статье Маяковский возражает на статью, помещенную в № 15 «Кине-журнала»: «Ответ футуристу Маяковскому», подписанную «Не футурист».

Л. Бакст, М. Сарьян, М. Добужинский — входили в общество художников «Мир искусства».

Живопись сегодняшнего дня (стр. 286). Журн. «Новая жизнь», П.—М., май 1914 г., с примечанием редакции: «Редакция далеко не согласна со всеми оценками автора. Но, признавая за статьей *своеобразный* интерес, охотно дает ей место».

Статья написана вскоре после исключения Маяковского из Училища живописи. В ней нашла отражение борьба, происходившая внутри Училища между реалистическим направлением в живописи и течениями, называвшими себя новаторскими,— футуризм, кубизм и т. д. В своих оценках художников Маяковский был резко полемичен и, в частности, неверно оценивал значение и место И. Репина в современной живописи.

Упоминаемые Маяковским художники А. Касаткин, Е. Волков, В. Маковский, Н. Богданов-Бельский, Н. Бодаревский входили в «Товарищество передвижных выставок». К. Коровин, А. Архипов, А. Васнецов, Л. Туржанский, С. Жуковский — члены «Союза русских художников». А. Бенуа, Б. Кустодиев, С. Судейкин, Г. Якулов — члены общества «Мир искусства». П. Кончаловский, И. Машков, А. Лентулов, Р. Фальк, А. Мильман, В. Савинков входили в общество «Бубновый валет». Н. Гончарова, М. Ларионов — футуристы, устроители выставок «Ослиный хвост», «№ 4».

М. Арцыбашев — реакционный писатель начала XX века.

Передонов — герой романа Ф. Сологуба «Мелкий бес», тип духовно растленного человека.

Когда меж собой поделили...— из стихотворения Саши Черного «Баллада».

Новаторы до Вержболова...— Эту эпиграмму Маяковский привел вторично в статье «Смотр французского искусства 1922», правильно указав, что она принадлежит Вячеславу Иванову, а не Хлебникову.

Попишу, попишу, попишу...— из стихотворения Саши Черного «Стилизованный осел».

Два Чехова (стр. 294). Журн. «Новая жизнь», П.—М., июнь 1914 г., с примечанием редакции: «Помещая статью г. В. Маяковского, редакция считает необходимым оговориться, что не разделяет некоторые из выставляемых им положений».

Написано в связи с десятилетием со дня смерти Чехова.

И блеск, и шум, и говор балов...— из вступления к поэме Пушкина «Медный всадник».

Пшла, чтоб ты издохла!.. — из рассказа Чехова «Нахлебники».

После блинов осетровую уху ели...— из рассказа Чехова «Торжество победителя».

Реплика Астрова — из IV действия «Дяди Вани» Чехова.

Штатская шрапнель (стр. 302). «Утренний телефон газеты «Новь», М. 12 ноября 1914 г., № 2.

Лувен — старинный бельгийский город, занятый немцами во время первой мировой войны.

Когда в лицо вам дерзость ветра... — неточная цитата из стихотворения В. Брюсова «Служителю муз».

Штатская шрапнель. Поэты на фугасах (стр. 305). «Утренний телефон газеты «Новь», М. 13 ноября 1914 г., № 3.

Крезо, Армстронг, Крупп — владельцы военных заводов во Франции, Англии, Германии.

Свистел булат, картечь визжала... — из стихотворения «Бородино» Лермонтова (см. послесловие к статье «Вравшим кистью» на стр. 310).

Достаточно быть в Львове, чтобы стать современным... — Маяковский имеет в виду пребывание во Львове В. Брюсова осенью 1914 года в качестве корреспондента «Русских ведомостей». Львов был взят русскими войсками в августе 1914 года.

Опять родного нам народа... — из стихотворения В. Брюсова «Польше».

Заря смотрела долгим взглядом... — из стихотворения С. Городецкого «Явление народа».

Кипи же, страшная стихия... — из стихотворения К. Бальмонта.

Штатская шрапнель. Вравшим кистью (стр. 308). «Утренний телефон газеты «Новь», М. 14 ноября 1914 г.

Повешенные в Калише... — По сообщениям газет, немцы в начале войны, заняв пограничный город Калиш, повесили несколько служащих городского Управления, оказавших им сопротивление.

В послесловии Маяковский цитирует стихотворение «Бородино» Лермонтова и поэму «Полтава» Пушкина.

Теперь к Америкам! (стр. 311). Газ. «Новь», М. 15 ноября 1914 г., № 115.

Г. Уэльс — известный английский писатель XIX—XX веков, автор фантастических романов.

Б. Лифшиц — поэт-футурист.

И нам мяса! (стр. 313). Газ. «Новь», М. 16 ноября 1914 г., № 116.

С. Яблоновский — фельетонист газеты «Русское слово».

Вчера читала я... — из стихотворения И. Северянина «Письмо из усадьбы».

Дыр, бул, щил... — из заумного стихотворения А. Крученых.

Последние четыре абзаца статьи («Свобода творить слова...»

и дальше) — повторение тезисов из футуристического манифеста «Пощечина общественному вкусу», подписанного в числе других и Маяковским.

Не бабочки, а Александр Македонский (стр. 316). Газ. «Новь», М. 17 ноября 1914 г., № 117.

Янтарь на трубках Цареграда...— из «Евгения Онегина» Пушкина (гл. I). В «Евгении Онегине» третья строка читается: «И чувств изнеженных отрада».

Дядя Михей.— Этим псевдонимом подписывались в дореволюционных газетах некоторые рекламные стихи о папиросах, вине и т. д.

Стонет в собственном бедном домишке...— из стихотворения Некрасова «Размышления у парадного подъезда».

Кричали женщины ура...— из «Горе от ума» Грибоедова (действие II, явл. 5).

Бросали польки хризантемы...— из стихотворения В. Брюсова «В Варшаве».

Россия. Искусство. Мы (стр. 318). Газ. «Новь», М. 19 ноября 1914 г., № 118. В собрание сочинений Маяковского включается впервые.

Воззвание В. Хлебникова к студентам Маяковский процитировал из сборника «Ряв!», 1914 г.

Без белых флагов (стр. 321). Газ. «Новь», 23 ноября 1914 г.

Статья явилась ответом на статьи А. Порошина и Н. Раевского («Новь», 21 и 22 ноября 1914 г.), в которых критиковалась составленная Маяковским литературная страница «Траурное ура». Наибольшие возражения вызвали стихотворение Маяковского «Мама и убитый немцами вечер» и стихотворение К. Большакова «Бельгия».

Объявление о том, что в газете «Новь» будет по четвергам выходить страница поэзии и литературы, появилось 15 ноября 1914 года. В объявлении говорилось: «Всякое произведение, имеющее свое оригинальное, новое лицо, найдет в ней место. Рукописи присылайте: Мамоновский пер., 12, редакция «Нови», В. В. Маяковскому». Маяковский составил только одну страницу, которая появилась 20 ноября 1914 года. В ней были напечатаны стихи Н. Асеева, Б. Пастернака, Д. Бурлюка и других.

Андреев говорит, что есть слезы...— См. рассказ Л. Андреева «Марсельеза».

От Грюнвальда я... — из стихотворения В. Хлебникова, приведено Маяковским по памяти, неточно.

Строчки дряхлейшего декадента «Всходит месяц обнаженный...» — из раннего стихотворения В. Брюсова «Тень несозданных созданий».

Быть может все в жизни лишь средство... — из стихотворения В. Брюсова «Поэту».

Я вижу Толедо... — из стихотворения К. Бальмонта «Испанский цветок».

Производные от глагола «любить» — были напечатаны В. Хлебниковым в альманахе «Дохлая луна».

Война и язык (стр. 325). Газ. «Новь», М. 27 ноября 1914 г., № 126.

Железовут играет в бубен... — из поэмы В. Хлебникова «Немотичей и немичей».

Льтец, льтица, летины — словообразования В. Хлебникова (альм. «Пощечина общественному вкусу»).

«Война в русской лирике» — сборник, составленный В. Ходасевичем, изд. «Универсальная библиотека», М. 1914.

В лесу дремучем на поляне... — из стихотворения К. Рылеева «Партизаны».

Не врошены ль в былое все мы... — из стихотворения В. Брюсова «Наши дни».

Петербург был переименован в Петроград в августе 1914 года.

Будетляне (стр. 329). Газ. «Новь», М. 14 декабря 1914 г., № 143. В собрание сочинений Маяковского включается впервые.

«Ревность» — пьеса М. Арцыбашева.

Хсдит к Незлсбину... — драматический театр Незлобина в Москве.

Бсзумство храбрых... — из «Песни о Соколе» М. Горького («Безумству храбрых поем мы славу»).

Баязет — город в Турции, занятый в то время русскими войсками.

Иоги — последователи индийской религиозно-философской системы, утверждавшей, что человек путем самосозерцания якобы может овладеть «таинственными» сверхъестественными силами.

Как бы Москве не остаться без художников (стр. 333). Газ. «Новь», М. 20 декабря 1914 г.

П. Трубецкой — известный русский скульптор, вырос и учился в Италии.

Ф. Штук — немецкий художник-модернист.

Ф. Кормон — французский художник, в студии которого учились некоторые русские живописцы того времени.

Поэзовечер Игоря Северянина (стр. 338). Газ. «Новь», М. 23 декабря 1914 г., № 152. Вечер И. Северянина состоялся 21 декабря в Политехническом музее.

Пройтиться по Морской с шатенками...— из стихотворения И. Северянина «Еще не значит быть изменником...»

О, город прославленных устриц...— из стихотворения И. Северянина «Поэза о Бельгии».

Мюр и Мерилиз — универсальный магазин в дореволюционной Москве.

В. Ховин — критик и издатель эгофутуристических сборников, прочел доклад «Футуризм и война».

Да здравствует святая трусость...— из стихотворения И. Северянина «Стихи в ненастный день».

Это— король мелодий...— из стихотворения И. Северянина «На смерть Маснэ».

Летит как пух из уст Эола... — строка из «Евгения Онегина» (гл. I). У Пушкина: «Летит как пух от уст Эола».

Бегом через вернисcажи (стр. 340). Напечатано в газ. «Новь», М. 29 декабря 1914 г., № 157.

Но в расцвете не забудьте...— из стихотворения К. Бальмонта «Тише, тише, совлекайте с древних идолов одежды...»

Въезжает дамья кавалерия... Так процветает Амазония...— из стихотворения И. Северянина «Процвет Амазонии».

О разных Маяковских (стр. 344) «Журнал журналов», 12 августа 1915 г., № 17.

Журнал «Взял»... выйдет значительно раньше... — Альм. «Взял» вышел в декабре 1915 года. Поэма «Облако в штанах» вышла в сентябре 1915 года.

Капля дегтя (стр. 349). Напечатано в альм. «Взял», П. 1915 г.

Н. Самокиш — художник-баталист.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Тексты для издательства «Сегодняшний лубок» (стр. 355).

Написаны в первые месяцы войны в августе — октябре 1914 года. В автобиографии Маяковский говорит: «Война. Принял взволнованно. Сначала только с декоративной, с шумовой стороны. Плакаты заказные и, конечно, вполне военные...» Рисунки для лубков и лубочных открыток делали художники К. Малевич, А. Лентулов, М. Ларионов, В. Чекрыгин, И. Горский, Д. Бурлюк, а также и Маяковский. В частности, не вызывает сомнений принадлежность Маяковскому рисунков в плакатах 14, 16, 18, 19, 20, 21; в открытках—25, 26, 31, 32.

(Подписаны Маяковским только три рисунка в лубках — 14, 16 и 19 — и три открытки — 15, 16, 32.) Некоторые из лубков-плакатов были повторены в виде открыток — 2, 3, 5, 6 (4-й и 6-й рисунки), 10, 13, 14, 20.

Все тексты впервые входят в собрание сочинений, печатаются по экземплярам плакатов и открыток, за исключением № 22, сохранившегося в виде карандашного эскиза рисунков с подписями под ними (БММ). Был ли выпущен этот плакат — не установлено.

Ввиду отсутствия полной документации, удостоверяющей авторство Маяковского, тексты публикуются в приложении.

События, о которых говорится в лубках и открытках, относятся к первым месяцам войны.

К лубку № 21 *«Гебен» и «Бреслау»* — немецкие крейсеры, переданные Германией Турции.

О новейшей русской поэзии (стр. 365). Тезисы доклада Маяковского, прочитанного 20 ноября 1912 года в Петербурге, в Троицком театре. Напечатаны на афише-программе.

«Аполлон» и аполлонизм.— В вопросах литературы «Аполлон» стоял на позициях одного из декадентских течений — акмеизма.

Пришедший сам (стр. 365). Тезисы доклада Маяковского, прочитанного 24 марта 1913 года в Троицком театре, в Петербурге, па «Первом публичном диспуте о новейшей русской литературе». Напечатаны на афише-программе.

В названии доклада полемически перефразировано заглавие книги статей Д. Мережковского «Грядущий хам» (1906).

Перчатка (стр. 366). Тезисы доклада, прочитанного Маяковским 13 октября 1913 года на «Первом в России вечере речетворцев» в зале «Общества любителей художеств» в Москве.

Berceuse оркестром водосточных труб.— См. стихотворение «А вы могли бы?» («А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?»)

Египтяне и греки, гладящие черных сухих кошек. — См. трагедию «Владимир Маяковский», слова старика с черными сухими кошками.

Достижения футуризма (стр. 366). Тезисы доклада Маяковского, прочитанного 11 ноября 1913 года в Политехническом музее в Москве.

Квазимодо-критика.— Квазимодо — персонаж романа В. Гюго «Собор Парижской богоматери», отличавшийся исключительным безобразием.

Критика в хвосте поэзии...— Маяковский имел в виду выступления К. Чуковского с лекциями «Искусство грядущего дня (русские поэты-футуристы)» в Петербурге и Москве осенью 1913 года, фельетоны С. Яблоновского в «Русском слове» о футуристах и рецензию В. Брюсова об альманахе «Пощечина общественному вкусу».

Самостоятельность русского футуризма.— С этим утверждением Маяковский выступал несколько раз в связи с приездом в Россию Маринетти (февраль 1914 г.).

Частичным повторением этого доклада были выступления Маяковского «О новейшей русской литературе» на диспуте в помещении Троицкого театра в Петербурге 20 ноября 1913 года и 29 ноября в зале Соляного городка. На афише диспута 20 ноября тезисы Маяковского сведены к четырем пунктам:

Говорящие о нас.
Город и стих.
Египтяне и греки, гладящие черных и сухих кошек.
Новые одежды.

С этим же докладом Маяковский выступал во время поездки футуристов по городам России (декабрь 1913 г.— март 1914 г.).

На провинциальных афишах тезисы доклада печатались так: «1) Квазимодо-критика. Вульгарность. 2) Мы — в микроскопах науки. 3) Взаимоотношение сил жизни. 4) Город-дирижер. 5) Группировка художественных сект. 6) Задача завтрашнего дня. 7) Достижения футуризма сегодня. 8) Русские футуристы: Д. Бурлюк, Н. Бурлюк, Хлебников, Василий Каменский, Крученых. 9) Различие в достижениях, позволяющее говорить о силе каждого. 10) Идея футуризма как ценный вклад в идущую историю человечества».

Подробный отчет о выступлении Маяковского был помещен в «Трудовой газете», город Николаев, 26 января 1914 года (Маяковский выступал 24 января): «Те, кто полагали, что им придется участвовать в скандале и работать руками,— сказал Маяковский,— должны разочароваться: им придется работать мозгами... Поэзия футуризма — это поэзия города, современного города. Город обогатил наши переживания и впечатления новыми городскими элементами, которых не знали поэты прошлого. Весь современный культурный мир обращается в огромный исполинский город. Город заменяет природу и стихию. Город сам становится стихией, в недрах которой рождается новый, городской человек. Телефоны, аэропланы, экспрессы, лифты, ротационные машины, тротуары, фабричные трубы, каменные громады, копоть и дым — вот элементы красоты в новой

городской природе. Электрический фонарь мы чаще видим, чем старую романтическую луну. Мы, горожане, не знаем лесов, полей, цветов — нам знакомы туннели улиц с их движением, шумом, грохотом, мельканием, вечным круговращением. А самое главное — изменился ритм жизни. Все стало молниеносным, быстротечным, как на ленте кинематографа. Плавные, спокойные, неспешащие ритмы старой поэзии не соответствуют психике современного горожанина. Лихорадочность — вот что символизирует темп современности В городе нет плавных, размеренных, округленных линий: углы, изломы, зигзаги — вот что характеризует картину города. Поэзия должна соответствовать новым элементам психики современного города».

Бабушкам академий (стр. 367). Тезисы доклада, с которым Маяковский намеревался выступить в 1913 году в Петербурге Печатаются по автографу, найденному Н. Харджиевым в архиве общества художников «Союз молодежи».

Лучизм — беспредметная живопись, пропагандируемая художниками Н. Гончаровой и М. Ларионовым.

Боччони — итальянский художник, футурист.

Первая олимпиада российского футуризма (стр. 368). Печатается по автографу. Тезисы доклада, который Маяковский намеревался прочесть 7 января 1914 года в Симферополе. Вместо этого доклада Маяковский, выступая с И. Северяниным, повторил свой доклад «Достижения футуризма» (см. выше).

Во время поездки футуристов по городам юга с И. Северяниным состоялось еще одно выступление — 9 января 1914 года в Севастополе, а затем личные отношения между Маяковским и Северяниным были прерваны. Многочисленные иронические и полемические упоминания в статьях и стихах 1914—1915 годов выражают отрицательное отношение Маяковского к поэзии Северянина.

Стальные грузные чудовища... — из стихотворения Д. Бурлюка.

Crême de violettes (крем из фиалок) — название ликера из стихотворения И. Северянина «Фиолетовый транс».

В. Баян — поэт-декадент, подражатель И. Северянина.

Письмо в редакцию (стр. 369). Напечатано в газете «Новь», 15 февраля 1914 г., № 28. Письмо вызвано полемикой, возникшей среди футуристов по поводу приезда в Россию главы итальянского футуризма Маринетти.

Упоминаемое здесь письмо от 5 февраля, под которым среди прочих стояло и имя Маяковского, также отрицало что-либо общее

у русских футуристов с итальянскими, «кроме клички», но предоставляло полную свободу каждому в выборе отношения к гостю — преподнести «перронный букет» или забросать «тухлыми яйцами». 13 февраля Маяковский демонстративно выступил против Маринетти на заседании Общества свободной эстетики.

Письмо в редакцию (стр. 369). Напечатано в газете «Биржевые ведомости», утренний выпуск, П. 26 августа 1916 г.

Письмо вызвано тем, что во втором сборнике «Стрелец» наряду с стихотворением Маяковского «Ко всему» была напечатана статья В. Розанова «Из последних страниц русской критики», содержавшая антисемитские выпады.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ[1]

[1] В первой колонке цифр указываются страницы текста, во второй — вариантов, в третьей — примечаний.

ТРАГЕДИЯ, ПОЭМЫ. *(1913—1917)*

СТАТЬИ. *(1913—1915)*

ПРИЛОЖЕНИЕ

Редактор тома З. Паперный

Редактор *К. Малышева*

Оформление художника *Б. Воронецкого*

Технический редактор *Д. Ермоленко*

Корректор *Л. Чиркунова*

Сдано в набор 23/IV 1955 г. Подписано к печати 7/IX 1955 г. А05126. Бумага 84 × 108 1/32 — 29 печ. л.= 23,78 усл. печ. л. 18,46 уч.-изд. л.+ 8 вкл.=18,86 л. Тираж 200 000 экз. Заказ № 394. Цена 11 р.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Министерство культуры СССР
Главное управление полиграфической промышленности
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Москва, Ж-54, Валовая, 28.

